60 коп. ИНДЕКС 73274

"Летопись России: история в лицах" –
новая рубрика "Нашего современника", в которой читателю предоставляется возможность ознакомиться с портретами выдающихся людей России с древнейших времен до наших дней, написанными лучшими современными литераторами, историками, критиками, а также авторитетными православными священниками. Для участия в этой рубрике приглашены **Л. Гумилев, *о.* Дмитрий Дудко, Д. Балашов, Р. Скрынников, о. Лев Лебедев, П. Паламарчук, В. Распутин, А. Панченко, В. Кожинов, игумен Андроник Трубачев, Ф. Нестеров, Ю. Лощиц** и многие другие.

Под рубрикой ***"Отечественная мысль"*** –
политические статьи **В. Розанова** из неопубликованной при жизни автора книги "Черный огонь"; "КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП" – малоизвестная статья ***о.* Сергия Булгакова**; "О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ". "ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ", "НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ" – лучшая работа **Николая Бердяева.**

Под рубрикой ***"История Отечества: документы и судьбы"*** –
не известные советскому читателю страницы биографии В. И. Ленина – главы из книги Н. Валентинова (Вольского); "КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ" – книга историка С. Мельгунова – самое яркое свидетельство злодеяний "профессиональных революционеров" в первые годы Советской власти; ПИСЬМА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ; "ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В СВЕТЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (1918–1978)" – работа зарубежного исследователя профессора **П. Пагануцци**, основанная на позднейших материалах и документах, приоткрывающая малоизвестные страницы екатеринбургской трагедии.

Под рубрикой ***"Зарубежная мысль"*** –
"ТАЙНА БАШНИ СО ЗВОНОМ", "ПРОСЕЛОК", "О ПОНИМАНИИ" – впервые в России публикуются философские эссе одного из крупнейших зарубежных мыслителей XX века **Мартина Хайдеггера**; "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" – новый перевод глав о судьбах России знаменитой работы ***Освальда Шпенглера***; "СПОР О СИОНЕ. 2500 ЛЕТ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" – одна из наиболее острых и дискуссионных книг по национальной проблематике, принадлежащая перу известного английского журналиста и исследователя **Дугласа Рида.**

Круг чтения –
Д. Барышников. "ЖЕНЩИНА И ЛОЖЬ" (о книге Н. Берберовой "Люди и ложи, Русские масоны XX столетия");
в этой же рубрике мы обозреваем "Московский литератор", "Московский строитель", "Вече" (Новгород), "Эхо" (Вологда);
а также израильский журнал "Алеф", "Вестник еврейской советской культуры", "Московские новости" и другую советскую периодику.

Наш современник. 1990. № 10. 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК
№10 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№10 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

Продолжаем публикацию откликов на Письмо писателей, деятелей культуры и науки России, опубликованное в №4 нашего журнала

„Нынешнее союзное правительство показало свое нежелание и неспособность защитить права коренных народов России, поэтому необходимо обратиться к российскому парламенту с подобным обращением-призывом.

ГЛАЗОВА И., СЫЧЕВ А., МОРДИН И. и др., всего 30 подписей, г.Горький".

„Мы помним о национальном достоинстве великороссов и никому никогда не позволим втаптывать в грязь русское имя.

СИДОРЕНКО С., ПУЗАН Е., БАБАРЫКИНА К. и др., всего 33 подписи, пос. Ахтырский Краснодарского края".

„Я никогда не жил в России. Мои предки лет двести назад пришли из орловских краев и обосновались в лесах теперешнего Северного Казахстана, позднее влились в ряды сибирского казачества. Но я русский и горжусь тем, что принадлежу этому великому племени.

КОМАРОВ П.П., г.Кустанай".

„С болью прочитали Письмо писателей, деятелей науки и культуры России. Считаем своим гражданским долгом подписаться под каждым словом этого письма-призыва.

ВОРОБЬЕВА О.В., ВОРОБЬЕВ И.Н., г. Пермь".

„Нас, русских, составляющих, кстати, большинство жителей города Казани, тревожит усердное разогревание некоторыми слоями татарской интеллигенции антирусских сепаратистских настроений. Чего стоит, например, лозунг „Навеки с Россией — навеки в рабстве", появившийся на митинге.

Считаем, что расчленение России — путь к ее гибели, причем это принесет бедствия не только русскому, но и всем совместно проживающим народам.

ГАВРИЛОВ С.П., БОЧКАРЕВ И.А., СТРИЖОВ Б.В. и др., всего 10 подписей, г.Казань".

„Невозможно остаться равнодушным, когда узнаешь, что нашим русским писателям хотели отказать в приеме в русском городе Ленинграде. Кому-то так не хочется, чтобы русские люди наконец-то смогли услышать своих достойнейших современников! Трудно представить, что в 1990 году такое возможно в России!

ШТРАУС В. Д. и ее семья, всего 4 подписи, г.Батайск".

„Мы, нижеподписавшиеся, простые русские люди, работающие в различных отраслях производства и сферах образования, науки и культуры, студенты и курсанты военных училищ, кому дорого наше Отечество, его история, его прошлое и будущее, ради высокой Истины, будучи не шовинистами, а Патриотами своей Родины, уважая другие нации и любя свою собственную, вместе с писателями, деятелями науки и культуры России подписываем их Письмо.

Семьи КАРТАШЕВЫХ, ХАТЮШИНЫХ, СТЕПАНОВЫХ, КАЗАКОВЫХ, ВОСТОКОВЫХ, ЕГОРОВЫХ, МИХАЙЛОВ И., ИВАНОВ В. и др., всего 51 подпись, Солнечногорский район Московской области".

„Обидно за города Москву и Ленинград, которые позволили „демократам" взять власть в свои руки. Непонятна позиция таких „демократов-правозащитников", когда они поддерживают националистов Прибалтики и в то же время душат ростки национального самосознания в России.

КОЛОКОЛЬНИКОВА Г.Б., г. Вильнюс".

„Вы вселили надежду, что есть силы, которые защищают честь, достоинство русских и России и в конечном счете спасут мир от очередного фашизма.

ЯНКО Н.А. и ее семья,г.Днепропетровск".

„Считаем, что в Письме дан правильный анализ положения дел, высказана обоснованная тревога и возмущение антирусской, антироссийской идеологической кампанией в печати, на радио и телевидении. Просим присоединить наши имена к тем, кто уже подписал Письмо.

РЫБНИКОВ К.А., профессор и члены семьи, всего 6 подписей, Москва".

„Мы глубоко возмущены антирусской кампанией, проводимой в нашей стране. Считаем, что принятие закона об антисемитизме, который усиленно хотят протолкнуть наши „демократы", вновь приведет к физическому истреблению русского народа.

ГАРМАНОВА В., ОВСЯННИКОВА Т., всего 19 подписей, г.Новосибирск".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 6 600 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№10 1990

ИПО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря Гуляевсиая З. С.

Технический редактор Л. Л. Ежова   Корректоры М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.07.90. Подписано к печати 30.10.90. Формат 70×108 1/16.
Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8.
Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,54. Заказ 2089. Тираж 467 323 екз.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Панорама мнений

РЫНОК: ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?

ЮРИЙ БОРОДАЙ

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫМ НЕ ГОДИТСЯ ПРОТЕСТАНТСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Нас учили оплевывать все свое и нас учили лизать пятки всех Европ — «стран святых чудес». Из этих стран на нас перли: польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты — приперло и дворянское крепостное право и советское. А что припрет еще? Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые старьевщики?..

Иван Солоневич.

1. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА — НА ЧЕМ СТОЯТ ЛИБЕРАЛЫ

Нам, недотепам, внушают: когда взрослые трезвые люди заговаривают о серьезных вещах, например, о деньгах, ценах, прибыли — о поиске оптимальных способов производства и накопления материальных благ, — детский лепет о нравственности и тому подобном прекраснодушном вздоре становится неуместным. Учат: взрослых и трезвых экономистов, докторов и тем более академиков нужно сейчас не просто внимательно слушать — слушаться! Потому что стали мы нищими от идеалов, раздетыми и разутыми. Надо отбросить мечтания, потустороннюю мистику (именно в них, проклятых, как нам вещает «Свобода», непреходящая суть так называемой «русской идеи») и наконец научиться твердые деньги делать — всем и на всём.

Но Василий Белов, Валентин Распутин, Михаил Антонов все твердят и твердят о духовности. И не какой-нибудь европейско-цивилизованной — национальной, своей, самобытной! Это хуже, чем безобидный младенческий лепет, — мракобесие, достойное самого строгого наказания. Эх, припечатать бы всех их убойной цитатой из «Капитала». Подвести под статью. Но нельзя: обмишурился Маркс со своими прогнозами и лишен прокурорской мантии. Очень жаль, потому что у классика есть блестящие тексты, не сочинишь таких заново — никто лучше Маркса не умел показать, как смешон и нелеп становится весь мистически-почвенный, поэтический и моральный вздор, когда речь идет об экономических деловых расчетах. Были, конечно, потусторонние грезы даже у самого Маркса, но ведь и те безо всякой поповской морали — инженерные. Маркс пытался спланировать строй еще более прогрессивный и **рентабельный**, чем буржуазный. Коммунизм, с его точки зрения, не какой-то духовно-мистический, но, во-первых, **экономический идеал** — небывалое изобилие пряников! А чего еще людям надо? Человек по природе добр, но становится злым от недостатка кондитерских и колбасных изделий. При коммунизме все обязательно стали бы ангелами, потому что хорошее бытие определяет и соответствующее сознание. Материя первична...

К сожалению, на прилавках реального социализма материи оказалось до обидного мало. Принципы были верные, про бытие, но инженер напутал в частностях, чем подвел докторов наук, лишив их значительной части научной теоретической базы — огромного количества великолепных убойных цитат. Теперь перестроившиеся доктора нам вещают: Маркс, конечно, ошибся относительно идеального строя, не избежал утопизма, однако сама по себе политическая экономия, которую

мы представляем, — самая трезвая, точная и великая из наук. Поэтому слушай нашу очередную команду: надо сдвинуть телегу из утопического болота социализма в проверенный западной практикой умеренно-прогрессивный капитализм — там, как известно всем читателям «Огонька», достаточно всевозможных пряников для тех, кто не зевает и умеет соображать. Только такие ловкие особи впредь и должны считаться достойными гражданами с просветленным сознанием.

Жизнь оказалась суровей, чем думал Маркс. Благоустроенное бытие, соответствующее мировым современным стандартам, — товар дефицитный, на всех его никогда не хватит. И людей становится все больше, стандарты выше. Следовательно, далеко не у всех может сформироваться и вполне правильное радостное мировоззрение. Неизбежны нравственные уроды — завистники, мракобесы. Им — по возможности обеспечить прожиточный минимум и держать под надзором полиции, как это делается в цивилизованных странах. Надо порвать со всеми утопиями и впредь каждому самому заботиться о своем бытии и сознании. Если хочешь стать нравственно выше — обогащайся как сможешь. Деньги не пахнут!

Таково кредо вчерашних марксистов — сегодняшних либералов. Если хочешь сейчас прослыть респектабельным автором, мало привычной борьбы с почвенниками, нужно еще, с другой стороны, пнуть и собственного учителя — утопического прогрессиста. Это и выгодно — в массовой прессе, даже партийной, за это уже хорошо начинают платить. Это и благородно, ибо, как разъясняют нам хором светочи либеральной мысли, подлинно нравственно только то, что экономически эффективно, прибыльно.

Надо признать, что краеугольный тезис своей доктрины — относительно прибыльной нравственности — современным светочам Маркс вдолбил-таки твердо: как ни пинай его за промашку с высшей рентабельностью идеального строя, все-таки именно Маркс по сей день является подлинным теоретиком экономического материализма, классиком, — Попов, Шмелев и компания были и остаются просто вульгаризаторами, мелкими эпигонами. Были они вчера коммунистами, стали капиталистами, символ веры остался марксистским: все духовное производно, только удобное бытие определяет светлое, правильное сознание. Припев — материя первична — звучит у них на уровне подсознания.

Нет смысла полемизировать с эпигонами. Всегда лучше обращаться к первоисточнику. Но и здесь, очевидно, не стоит заниматься изобретением велосипеда. Это у нас до сих пор марксизм оставался священным писанием, охраняемым государственной инквизицией. В науке западной, где каждый волен врать по-своему, разоблачая чужое вранье, почти ничего священного не осталось. Это печально, потому как очень трудно жить человеку, даже профессору, без уютных святынь. Но в этом есть и свое преимущество: при полной свободе взаимного разоблачения врать ученым труднее, и, главное, обнаруживаются все-таки некоторые твердые пункты, не поддающиеся опровержению. Во всеобщей взаимной полемике эти пункты становятся общим местом, чем-то вроде не подлежащей дальнейшему обсуждению тривиальности. Например, после книг таких очень разных экономистов и социологов, как прогрессист М. Вебер и ретроград В. Зомбарт, общим местом стало практически единодушное убеждение всех мало-мальски серьезных ученых в том, что применительно к реальной истории становления капитализма на Западе экономический материализм Маркса оказался несостоятельным в главном своем постулате: вовсе не так называемая «материальная заинтересованность» — главный стимул плодотворной деятельности человека, в том числе и хозяйственной. И отнюдь не стремление благоустроить свое земное материальное бытие двигало теми рыцарями промышленного капитала, которые созидали грандиозное здание западной экономики. При более пристальном рассмотрении это здание оказалось воплощением специфических религиозно-нравственных установок весьма аскетического характера. Этика самым тесным образом оказалась связанной с экономикой, и «первичной» в этой органической целостности оказалась именно этика.

Странно, что, потешаясь над Михаилом Антоновым за попытку связать нравственность с экономикой, наши вальяжные прогрессисты проморгали на западном небосклоне такое светило, как Макс Вебер. Впрочем, не удивительно — местечковые наши западники были вскормлены на домашней марксистской кашке и о новых своих божествах получают сведения из энциклопедических словарей: недосуг в зрелом возрасте очень толстые книги читать, время — деньги! А между тем главный труд Макса Вебера, который на сегодняшнюю западную науку оказал влияние никак не меньшее, чем «Капитал» на вчерашнюю, называется «Протестантская этика и дух капитализма».

Замахнуться на Вебера никак нельзя — великий светоч либеральной мысли, отец современной социологии, об этом во всех словарях написано.

А на Антонова можно?! Там нравственность впереди экономики, здесь — тоже...

«Нет, — скажут мне, — разная нравственность. Там — протестантская! Американская. Такая может и экономике поспособствовать. А тут какая? — православная, что ли?..»

А она везде разная. Нет «нравственности вообще». Как нет и такой экономики — «вообще». Например, США и Японию мы изучаем в рамках абстрактного капитализма по отвлеченным схемам Маркса. Но на деле это оригинальные типы хозяйства с совершенно разной логикой становления, приспособленные к нравственным установкам своих народов. Столь же своеобразно складывалась и русская национальная экономика, занимавшая до революции первое место в мире по темпам роста: русский промышленник (не финансист-инородец!), долгом своим считавший часть своего капитала отдать на строительство храмов, больниц, музеев[1], был совсем не похож на английского «нового дворянина» — у них была разная этика.

В современных японских хозяйственных отношениях нравственный фактор играет еще большую роль, чем в американских, — во всяком случае так утверждают сейчас сами американцы с японцами. В этих двух странах этика очень различна, схож лишь один очевидный всем потребителям (неграм, чилийцам, арабам) результат — много товаров высокого качества. Потребители утверждают, что у японцев качество выше. Социологи объясняют это большей сохранностью национальных традиций в Японии. Спорить не будем. Факт: первыми массовое производство дешевых товаров наладили именно европейцы, и умиленные взоры наших сеятелей разумного по сей день прикованы только к Западу. Только оттуда свет, там все эталоны и образцы. Это оттуда мы экспортировали марксизм.

Теперь либеральные неомарксисты, призывающие обратно в капитализм, запели на новый лад старую свою песню про первичность материи: будто бы европейско-американские предприниматели добились высоких экономических результатов лишь потому, что отказались вовсе от всякой моральной мистики и сделали богом своим чистоган. Это — вранье. Даже капитализма без этики не построишь. Другое дело, какая это была этика. Специфику той моральной доктрины, которая побуждала к действию западных предпринимателей, хорошо показал Макс Вебер — один из серьезнейших оппонентов Маркса. Посмотрим, о чем там шел спор.

---

[1] Разговор об этой черте характера русских предпринимателей начал Александр Казинцев в статье «Четыре процента и наш народ» («Наш современник», 1969, № 10). Тема важнейшая, но я думаю, дело тут не просто в доброй натуре некоторых купцов: противоположны религиозно-етические основания западного капитализма и русской дореволюционной экономики — так же, как и современной японской, сохранившей патриархально-общинные ценности, которые здесь «работают» сейчас как производственный фактор.

К примерам, приведенным А. Казинцевым, могу добавить свои пожертвование А. М. Сибирякова в сумме 500 тыс. руб. на Сибирский университет, огромные средства, вкладываемые им на изыскание Северо-Восточного морского пути, расходы его брата К. М. Сибирякова, содержавшего библиотеки и читальни для народа в Петербурге, финансировавшего демократический журнал «Слово». Можно указать также на значительные средства, предоставленные В. А. Бахрушиным, Боевым на строительство больниц в Москве. Так же поступали и другие: П. И. Куманин на благотворительные цели выделил 500 тыс. руб. серебром; такую же сумму завещал К. А. Попов; К. Д. Рыкалов для призрения бедных выделил 280 тыс. руб.; С. В. Алексеев на приют для вдов и сирот отпустил 100 тыс. руб. и т. д., и т. д. Я не говорю уже о строительстве храмов, что считал для себя долгом практически каждый русский промышленник. Ничего подобного не было на родине капитализма — в Англии. И это — не случайность!

2. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КАПИТАЛИЗМ

Известно, капитализм начинается с первоначального накопления: «...существовали, с одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые разумные избранники и, с другой стороны, ленивые оборванцы, прокучивающие все, что у них было, и даже больше того... Так случилось, что первые накопили богатство, а у последних, в конце концов, ничего не оставалось для продажи, кроме их собственной шкуры»[2].

Так описывал Маркс расхожие представления, запущенные в оборот отцами политической экономии. Разумеется, что, потешаясь над классиками, он никак не мог иметь в виду неоклассиков, возродивших в XX веке этот старинный сусальный сюжет рождества добродетельных деловых людей. Впрочем, не все неоклассики оказались столь же сусальными, как Макс Вебер. Например, Вернеру Зомбарту явно не по нутру стяжатели, даже и самые добродетельные; он считает капитализм мировой чумой, от которой, раз уж эта болезнь возникла, переросла в эпидемию, человечеству нет спасения — переболеют все. Но это — всего лишь оценочные разногласия. Что же касается сущности механизма рождения экономики нового типа, то и М. Вебер, и В. Зомбарт, несмотря на полемику с резкими взаимными упреками, согласны в главном: суть задачи сводится к выявлению главного стимула первоначального накопления денег и к раскрытию специфических способов этого накопления в переходный период. Так, Зомбарт в качестве особых объектов исследования выделяет: 1. наживу путем насилия; 2. наживу путем волшебства; 3. наживу путем использования духовных способностей (изобретательности); 4. наживу путем использования денежных средств (ростовщичество). Каждому из этих способов первоначального накопления посвящен особый раздел его книг «Буржуа» и «Современный капитализм». В качестве основных типов капиталистических предпринимателей у него выступают: 1. разбойники; 2. завоеватели; 3. государственные чиновники; 4. спекулянты; 5. купцы; 6. ремесленники. Подробному анализу каждого из этих типов тоже посвящены особые главы. Но главное свое внимание Зомбарт все-таки уделяет раскрытию религиозно-этических стимулов к обогащению. В этом пункте он отличается от Макса Вебера только тем, что не сводит все дело к специфике протестантской нравственности, но подробно анализирует также иудаизм. Таким образом, спор между двумя крупнейшими современными авторитетами по проблемам капитализма в конце концов свелся к вопросу: кто больше виновен в рождении нового способа производства — добросовестные фанатичные накопители протестанты или рациональные хищники иудеи? Что первичнее: пуританский символ веры или Талмуд?

По Марксу, первичным является бытие,

---

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 725.

поэтому религиозно-этическим стимулам жажды обогащения, вдруг захлестнувшей Европу, он практически не придавал никакого значения, впрочем, как и самой проблеме первоначального накопления капитала в целом. В пику классикам он старался продемонстрировать то, что рынок и сопутствующая ему страсть к наживе стали играть заметную роль очень рано, еще в древности, а у некоторых «односторонне определившихся наций, у торговых наций» эта страсть выступает как «господствующий элемент» (см. т. 46, часть 1, с. 39). Но само по себе накопление, как доказывал Маркс, никогда не ведет к прогрессивному изменению способа производства. Чрезмерная жажда обогащения приводила докапиталистические цивилизации не к прогрессу, а к крушению: «жажда денег, или страсть к обогащению, — писал Маркс, — необходимым образом означала гибель древних общественных образований» (т. 23, с. 143). В качестве примера Маркс приводит позднее античное общество, которое «поносит поэтому деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни» (там же).

Таким образом, Маркс не только категорически отрицал конструктивную роль накопительских нравственных установок, но пришел к заключению, что попытка выводить производственный прогресс непосредственно из развития товарного обращения противоречит историческим фактам. Вопреки собственным исходным прокламациям, обещавшим «вывести» капитализм из одной «клеточки» (товар), в ходе работы над «Капиталом» Маркс убедился, что и чисто логически из простого товарного производства новый строй экономических отношений никак не выводится. Оказалось, что **сам по себе рынок не тождественен капитализму** — истина, которую по сей день никак не могут усвоить многие наши экономисты. Дело в том, что для организации массового производства, основанного на наемном труде, надобно принципиально новое «бытие»: требуется, чтобы на рынке вдруг появилось массовое, избыточное предложение товара **особого рода** — свободной рабочей силы. А откуда такой необычный товар мог взяться в традиционных обществах, где основную массу населения составляют крестьяне, связанные общинными отношениями и органично сращенные со средствами своего производства — землей, что практически исключает для них как надобность, так и возможность торговать собой. Пока живо крестьянство (крепостное или свободное) и пока оно составляет большинство населения данной страны, никакие, даже очень крупные деньги в руках разных резвых стяжателей не ведут к существенным изменениям в традиционном народном хозяйстве. Скопленный капитал остается мертвым сокровищем — его невозможно использовать для глубокой крупномасштабной реорганизации производства, ибо на рынке нет массового предложения свободных рабочих рук, подгоняемых к найму подтянутым животом.

Глубокое осознание этого обстоятельства — самый важный вклад Маркса в теорию становления капитализма. В отличие от классиков он пришел к заключению: капитализм начинался вовсе не с добродетельного накопления, а с **беспощадной аграрной революции.** Чтобы наемный труд стал фундаментом производства, власть имущим нужно было начать истребительную войну с большинством своего народа — силой отнять у крестьян землю, выгнать их вон нагишом, так что деваться им было бы некуда кроме фабричной казармы. Никакими законами эволюции рынка такого крутого массового злодейства, как чистка земель в Англии, объяснить было нельзя — Маркс понимал это; поэтому в своем «Капитале», прервав логику чисто экономического умозрительного анализа товарных отношений, он приступил в 24-й главе к описанию сути того, что действительно было. «Мы оставляем здесь в стороне чисто экономические пружины аграрной революции, — заявляет он вдруг. — Нас интересуют ее насильственные рычаги» (т. 23, с. 734). И Маркс действительно весьма красочно обрисовал механизм генезиса капитализма как катаклизм, суть которого — чудовищное насилие[3].

Однако, отказавшись от объяснения этого грандиозного катаклизма «чисто экономическими пружинами», Маркс не смог указать никаких других пружин, ибо все иные мотивы человеческих действий, кроме экономического интереса, были, с точки зрения Маркса, вздорным идеализмом. Он просто констатировал факт, оставив без ответа множество вопросов. Ради каких материальных благ шли на лютую смерть бессчетные мученики Реформации? Чем объяснить свирепую беспощадность религиозных гражданских войн того времени? Желанием благоустроить материальное бытие? Напомним: в Германии было истреблено более двух третей населения, а в Англии, кроме расправы над не желавшими менять свою веру католиками, было дотла ограблено все крестьянство, что и стало тут исходным пунктом развития экономики нового типа. Кто же на славной родине капитализма сумел совершить исторический этот подвиг? И откуда туда заявились такие герои? Что питало решимость этих очень твердых суровых людей — протестантская этика? Иудаизм? Или просто жажда материальных благ? Маркс не ставит таких вопросов.

[3] 24-я глава «Капитала» произвела столь сильное впечатление на русских социалистов-народников, что они решили все силы свои положить на то, чтобы не допустить в России «повторения истории»; Маркс убедил их, что «классический» путь капиталистического развития равносилен уничтожению русского народа. Характерно то, как утешал наших народников Энгельс в письме русскому переводчику «Капитала» Даниельсону: «Несомненно, что переход... к капиталистическому индустриализму не может произойти без ужасной ломки общества, без исчезновения целых классов и превращения их в другие классы; а какие огромные страдания, какую растрату человеческих жизней и производительных сил это неизбежно влечет за собой, мы видели уже в Западной Европе. Но от этого до полной гибели великого и высокоодаренного народа еще очень далеко»... (Соч., т. 39, с. 129—130).

Он фиксирует лишь замечательный исторический результат — то, что большая часть населения Англии вдруг была лишена своего имущества. А где речь идет об имуществе, этические мотивы, с точки зрения Маркса, — дело второстепенное.

Перефразируя главную аксиому классической политической экономии и придавая категории «первоначального накопления» принципиально новый смысл, Маркс заключал: «так называемое первоначальное накопление есть не что иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства» (т. 23, с. 726). Это свое принципиально новое толкование исходного пункта капиталистического развития Маркс возводит в ранг универсальной закономерности: индустриальное производство, основанное на наемном труде, **нигде** не может возникнуть путем плавной эволюции — последовательного развития «самой логики» товарного производства; в качестве исходного пункта индустриализации необходим гигантский социально-политический катаклизм, отнюдь не совпадающий ни по объему, ни по значению, ни по своему существенному содержанию также и с политической революцией. Проблему становления капитализма нельзя свести к политической революции, поскольку суть социального катаклизма, порождающего новый способ производства, заключается не в перемене форм государственной власти и правовых отношений, но в коренной перестройке отношений **имущественных**, причем под этой «перестройкой» нужно понимать ограбление **большинства** населения данной страны **меньшинством.**

Надо отдать должное Марксу: на родине капитализма, в Англии, все действительно так и произошло. Но, исходя из этого факта, Маркс решил, что именно так должно быть везде, он сформулировал понятие «классического образца», сутью которого является экспроприация крестьянства. Эту карательно-грабительскую акцию, не важно в какой идеологическо-политической форме, должны осуществить все страны, желающие быстро наладить рациональную систему массового производства дешевых товаров.

В нашей стране партийные доктринеры сознательно и пунктуально стали внедрять английский «классический образец» в форме политики ликвидации аграрного перенаселения и так называемого социалистического первоначального накопления, осуществляемого за счет повального грабежа крестьян. И надо признать, наконец, что и троцкисты, и Сталин, затевая этот глобальный эксперимент, выполняли заветы Ленина, предрекавшего: «В Англии эта чистка земли шла в революционных формах с насильственной ломкой крестьянского землевладения. Ломка старины, отжившей свое время, абсолютно неизбежна и в России»[4]. Но и Ленин отнюдь не нес отсебятину, он опирался на авторитет основоположника, **буквально** повторял его. Разъясняя ученикам, что значит «чистка земель» — классический образец абсолютно неизбежной и в России ломки отжившего, Ленин просто **цитирует** Маркса: «Все исторически унаследованные распорядки там, где они противоречили условиям капиталистического производства в земледелии или не соответствовали этим условиям, были беспощадно сметены: не только изменено расположение сельских поселений, но сметены сами эти поселения; не только сметены жилища и места поселения сельскохозяйственного населения, но и само это население; не только сметены исконные центры хозяйства, но и само это хозяйство...»[5] и т. д. Демонстрировать, как старательно переписывал Ленин Маркса, можно долго.

Три поколения «передовых» российских светочей молились западным идолам, раскрашивая их во все цвета радуги и затирая грязно-кровавые пятна. Такое даром не проходит. В XX веке доктринеры дорвались до власти над страной. Попытка взять у Запада и совместить в одной хозяйственной системе все самое там «наилучшее» и идеал социализма, и классический образец становления массового производства — окончилась сегодня катастрофой.

А между тем **универсальная значимость** английского классического образца давно стала весьма сомнительной: различными путями шло становление экономики нового типа даже на Западе — во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки... Но было в этом везде и нечто общее. Поскольку вся Европа прошла через кровавый катаклизм Реформации — войну всех против всех, — экономическому взлету на Западе везде предшествовало крутое разрушение естественных традиционных связей между людьми: общинных, родовых, патриархальных. В этом можно было усмотреть всеобщую закономерность, подтверждающую в общих чертах суровый прогноз Маркса. Правда, Запад стала догонять патриархальная Россия, идущая самобытным путем. Но свернули и ее на наезженную колею — устроили в ней катаклизм. Значит, самобытный путь экономической модернизации — славянофильский миф? Пустопорожняя мечта? Но вот еще более патриархальная, общинно-черносотенная Япония, до середины XX века не допускавшая к порогу своему деловых предприимчивых иностранцев, сейчас уже перегоняет Запад. И не было там крутого социального катаклизма с повальным грабежом: консервативно-монархическая революция Мейджи безвозмездно передала крестьянам в собственность всю землю и, сохранив общину, пресекла при этом возможность спекулировать земельными наделами; традиционный строй «естественной общности» (Gemeinwesen) был не разрушен, как в Европе, но укреплен. С этого и начался в Японии бурный процесс агропромышленной модернизации, совсем не по «классическим» канонам — все наоборот.

Однако вернемся к классике. В одном Маркс совершенно прав: все-таки именно в Англии как результат страшной социаль-

[4] Ленин В. И. ПСС, т. 17, с. 132.

[5] Ленин В. И. ПСС, т. 17, с. 131.

ной катастрофы, захватившей всю Европу, родился капитализм, именно отсюда он стал победно распространяться по миру, как вырвавшийся из бутылки джинн. Все поддавались соблазну наладить и у себя массовое производство материальных благ. Разные страны делали это по-разному. Лучше всего получалось у тех, кто отстоял независимость и двинулся к цели своим путем. Но не забудем: первоисточник процесса — аграрная революция в Англии. Что было ее стимулятором? Бесполезно искать ответа на этот вопрос у Маркса — он ограничился констатацией факта чудовищного насилия над коренным населением данной страны и возвел этот факт в ранг всеобщей закономерности экономического прогресса. В поисках стимулятора, толкающего на беспощадные подвиги тех, кто сумел откупорить бутылку с джинном капитализма, — Вебер достиг большего. Впрочем, достиг, я думаю, сам не желая того. Веберу очень нравятся западный капитализм и его созидатели — фанатичные рыцари протестантской этики. Он не хотел их порочить и поэтому смазал многие очень существенные обстоятельства — как раз те, которые удалось выпукло обрисовать Марксу.

Вебера главным образом занимает генезис предпринимательства, с его особенной психологией, материализованной в современной индустриальной мощи Запада. Аграрную революцию, то есть то грандиозное массовое злодейство, без которого, как считал Маркс, был бы в принципе невозможен европейский капитализм, Вебер старается обойти как нечто второстепенное — не то чтобы Маркс придумал все эти ужасы, но сильно преувеличил их значение... Ладно, оставим Маркса — сегодня у нас всем либералам уже известно, что в интересах своей утопии он клеветал на западный буржуазный строй, несущий на славном челе своем печать зачатия непорочного. Обратимся к общепризнанному среди историков авторитету.

В книге «Промышленный переворот в Англии» Арнольд Тойнби, говоря о полном исчезновении мелких земельных собственников (фригольдеров) к XVIII столетию, писал: «Человек, незнакомый с нашей историей за промежуточный период, мог бы подумать, что произошла какая-нибудь большая истребительная война или насильственная социальная революция, вызвавшая переход земельной собственности от одного класса к другому... мы вправе сказать, что действительно произошла революция необыкновенной важности»[6].

Тойнби — не марксист. Но, обращаясь к реальной истории становления западной экономики нового типа, он, как и Маркс, вынужден констатировать органичную связь двух, казалось бы, совершенно разнонаправленных процессов: завоевание буржуазных свобод и ограбление большинства местного населения — целого класса уже практически свободных крестьян. Говоря о фригольдерах, Тойнби пишет: «Под начальством хороших вождей они сумели в гражданскую войну проявить себя как самую могучую силу в королевстве. Но после того, как конституционное правление было добыто, последние снова опустились до степени политического ничтожества... **Переворот в сельскохозяйственной жизни был расплатою за политическую свободу**»[7].

Я думаю, что и Маркс, и Тойнби совершенно правильно нам указывают на аграрный переворот как на подлинный отправной пункт западного прогресса. Другое дело — вопрос о психологических стимулах прогрессивного геноцида. Вебер в своей теории сместил акценты с бытия на сознание — на ведущую роль религиозно-нравственных стимулов, и в этом плане антагонисты К. Маркс и М. Вебер хорошо дополняют друг друга — то, о чем умолчал один, приоткрыл другой. Ведь механизм становления буржуазного строя, обрисованный в «Капитале», тоже подводит к ряду нравственно-психологических проблем, требующих решения.

В самом деле. Если исходить из концепции Маркса, то главная психологическая проблема будет заключаться в следующем: чем обусловлен тот резкий сдвиг в психологии, который позволил новой английской протестантской элите растоптать традиционные формы естественных человеческих связей в стране и ограбить большую часть народа, превратив его в товар, то есть в нечто равное вещи — в рабочую силу? Откуда вдруг такое глубокое и повсеместное ожесточение? То, что это ожесточение своими корнями как-то связано с религиозно-нравственными идеями Реформации, — очевидность. Ведь дело не только в рядах английских виселиц и работных домах, невиданных в этой стране в эпоху так называемого «мрачного» католического средневековья. Во всей Европе дела в то время обстояли не лучше. Кое-где было и еще хуже.

Конечно, во все времена и у всех народов случались эксцессы, случалось и убивали кого-то, и грабили. Но все-таки стоит представить себе тот уровень озверения, который мог приводить к истреблению двух третей населения — как в Германии. Может быть, этот феномен тоже как-то связан со спецификой протестантской этики?

Вот еще пример. Всем известно, что испанцы-католики не отличались в Америке сентиментальностью. И все-таки они признавали в туземцах людей. Результат — было много убийств, грабежей и жестокости, но все-таки не было геноцида, и сейчас в Латинской Америке смешанное испано-индейское население. А вот переселявшиеся из Англии кальвинистские общины начинали свою деятельность в колониях Нового Света с того, что назначали премии за отстрел туземцев так же, как за отстрел волков. Так же вели себя голландские кальвинисты, переселившиеся в Южную Африку — буры. Представить квакера женатым на туземной женщине невозможно. Результат: сколько осталось индейцев в США? Уцелевшие — в резервациях... Напротив, злые испанцы-католики спокойно женились на прекрасных индианках, а покорных племенных вождей даже возводили в дворянское звание и отправляли учиться в Саламанку: в результате смешения начал складываться новый антропологический тип латиноамериканца. Почему ничего подобного не могло случиться на территории США?

Спрашивается: связаны ли такого рода факты с протестантской этикой? Вебера эти вопросы мало интересуют, так же как главный для Маркса вопрос: почему в период становления капитализма, совпавший в Англии со временем торжества наиболее крайних кальвинистских религиозных учений, на рынке возникает вдруг массовое предложение рабочей силы. Откуда взялась вдруг масса белых отверженных, которым ничего не остается, кроме как торговать собой? Кто наложил на них клеймо проклятья, лишил их общинной поддержки, церковной благотворительности?

Работая в рамках либеральной апологетической традиции, М. Вебер всецело занят проблемой генезиса психологической конституции добродетельного накопителя — главного героя так называемого прогрессивного общественного развития. И все-таки Вебер, сам того не желая, развил и дополнил Маркса, выпукло обозначив тот культурно-психологический фактор, который явился виновником чудовищного насилия. Это — идея богоизбранности и предопределения избранных людей к господству, спасению и «жизни вечной».

3. ЭТИКА ЗАПАДНОГО ПРОГРЕССА

Исходный пункт исследовательской работы Макса Вебера таков: «Верой, во имя которой в XVI и XVII вв. в наиболее развитых капиталистических странах — в Нидерландах, Англии, Франции — велась ожесточенная политическая и идеологическая борьба и которой мы именно поэтому в первую очередь уделяем наше внимание, был кальвинизм. Наиболее важным для этого учения догматом считалось обычно (и считается по сей день) **учение об избранности**»[8]. В кальвинистском «Символе веры» этот религиозный догмат, ставший, по Веберу, психологическим основанием «духа капитализма», был сформулирован следующим образом: «Бог решением своим и для проявления величия своего предопределил (predestinated) одних людей к вечной жизни, других присудил (foreordained) к вечной смерти... Тех людей, которые предопределены к жизни, Бог еще до основания мира избрал для спасения не потому, что видел причину или предпосылку этого в вере, добрых делах и в любви... И угодно было Богу по неисповедимым решению и воле его, по которым он дарует благодать или отказывает в ней, как угодно будет ему, для возвеличения неограниченной власти своей над творениями своими, лишить остальных людей милости своей и предопределить их к бесчестию и гневу... И угодно Богу тех, коих он определил к вечной жизни, и только их... предназначить их для блага всемогуществом своим»[9].

Принятие в качестве символа веры столь беспощадного к большинству людей религиозного догмата действительно было чревато далеко идущими последствиями. Ведь присуждение к вечной смерти всех тех, кто еще до сотворения мира не был включен богом в списки вечно живых, толковалось просто как отсутствие у «неизбранных» подлинно человеческой, по образу и подобию божьему сотворенной и поэтому вечно живой, то есть бессмертной души. А это давало кальвинистам основание рассматривать всех не получивших такой бессмертной души людей (т. е. большинство человечества!), в качестве только внешне на людей похожих существ-одноднeвок, существ-роботов, с которыми «избраннику божьему» вольно и должно обращаться как со скотом: «Если бы отвергнутые богом стали жаловаться на незаслуженную ими кару, они уподобились бы животным, недовольным тем, что они не родились людьми»[10].

В отличие от «плоского материалиста» Маркса, Вебер подчеркивает то обстоятельство, что на родине капитализма именно кальвинизм стал основой официозного — англиканского — вероисповедания. Но характерно, что даже здесь воюющее с католицизмом правительство не решилось все-таки официально ратифицировать в качестве догмата государственной религии так называемые Ламбетские статьи англиканского символа веры, представленные королеве совместно Кембриджским университетом и архиепископом Кентерберийским, в которых в согласии с общим духом кальвинизма открыто провозглашалось предвечное присуждение богом к «вечной смерти» (отсутствию бессмертной души), к вечному проклятью и бесчестью всех «неизбранных». Эти статьи не были отвергнуты, но не были и официально ратифицированы королевой, поскольку акт их государственной ратификации, на чем настаивали наиболее радикальные поборники новой веры так называемые «диссиденты» — «круглоголовые»[11], — не только морально, но юридически поставил бы в положение изгоев массу английских подданных, не попадающих в число избранных.

---

[6] А. Тойнби. Промышленный переворот в Англии.— М., 1924, с. 44.

[7] А. Тойнби. Промышленный переворот в Англии.— М., 1924, с. 46. (Выделено мной — Ю. Б.).

[8] Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III. М., 1973, с. 11.

[9] Цитируется по М. Веберу, там же, с. 13.

[10] Макс Вебер. Протестантская етика части II и III. М., 1973, с. 16.

[11] «Приписывать англичанам XVII в. единый «национальный характер» исторически просто неверно. «Кавалеры» и «круглоголовые» ощущали себя в те времена не только представителями разных партий, но людьми совершенно различной породы» (Макс Вебер. Протестантская этика, часть I, М., 1972, с. 106). Больше того, по мнению Вебера, дело не просто в субъективных ощущениях — «есть возможность свести и это явление к расовым различиям». (Там же, с. 176).

Конечно, небезынтересен вопрос, каким же образом в рамках новой «истинно христианской» кальвинистской церкви стало возможным сформулировать столь замечательный догмат, который превращал христианство из мировой религии, призванной служить спасению всех людей, в узко кастовое вероучение. И какая роль в этой новой весьма свирепой моральной доктрине отводилась традиционному представлению о милосердном всечеловечном Иисусе Христе? Да, — говорят кальвинисты, — Христос милосерден, но... не ко всем. Нет и не может быть ни милосердия, ни пощады для отвергнутых богом скотов в образе человеческом — даже если они искренне верующие христиане и трижды праведники, строго соблюдающие все церковные предписания: «Христос умер лишь для спасения избранных, и только их грехи бог от века решил искупить смертью Христа. Это... было той руководящей идеей, которая относится ко времени древнеиудейских пророков»[12]. Ничто не может помочь существам, предвечно лишенным бессмертной души, — ни самая высокая благочестивость, ни личные их заслуги и подвиги, так же, как и никакие злодеяния не могут запятнать избранных и стать препятствием к их спасению. «Нам, — пишет Макс Вебер, — известно лишь одно: часть людей предопределена к блаженству, остальные же прокляты навек» (там же, с. 16). Последним не может помочь даже и обращение к истинной вере.

Кто избран, а кто отвергнут — об этом нельзя судить только по признаку принадлежности к истинной церкви: «и отвергнутые богом принадлежат к (видимой) церкви; более того, они, — подчеркивает Вебер, — должны принадлежать к ней и подчиняться ее дисциплинарному воздействию, но не для того, чтобы обрести блаженство — ибо это невозможно, — а потому, что и они должны выполнять заветы всевышнего, приумножая славу его» (там же, с. 17—18). Нельзя судить об избранности данного человека и по характеру его мирских поступков (подлых или благородных), но только по их результату! Успех, приносящий власть, — вот единственно верный критерий избранности: «виртуоз религиозной веры может удостовериться в своем избранничестве, ощущая себя либо сосудом божественной власти, либо ее орудием» (там же, с. 21).

Макс Вебер много внимания уделяет истории возникновения этой нацеленной на достижение успеха любыми средствами моральной доктрины, не совместимой не только со старой традиционной католической установкой, но в значительной мере и с лютеранством. Кстати, в этой связи следует подчеркнуть, что Вебер, часто употребляя общий термин «протестантская этика», на деле, прежде всего, имеет в виду «поразительную по своему значению» роль кальвинистских сект, задававших тон в Англии, а затем ставших господствующей духовной силой в США. У лютеран сектанты кальвинистского толка обычно вызывали не меньшую неприязнь, чем у католиков. Эту неприязнь уже четко выразил сам Лютер по отношению к своему современнику — духовному предшественнику Кальвина — Цвингли: «Подобно тому, как Лютер ощущал в учении Цвингли присутствие «иного духа», ощущали это и его духовные потомки в кальвинизме»[13]. Дело в том, что, в отличие от немецкого лютеранства, которое в значительной мере ориентировалось на мироощущение местных крестьян, чисто буржуазные кальвинистские секты возникали прежде всего в среде космополитичных горожан-торговцев, чаще всего переселенцев из других стран, для которых свойственно было особенно острое неприятие окружавшего их местного традиционного мира: «поразительна, — пишет Макс Вебер, — связь (о которой также достаточно упомянуть) между религиозной регламентацией жизни и интенсивным развитием деловых способностей у целого ряда сект, чье «неприятие мира» в такой же степени вошло в поговорку, как их богатство» (там же, с. 55).

Острое «неприятие» — ненависть горожанина-космополита к миру косных общинных традиций, чуждых ему привычек и суеверных обычаев, то есть ко всему тому, что Маркс обозначает термином Gemeinwesen («естественная общность») в противоположность Gesellschaft (гражданское общество), — все это, очевидно, и было психологическим основанием введения в символ новой веры жесткого ветхозаветного догмата, раскалывающего человечество на горсть избранных одиночек и массу проклятых. «Это учение, — вынужден констатировать Макс Вебер, — в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивидуума»[14]. Впрочем, Вернер Зомбарт считал, что в данном случае Макс Вебер путает последовательность событий: ощущение внутреннего одиночества, возникшее у потерявших свои корни граждан мира было, по мнению Зомбарта, не столько психологическим следствием, сколько исходной причиной возникновения свирепой этической установки.

Зомбарт указывает на парадокс, который заключается в том, что ветхозаветный религиозный догмат богоизбранности

---

[12] Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III. М., 1973, с. 18.

[13] Макс Вебер. Протестантская этика, часть I. М., 1972, с. 104.

[14] Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III. М., 1973, с. 17. Характерно, что тот же психологический результат кальвинистского вероучения весьма оригинальным способом указал известный французский социолог Э. Дюркгейм. В своей книге «Самоубийство» на основе анализа обширного статистического материала Дюркгейм весьма убедительно продемонстрировал тот факт, что среди верующих разных вероисповеданий именно сектанты кальвинистского толка в среднем гораздо больше других склонны кончать жизнь самоубийством, что объясняется их обостренным чувством внутреннего одиночества и отчужденности от других людей.

вполне органично совместился в протестантской этике с утверждением в качестве наивысших нравственных ценностей юридических принципов равенства и свободы — главных лозунгов политических революций нового времени. Реформация началась с того, что бесправные накопители-протестанты объявили яростную войну против каких бы то ни было родовых наследственных привилегий власть имущей аристократии, старой знати, против разделения людей на сословия в соответствии с их происхождением[15]. Упор изначально делался на свободу частной инициативы «абстрактного человека», оторванного от природных корней — родовых, племенных и общинных связей, которые заменялись универсальным товарно-денежным отношением: достоинство человека определяется суммой накопленного капитала. В рамках традиционно сложившейся иерархии источником кальвинистской страстной «борьбы за права» служили эмоции униженного нувориша — психологическая установка, многократно усиливавшаяся в результате вынужденных переселений и связанных с этим мытарств. Борьба за политические права, за полное равенство с местными власть имущими, за простор для своей ничем не ограниченной предприимчивости на чужой земле — вот подлинный нерв этики богоизбранного переселенца.

В. Зомбарт, специально исследовавший проблему социально-экономических следствий массовых переселений, вызванных Реформацией, так объясняет склонность мигрантов к капиталистическому предпринимательству: «Иноземец не ограничен никакими рамками в развитии своего предпринимательского духа, никакими личными отношениями... приносящие выгоду дела вначале вообще совершались лишь между чужими, тогда как своему собрату помогали; взаймы за проценты дают только чужому... Только беспощадность, которую проявляют к чужим, могла придать капиталистическому духу его современный характер. Но и никакие вещественные рамки не поставлены предпринимательскому духу на чужбине. Никакой традиции! Никакого старого дела! Все должно вновь быть создано, как бы из ничего. Никакой связи с местом: на чужбине всякое место одинаково безразлично... Из всего этого должна с необходимостью вытекать одна черта, которая присуща всей деятельности чужеземца... Это — решимость к законченной выработке экономико-технического рационализма»[16].

Зомбарт не отрицает и чисто религиозных стимулов буржуазного предпринимательства, но он не склонен сводить все дело к специфике протестантской доктрины. В Германии, где победившие лютеране остались «дома», Реформация не привела к быстрому, полному разграблению земельной собственности и к радикальной ликвидации аграрного перенаселения. Другое дело в Англии, куда протестантизм (в основном кальвинистского толка) был занесен извне состоятельными беженцами из Нидерландов, Франции и т. д. Крайне индивидуалистическая и резко антиобщинная установка естественна на новом месте для чужаков-переселенцев, оторвавшихся от пуповины, связывавшей их на родине с «природными условиями производства» (Маркс). Такой освободившийся от всех иррациональных привязанностей «абстрактный человек», независимо от вероисповедания, склонен возводить в культ голую рационалистическую целесообразность, рассматривая чуждую ему природу и чуждых людей с их непонятными «нелепыми» нравами как голую данность: в лучшем случае — просто как сырой материал для своей субъективной и ничем уже не стесненной формообразующей деятельности; в худшем — просто как объект наживы. Это в конечном счете признает и Макс Вебер: «Из скота добывают сало, из людей — деньги»[17] — вот вульгарная формула бежавших в Америку мучеников идеи — кальвинистских сектантов.

Но Вернер Зомбарт идет дальше, он пытается доказать, что дело не в вульгаризации отправной нравственной установки; с его точки зрения, там, где речь идет о мигрантах, религия — второстепенный фактор: «мы видим, что евреи и европейцы, протестанты и католики проявляют одинаковый дух, когда они являются «иноземцами»... это социальное обстоятельство — переселение или перемена родины — как таковое является основанием для более сильного развития капиталистического духа»[18]. По мнению Зомбарта, специфические черты психологии переселенца очень ярко проявляются в характере типичного янки, что выражается даже в его отношении к так называемым «красотам природы», которое является чисто коммерческим: «Окружающее не имеет для него никакого значения. Самое большее, он может использовать его как средство к цели — приобретательству... единственное отношение янки к окружающему их есть отношение чисто практической оценки с точки зрения полезности (или, по крайней мере, было таким прежде)... Колокольня его деревни для него как и всякая другая колокольня; самую новую, лучше выкрашенную он считает самой красивой. В водопаде он видит только водную силу для движения машины» (там же, с. 245).

Эти специфические черты присущи не только типичному янки времен становления Соединенных Штатов. На родине капитализма, в Англии, именно такие освободившиеся от всяческих сантиментов и предрассудков «новые люди» становились самыми горячими поборниками принципа ничем не стесненной частной собственности (т. е. ликвидации земле-

---

[15] «В Америке в соответствии со старой (протестантской. — Ю. Б.) традицией большим уважением пользуется человек, который сам приобрел свое состояние, чем его наследники» (Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III. М., 1973, с. 297).

[16] В. Зомбарт. Буржуа. М., 1924, с. 247.

[17] Макс Вебер. Протестантская этика, часть I. М., 1972, с. 62.

[18] В. Зомбарт. Буржуа. М., 1924, с. 243.

дельческой общины), частной инициативы и ничем не ограниченных товарных отношений. А таких «новых людей» в Англии к началу аграрной революции и последующего за ней промышленного переворота появилось достаточно много. Прежде всего из них и сложилось так называемое «новое дворянство», задававшее тон в парламенте в период принятия знаменитых законов об «огораживании» принадлежавших крестьянам общинных земель.

Говоря о волнах массового переселения в Англию иноземцев, Зомбарт в первую очередь указывает на разгул испанской инквизиции в конце XV века, в результате чего «...300 000 евреев из Испании эмигрировали в Наварру, Францию, Португалию и на восток. Значительная часть этих испанских евреев переселилась в Англию»[19]. Многие из них на новой родине крестились, вступив в протестантские секты. Дополняя Зомбарта, М. Вебер по этому поводу замечает: «если многие современники, а также и писатели последующего времени, определяли этическую настроенность именно английских пуритан, как «English Hebraism», то это при правильном понимании подобной характеристики вполне соответствует истине»[20].

Однако гораздо большее значение для развития процесса становления капитализма имело переселение в Англию значительного числа гугенотов (французских кальвинистов) — купцов, банкиров и мастеров, а также весьма богатых, предприимчивых и фанатично ненавидящих католицизм нидерландских протестантов, спасающихся от преследования испанских властей: «несомненно, — пишет В. Зомбарт, — пришельцы XVI и XVII столетий, в частности выходцы из Голландии и Франции, провели глубокие борозды в хозяйственной жизни Англии. Их число значительно»[21].

И М. Вебер, и В. Зомбарт доказывают, что прежде всего протестанты, бежавшие из континентальной Европы, наладили все основные отрасли знаменитой английской промышленности, наладили так, как этого не было никогда и нигде в мире, — в форме капиталистических предприятий, основанных на наемном труде. Но строительству такой промышленности должна была предшествовать аграрная революция.

На эту сторону деятельности предприимчивых переселенцев проливает свет А. Тойнби. С точки зрения Тойнби, то обстоятельство, что в консервативно-дворянскую Англию обыкновенно бежали наиболее богатые протестанты из континентальных европейских стран, имело решающее значение для судьбы земельной собственности в стране. Ведь как ни богаты были некоторые переселенцы, их политический вес в условиях феодально-аграрной Англии оставался ничтожным до тех пор, пока тем или иным способом им самим не удавалось здесь стать земельными собственниками, ибо в традиционных обществах (а особенно это было характерно для Англии) определенные политические права непосредственно связаны с той или иной формой иерархически разделенного землевладения. А. Тойнби, объясняя причины английской чистки земель, придает вышеуказанному обстоятельству первостепенное значение. В Англии, — пишет Тойнби, — «поземельное дворянство сделалось фактически господствующей силой. Не только общегосударственная, но и местная администрация была всецело в его руках и, как естественное следствие этого, **сильно увеличился спрос не землю, как основу общественного и политического влияния...** Купцы могли приобрести политическое влияние и видное общественное положение, лишь сделавшись землевладельцами. Правда, по словам Свифта, «власть, которую прежде обыкновенно давала земля, перешла к деньгам»... Но лишь немногие купцы заседали в парламенте... Чтобы стать поэтому джентльменом, всякий купец, скопивший свое богатство в городах... покупал обыкновенно землю. Отсюда **купеческое происхождение многих дворянских родов в нашей стране...** и не только народилась новая порода землевладельцев, но и старые фамилии разбогатели и получили возможность увеличить свои земельные владения благодаря тому, что они породнились с **коммерческими магнатами**»[22].

Чтобы подтвердить, этот свой тезис, Тойнби приводит разбор родословного древа наиболее видных аристократических родов современной Англии, что дает ему возможность сделать следующее заключение: «Таким образом я установил два факта: во-первых, особенное основание... **для стремления иметь земельную собственность, как условие политической власти и общественного престижа**; во-вторых, наличность средств для покупки этой земли у богатого купечества, или у знати и более видных джентри, обогащенных брачными союзами с крупным торговым классом» (там же, с. 49).

Впрочем, очень крупных денежных средств и не требовалось там, где у воинственных диссидентов оказалось достаточно силы. Одним из крупнейших земельных собственников в старой Англии была католическая церковь, которая обеспечивала существование весьма значительного слоя малоземельных крестьян и неимущих, сдавая им землю в наследственную аренду. Первый удар пуритан и был направлен против церкви: «Одною из главных причин аграрных перемен, — пишет Тойнби, — было закрытие монастырей, хотя она и проявляла свое действие лишь косвенным образом. Дело в том, что **секуляризованная монастырская собственность перешла в руки новых людей**, которые без всяких стеснений сгоняли фермеров с земли. Приблизительно в это же время цены на съестные припасы поднялись вследствие прилива драгоценных металлов (ввезенных в страну богатыми переселенцами.— Ю. Б.)... Цены на хлеб в 1541—1582 гг. поднялись на 240 процентов сравнительно с предшествующими 140 годами... В этом факте открывается нам... крупная причина тогдашнего пауперизма» (там же, с. 88—89).

Следующую крупную узурпаторскую акцию осуществили принявшие новую веру местные английские дворяне, которые, как отмечал Маркс, «сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству» и присвоили себе «современное право частной собственности на поместья, на которые они имели лишь феодальное право...» (Соч., т. 23, с. 734). Таким образом, и старинные феодальные поместья окончательно превратились в свободно отчуждаемый товар и стали в перспективе объектом законной добычи «новых людей» с большими деньгами.

Так называемая «Славная революция» (1688 г.) поставила точку в этом процессе. Отстранив от власти консервативные круги старой аристократии и отдав парламент в руки богатых нуворишей, умеющих красно говорить о правах и свободе личности, эта революция предоставила новым людям новые возможности узурпации земель — теперь уже государственных. «Они, — писал Маркс, — освятили новую эру, доведя до колоссальных размеров то расхищение государственных имуществ, которое до сих пор практиковалось лишь в умеренной степени. Государственные земли отдавались в дар, продавались за бесценок или же присоединялись к частным поместьям путем прямой узурпации» (т. 23, с. 735).

И, наконец, «последним крупным процессом экспроприации земли у земледельцев» была, согласно Марксу, так называемая clearing of estates — очистка земли от живущих на ней людей, которая могла быть осуществлена только с помощью чудовищного насилия. В кругах новой протестантской элиты начинается бешеная земельная лихорадка: «рядом с лицами, уже владеющими крупной земельной собственностью, есть и такие, которым хотелось бы стать крупными землевладельцами: купцы, финансовые дельцы, а позже и фабриканты. Момент благоприятен. Перетасовка земельных владений произвела расстройство в рядах класса, отличающегося наиболее прочной и верной привязанностью к земле»[23].

В «Капитале» Маркс таким образом подводил итог аграрной революции, с которой начался процесс образования класса наемных рабочих: «Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государственных земель, расхищение общинной собственности, осуществляемое по-узурпаторски и с беспощадным терроризмом, превращение феодальной собственности и собственности кланов в современную частную собственность — таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления. Таким путем удалось... **создать для городской промышленности необходимый приток поставленного вне закона пролетариата**» (т. 23, с. 743—744. Выделено мной.— Ю. Б.).

Я думаю, надо признать правоту Макса Вебера: на поворотном пункте европейской истории протестантская этика сыграла роль катализатора, без которого не возник бы западный капитализм. Аргументы Зомбарта, направленные против Вебера, очевидно, справедливы, но они бьют мимо цели. Не имеет решающего значения вопрос, что первично: протестантская религиозная доктрина или специфическая психология переселенца, нашедшая именно в кальвинистской доктрине идеальную форму своего выражения. Сам Зомбарт замечает, и Вебер подтверждает тот факт, что кальвинистская доктрина родилась в среде космополитичных горожан-инородцев.

Конечно, в отличие от Вебера Зомбарт много внимания уделяет и особенной роли иудаизма, сыгравшего якобы в процессе становления капитализма роль не меньшую, чем протестантская этика. Но сам же Зомбарт показывает, например, что большинство бежавших в Англию евреев крестились там, став страстными пуританами. Разумеется, крестились не все; например, знаменитый премьер Дизраэли стал лордом Баконсфильдом, оставаясь иудеем — это ему не мешало от имени Англии вершить мировую политику. Могли бь. не креститься и другие — в Англии не было испанской инквизиции, которая охотилась за евреями. Но очень многие крестились: видимо, было в протестантской этике что-то очень притягательное для закаленных кровавыми бурями Реформации разноплеменных скитальцев — дельцов нового типа. И дело тут не просто в установке на наживу, которая сама по себе стара как мир.

Макс Вебер пишет: «Идея, согласно которой в успехе проявляется благословение господне, конечно, не чужда и иудаизму»[24]. А поскольку последний возник задолго до кальвинизма, встает вопрос: почему же раньше эта великая идея нигде и никогда не воплощалась в промышленный капитализм? Макс Вебер весьма основательно принимается за разрешение этого вопроса. Он ссылается на «совершенно иное религиозно-этическое значение этой идеи в иудаизме, вследствие его двойной (внутренней и внешней) этики... По отношению к «чужому» разрешается то, что запрещается по отношению к «братьям». Уже по одному этому успех в подобной сфере не «предписанного», а «разрешенного» не мог быть признаком религиозного утверждения и импульсом методической регламентации жизни в том смысле, в котором он существовал у пуритан» (там же, с. 235). Другими словами, даже принцип наживы в иудаизме не столь универсален, как в кальвинизме: во-первых, он не распространяется на отношения

[19] В. Зомбарт Буржуа. М., 1924 с. 236.

[20] Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III. М., 1973. с. 90.

[21] В Зомбарт. Буржуа. М., 1924, с. 241. Зомбарт дает подробную сводку переселений, при этом он замечает: «Те индивидуумы, которые решаются на эмиграцию, являются — в особенности или, быть может, только в прежние времена, когда всякая перемена места и особенно всякое переселение... еще было смелым предприятием — наиболее энергичными, с сильной волей, наиболее отважными, хладнокровными, более всего расчетливыми, менее всего сентиментальными натурами» (там же, с. 244).

[22] А. Тойнби. Промышленный переворот в Англии. — М., 1924, с. 47—48. (Курсив мой.— Ю. Б.).

[23] П. Манту Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М.— Л., 1925, с. 119—120.

[24] Макс Вебер. Протестантская этика, части II и III, с. 88.

между «своими», и главное, нажива здесь сохраняет «традиционалистский» характер, то есть нацелена на потребление и поэтому не превращается в столь всепожирающую, как в кальвинизме, страсть — в действительно религиозный принцип. К тому же, как считает Вебер, следует учесть и то обстоятельство, что иудеи пытались наживаться в чуждой им этнической среде, за что местное население всегда и везде третировало их как париев. Поэтому, делает вывод Макс Вебер: «еврейский капитализм был спекулятивным капитализмом париев, пуританский капитализм — буржуазной организацией трудовой деятельности» (там же, с. 236).

В отличие от иудейской установки, где капитал лишь средство непосредственного наслаждения или господства, то есть вернейшее средство максимального благоустройства своего земного материального бытия, для протестанта, подлинного господина нового строя, накопление капитала становится самоцелью. Но для чего наживать огромные деньги, оставаясь аскетом, отказывая себе самому в земных радостях? А подлинно капиталистический предприниматель, особенно не первых порах становления буржуазного строя, действительно был аскетом; посвятив большую часть своего труда описанию капиталистической аскезы, М. Вебер эту черту не выдумал[25], на нее, как на важнейший фактор, указывал в своем «Капитале» и К. Маркс. От всех бывших господ — «расточителей и тунеядцев» — подлинно капиталистический предприниматель отличается принципиально: ради дела «капиталист, — пишет Маркс, — грабит свою собственную плоть» (т. 23, с. 611). Во имя чего он это делает? Материалист Маркс мог только фиксировать этот поразительный феномен, не дав ему никакого вразумительного объяснения. Не мог же Маркс принять за чистую монету моральное стремление прожженного дельца к спасению своей души — к потусторонней жизни вечной. Это противоречит историческому материализму.

Макс Вебер отвергает исторический материализм. За объяснениями он обращается к протестантской религиозной доктрине.

Протестантизм вообще и особенно кальвинизм в качестве основы своей моральной доктрины воспринял крайне индивидуалистическую философию раннехристианского мыслителя Августина[26]. Но Августин, прежде чем стать отцом христианской церкви (епископ города Гиппона — Африка), был членом тайной манихейской общины, откуда он и почерпнул учение об избранности и предопределении, которое он пылко и талантливо пропагандировал среди христиан, но которое тем не менее так и не было принято (хотя и не подвергалось анафеме) католической церковью. Корнями своими это учение уходит в ветхозаветную догматику. Дело в том, что в отличие от новозаветного единобожия ядром Ветхого Завета являлась специфическая идея монотеизма, согласно которой есть один и только один всемогущий вездесущий и всевидящий бог, творец всего сущего, который, однако, при этом вовсе не всечеловечен. Это был племенной бог иудеев; боги всех иных народов — идолы. Из представления своего племенного бога в качестве единственно истинного и всемогущего естественно вытекала и вера в богоизбранность части людей, родных всемогущему богу[27], в предвечное предопределение их к посюстороннему господству над всеми другими людьми и к потустороннему спасению души. Психологически вера эта обеспечивала верующему торжествующее сознание уверенности, исключающее всякую рефлексию, всякие сомнения. Любой верующий иудей искренне мнит себя сыном божьим, будь он даже последним из неудачников, что и определяет его непомерное самомнение. Иудаизм — религия веселая.

Совершенно другой психологический рисунок получился при перенесении идеи богоизбранности с моноэтнической почвы Ветхого Завета на полиэтническую почву христианства. В самом деле. Кальвинист тоже верит, что только немногие являются божьей аристократией, предопределены к земному господству и потусторонней жизни вечной; большинство же людей — это просто человеческий мусор, обреченный на угнетение, вечную смерть и проклятье, независимо от их дел, злых или добрых — все равно.

Для адепта ветхозаветной веры, для иудея, в такой ситуации не было проблем, свидетельством его счастливого жребия являлся акт рождения в общине избранных. А вот протестанту — сложно. К какому разряду себя причислить? К избранным людям или к человекоподобным животным? Здесь вечные страхи, терзания и сомнения. Кальвинизм — религия угрюмая.

Для кальвиниста главная проблема — **убедиться** в своей богоизбранности. Но как? Способ один — ощутить себя «орудием божьим». Критерий этого ощущения, с точки зрения протестантской доктрины, вполне объективен, это — успех, любой земной успех, в любой деятельности, как доброй, так и злой. Ведь согласно ветхозаветным представлениям, которые через Августина воспринял кальвинизм, Бог может действовать злом во имя добра, и даже сам Сатана является орудием божьим. Об этом недвусмысленно говорится в ветхозаветной книге Иова — одной из самых любимых протестантских книг. Поэтому, строго говоря, в своих деяниях можно подражать даже и Сатане, лишь бы деяниям этим сопутствовал успех, дающий ощущение избранности и предопределенности к господству.

Таким образом, в протестантских сектах различных кальвинистских направлений намечаются две тенденции: 1. Тенденция к образованию в теле «видимой церкви», т. е. кальвинистской «церкви для всех», еще и тайной «невидимой церкви», т. е. союза аристократов, божьих избранников, противопоставленных всем прочим людям — пустому человеческому шлаку, обреченному служить простым материалом для формообразующей деятельности избранных «орудий божьих»[28]. 2. Безудержное стремление к успеху в любом его выражении и прежде всего в выражении абстрактно-универсальном, всеобщем, то есть денежном. Ведь протестанту нужны большие деньги не для удовлетворения естественных потребностей — он аскет, — но как свидетельство предопределенности к успеху, то есть своей богоизбранности. При этом психологическом условии страсть к наживе действительно становится поистине безграничной. На этой основе разрабатывается целая наука о строгой экономии всех средств и времени, то есть о правилах наиболее успешного накопления — «методизм». Именно последнему феномену Макс Вебер уделяет наибольшее внимание, пытаясь представить его в качестве чуть ли не единственной причины возникновения западного капитализма.

М. Вебер обильно цитирует тексты наиболее знаменитых пуританских проповедников и особенно Бакстера: «Если бог указует вам путь, — вещает последний, — следуя которому вы можете... заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым препятствуете одной из целей призвания (calling), вы отказываетесь быть управителем (steward) бога и принимать дары его... Не для утех плоти и грешных радостей, но для бога следует вам трудиться и богатеть... Желание быть бедным было бы равносильно... желанию быть больным и достойно осуждения...»[29] и т. д., в том же духе. Короче, ради приумножения своего капитала все пути и средства хороши, лишь бы они были наиболее эффективными, а грехи избранных милосердный Христос все давно уже искупил — только их грехи! Все не сумевшие разбогатеть еще до сотворения мира прокляты навсегда.

Правда, сам Вебер иногда делает оговорки, что, конечно, не только ради души и потусторонней жизни старались любыми путями разбогатеть кальвинисты. Не менее притягательной была для них награда еще в этой жизни. «С точки зрения пуритания, — пишет Вебер, — ...в том же направлении действовала вся мощь ветхозаветного бога, который награждал своих избранных за их благочестие еще в этой жизни» (там же, с. 88). А это обозначало не только то, что бог позволяет своим избранникам уже и в этой жизни устроиться с вполне достаточным комфортом[30], но, главное, что саму степень избранности божьей можно достаточно точно измерить величиной земной «награды», то есть общим количеством приобретенных «разными путями» денег. Чем больше у кальвиниста денег, тем больше и уверенности в своей богоизбранности: таким образом, нажитый капитал оказывается для него своего рода билетом на вход не только в земной, но, главное, в вечный потусторонний рай, билетом с точно указанным номером места в раю — цифра капитала, соответствующая степени избранности. В соответствии с протестантской установкой, чтобы определить степень нравственного достоинства, в США достаточно

[25] В Англии пуритане начали с того, что повели яростную борьбу против расточительных привычек разгульной аристократии и даже против народных обычаев. М. Вебер по этому поводу пишет: «Наиболее яркое выражение это нашло в борьбе, развернувшейся вокруг «Book of sports» («Книга об увеселениях»), которую Яков I и Карл I в их очевидном желании покончить с пуританством возвели в закон... пуритане бешено сопротивлялись королевскому постановлению, объявлявшему дозволенными законом обычные народные увеселения в воскресные дни...» — «Феодальное общество монархического государства ограждало «склонных к развлечениям» людей от посягательств возникающей буржуазной морали и враждебных властям аскетических общин» (М. Вебер. Протестантская этика. части II и III, с. 236, с. 91).

[26] Характерно, что именно Августина считают своим духовным отцом и все современные экзистенциалисты — проповедники новой «философской веры» Запада.

[27] Все правоверные иудеи, родившиеся после кастрации Авраама от обрезанных отцов (символическая кастрация), считаются «сыновьями божьими» — в буквальном смысле этого слова (подробнее см.: В. В. Розанов. Ангел Иеговы. СПб, 1914). Но Иисус Христос — тоже Сын Бога. Какого? Ветхозаветного Иеговы?

Фундаментом кальвинистской религиозной доктрины стало полное отождествление племенного иудейского бога-отца с первым лицом христианской троицы, хотя такое отождествление совершенно несовместимо с евангельскими текстами. Вот прямой разговор об этом Иисуса Христа с иудеями: «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего... На это сказали ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога» (Иоанн, VIII, 38, 41). В логике фарисеев ловушка: если Христос сын другого Бога, значит, он врагинородец, бить и гнать его! Если же он иудей, пусть признает, что одного Бога-Отца имеем... Но сказал им Христос: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн, VIII, 44).

Согласно словам, запечатленным в евангельских текстах, Бог даровал людям свободу воли и потому обычно не вмешивается в земные дела, оставив за собой потусторонний суд: «Царство Мое не от мира сего». Но в лице Иисуса Христа вмешался, вочеловечился и явился в мир «спасать иудеев» — крестом своим, примером самоотверженности. Почему такая избранность — спасать прежде всего иудеев? Потому, очевидно, что на земле сложились обстоятельства чрезвычайные: целый народ попал в лапы дьявола — Бог явился спасать не лучших, а падших. Такая новозаветная трактовка избранности прямо противоположна ветхозаветной. Кальвинизм, отступивший на почву Ветхого завета, с его кастово-племенной гордыней, по существу, стал космополитическим иудаизмом, открытым для неиудеев, чем и объясняется тот факт, что «большинство синагог в США к 1970-м годам были превращены в иудаистско-протестантские «храмы» (см.: В. Кожинов. Сионизм Михаила Агурского и международный сионизм. «Наш современник», № 6, 1990). Подробно о несовместимости Ветхого и Нового заветов см.: Ю. Бородай. Миф и культура, в кн. «Опыты», М., 1990.

[28] Этой тенденцией объясняется тот факт, что в США различные кальвинистские секты легко превращаются в тайные масонские ложи разных ступеней, доступные лишь посвященным избранникам. Подробнее см. об этом: Макс Вебер. Протестантская этика. части II и III. М., 1973, с. 265—293.

[29] Цитируется по: Макс Вебер. Протестантская этика. части II и III. М., 1973. с. 87.

[30] М. Вебер показывает, что, в противоположность старой «греховной» и притом весьма обременительной и утомительной показной феодальной роскоши быта, «комфорт» — исходно пуританское понятие (см. там же, с. 98).

спросить: сколько стоит этот человек? Нам, православным, невдомек, что этот главный в США вопрос имеет не столько прагматическую, сколько глубоко религиозную значимость. Такова в общих чертах та исходная религиозно-нравственная установка, которая воплотила себя в грандиозном здании западного капитализма.

* * *

Сейчас нас опять зовут повторять западные пути. Самые наилучшие — американские! Но мы — не протестанты. И даже не католики. Поэтому все равно ничего не получится. Слепое копирование никому никогда и нигде не приносило успеха. Правда, и среди нас достаточно богоизбранных — ветхозаветных. Под их напором в нашей стране по английским рецептам уже осуществлена аграрная революция, гораздо более радикальная, чем на Западе: крестьянство уничтожено полностью, все население превращено в наемных поденщиков — сельских и городских. Если верно определение Маркса, что капитализм это система наемного труда, то мы в форме «реального социализма» уже построили суперкапитализм. Впрочем, по Зомбарту, социализм это и есть завершенный **государственно-монополистический** капитализм с плановой экономикой, то есть перезревший капитализм на стадии прекращения роста — стагнации. Хоть в чем-то мы все-таки обогнали Запад. И сейчас нас зовут обратно к ранним формам индивидуально-предпринимательского капитала. Назад — еще к одному «первоначальному накоплению». Кто теперь на нашей уже «очищенной» допуста, испепеленной почве рвется на роль накопителей? И за чей счет? К этому стоит внимательно присмотреться всякому русскому человеку. Ну а я, грешный, думаю: оттого, что наши избранники божьи валом все заспешили сейчас из красных перекраситься в желтых хозяев жизни (из комиссаров в капиталисты), не меняется существо дела. И ярость сегодняшних обличительных публикаций «передовой» прессы преследует ту же цель, какая была у поджигательских мстительных лозунгов молодой революции, — обшлеп православных, прошу прощения за эвдемизм. Под рев своих иерихонских труб дряхлеющий красный бес спешит перестроиться в желтого дьявола.





ГЮНТЕР ТЮРК



ЭТО ДУШИ МОЕЙ ПЕПЕЛ

* * *

Ветер волнует ковыль,
Грустное время пророчит,
Кружит взметенную пыль,
Дать ей покоя не хочет.

Что-то и я загрустил,
Вспомнил о близких — о дальних!
— Память, — стучусь я, — впусти,
Я твой смиренный печальник.

Сколько для вражьих сердец
Отлито пуль молодецких!
Где ты закопан, отец,
На островах Соловецких?

Надо судьбу принимать —
Так уж от века ведется.
Тщетно ждала тебя мать,
Да и меня не дождется.

Вот и томится с утра
Сердце сиротской тоскою.
Нас разделяет, сестра,
Горькое море людское.

Ждали вы, мать и сестра,
Мужа и сына и брата...
Кружится пепел костра,
Дым улетел без возврата.

Там, где цинготной десной
Грыз я искрящийся трепел,
Пыль на дороге степной.
...Это души моей пепел.

Гюнтер Густавович ТЮРК (ласкательное имя Гитя) родился 1 января 1911 года в семье московского врача, впоследствии репрессированного и погибшего в Соловецком лагере особого назначения. Окончил школу с электротехническим уклоном. В конце 20-х годов вместе со старшим братом Густавом, окончившим Московский университет, сблизился с толстовцами, был членом Вегетарианского общества. В 1931 г. с членами подмосковной толстовской коммуны «Жизнь и труд» переехал в Сибирь на выделенный им участок близ г. Новокузнецка. Здесь он занимался ручным сельскохозяйственным трудом и учительствовал. В 1936 г., когда начались репрессии против членов коммуны, был арестован, но оправдан по суду. Вскоре, однако, решение суда было отменено «за мягкостью», и с 1937 до 1940 года Гитя провел в Кузнецкой следственной тюрьме, а затем 8 лет — в Мариинском исправительно-трудовом лагере Сиблага. После освобождения из лагеря отбывал ссылку в г. Бийске Алтайского края, где 24 марта 1950 г. скончался.

Стихи писал и до ареста, и в лагере, и в ссылке. В тюрьме создал около ста стихотворений, сохранившихся благодаря друзьям-сокамерникам Д. Е. Моргачеву, Д. И. Пащенко, заучившим их наизусть и впоследствии записавшим.

Опубликовано всего два стихотворения Г. Тюрка в сборнике «Воспоминания крестьян-толстовцев».

Анвер Бабакишиев.

* * *

В пучине облаков бессонный взор блуждает.
Теснится в сердце боль, как свет в прорывах туч.
Какая тьма вокруг! О что нас ожидает?
Раздумье тяжкое, не мучь меня, не мучь!

Я обречен. Не мучь, бессилие немое,
Предчувствием того, что жизнью заплатить
Я обречен. Уже — как скот — ношу клеймо я,
И участь горькую уже не отвратить.

Сиянье женских глаз, ребенка светлый локон,
Родной простор небес, родная ширь земли —
Уже я вижу вас как будто издалека,
Как будто в прошлое уже вы отошли!

Ночь. Я один. Один... Бессонный взор блуждает.
Из сердца рвется боль, как лунный свет из туч.
Идут!.. Нет, не за мной. О как мой дух страдает!
Безумье тяжкое, не мучь меня, не мучь...

* * *

Все пережить и все оставить
Без сожаленья за собой,
И, оглянувшись, жизнь прославить
За недостигнутый покой.

Принять, чела не отклоняя,
Все муки крестного пути,
Пригубить уксус, не пеняя,
И — не озлобившись — уйти...

* * *

Жизнь разбита. Раны застарели,
Затянулись тусклой синевой.
Только вздрогну от весенней трели,
И опять лежу как неживой.

Только все еще надеюсь (где я
Наслыхался всякой ерунды?)
Повстречать такого чародея,
Что мне даст испить живой воды.

Вспыхнут щеки молодо и гневно,
Позабудет сердце про тюрьму,
И очнется спящая царевна,
Запоет в высоком терему.

Запоет так нежно и так внятно,
Как в давно забытые года.
Заиграют солнечные пятна,
Зажурчит подснежная вода!

Вырастут невидимые крылья,
И тогда взлечу я наяву,
И открою всем, что прежде скрыл я,
И себя Поэтом назову.
. . . .
...Как вы растравляете, моменты
Грез, от пробужденья до гудка!
Но за дело. Ждут нас инструменты
Творчества — лопата и кирка.

* * *

Прошли те времена, когда
Все были врозь, и потому
Могли беспечно кто куда
Идти один по одному.

Настало время нам кипеть
В едином мировом котле,
В разноголосом хоре петь
Со всеми вместе на земле.

Разноголосье! Крик и стон,
Визг дискантов и рев басов —
Хаос, но задает в нем тон
Восторг ведущих голосов.

Кипит и лопается жизнь,
Клокочет кровь людских сердец,—
Рождается из всех отчизн
Одна Отчизна, наконец.

Ликуй! Твой звездный час настал,
Отчизна Мира и Труда.
Здесь выплавляется металл!
А мы — порода и руда...

* * *

За решеткой окна, за высоким забором,
Над невзрачными пятнами сереньких крыш
Бесконечный простор перед жаждущим взором,
И в тоске необъятной вечерняя тишь.

Отвернусь, отойду и, в страдании сгорбив
Плечи, не зарыдаю, и вновь подойду.
И паду на лицо в помрачительной скорби —
Так Учитель скорбел в Гефсиманском саду.

Мир! Прощай навсегда. Ухожу без возврата.
Надышаться б взахлеб этой жизнью земной!
Насмотреться б на это сиянье заката!
Что ж так рано, Отец, посылаешь за мной?

Что же Ты отдаешь меня на поруганье,
На глумленье привратникам небытия?
Пронеси эту чашу! Я без содроганья
Не могу ее видеть! Но воля Твоя.

Читая «Правду»

Не мне судить о правде лет,
Текущих огненной рекой:
Скажу ли да, скажу ли нет —
Кому скажу? Кто я такой?

И что сумею разглядеть,
Как мышь, газетою шурша?
Порвет ли заблуждений сеть
Моя плененная душа?

Не знаю... Чистоту тая
В грязи позорящих одежд,
Переросла тоска моя
В смиренье трепетных надежд.

Поняв сомнения тщету
И просветив свой темный ум,
Заглядываю в пустоту
Вчерашних истин, гордых дум...

* * *

Почти отвесный обнаженный сброс,
Нависший над неласковой рекою;
За ней — в застывших пятнах белых слез —
Равнина с неохватною тоскою.
Щетиною кустарника порос
Ее простор, и дикостью такою
Все дышит здесь в безвестный этот день!
И я — как призрак, как немая тень...

Как долго я робел перед пустыней,
По ласковой природе тосковал! —
Дубовый лес мне грезится поныне
И озера сияющий овал.
Настанет день, и этот сон застынет,
И памяти сверкающий обвал
Засыплет старые воспоминанья
В ущелье многолетнего изгнанья.

И все же мил мне в скудости такой
Скупой привет природы нелюдимой,—
Ее холмов незыблемый покой
И зыбь реки, всегда текущей мимо.
И чувствую я с вещею тоской,
Что этот край — мне тоже край родимый:
Здесь жизнь моя, как предвечерний луч,
Прильнув к земле, погаснет в море туч.

* * *

Пыльный день. Сухой и тусклый вечер.
Небосвод от зноя отвердел.
Кажется, его и вспомнить нечем,
Этот день невольничий без дел.

Но смотри: синеющею тучей
Над полуиссохшею рекой
Заклубилось облако созвучий
Дальнею тревогой и тоской.

Духота сгустилась до предела,
Вспыхивают рифмы в тишине,
И священный трепет то и дело
Знобко пробегает по спине.

Грянь же, гнев Господен, чтобы с треском
Раскололся этот небосклеп,
Чтобы, оглушенный, я от блеска
Красоты и истины ослеп!

Откровеньем душу опали мне,
И уста горящие мои
Ороси твоим чистейшим ливнем,
Творческим восторгом напои!

Чтоб потом, когда промчатся годы
(Может, еще выживу—как знать?),
Этот день, как высший миг свободы,
На закате мог я вспоминать.

* * *

Хоть и давят тюремные стены,
Хоть я в клетку, как зверь, заключен,
От кошмара безумного плена
Я волшебной мечтой отвлечен.

Я утешен чудесной мечтою
О единстве всего бытия,
Я избавлен молитвой простою
От всегдашней тоски и нытья.

Бог таинственный! Мир беспредельный!
Жизнь, как море любви и тревог!

Вашей песни тончайшей, свирельной
До конца я постигнуть не мог.

Но внимать этой музыке страстной
Каждодневно стремился мой слух,
Красотой его стройной и властной
Вдохновлялся мой творческий дух.

И теперь, в тишине заточенья,
Облегченный молитвой, порой
Вновь я слышу далекое пенье,
Как пастушью свирель за горой.

+++

* * *

Я не ропщу на происки судьбы.
Я кары роковой не проклинаю.
Не в том беда, что я так быстро таю,
Что много было «если б» да «кабы»,
А в том беда, что таю без борьбы,
Что не могу я быть в Советской стае,
Что с ней в грядущее не отлетаю,
Что прошлое не ставил на дыбы!

Да, я в моем пути к нему не вышел.
Пусть без меня великой грудью дышит
Моей страны прославленный простор.
Быть может, и могло бы быть иначе...
Но «если б» да «кабы» — печальный вздор.
Могучий лес по дереву не плачет.

Публикация А. БАБАКИШИЕВА.
Подготовка текстов В. КОЛЕДИНА.

ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
РЕВОЛЮЦИЯ

50

Удачливый подпольщик — не тот, кто прячется под полом, как мышь, избегает света и общественного движения. Удачливый находчивый подпольщик — самый деятельный участник всеобщей естественной жизни с её слабостями и страстями, он — на виду, в жизненном кипении, и занят чем-то понятным для всех, и допустимо ему тратить на эту повседневную деятельность бóльшую часть времени и сил, — а главная тайная деятельность его течёт рядом и тем успешней, чем она органичнее связана с открытой повседневной. В этом высшая простота: тайное дело делать в простой связи с открытым.

Так это понимая (у Парвуса невелик был опыт подполья — несколько месяцев 1905 года, после разгрома Совета рабочих депутатов и до ареста, потом после ухода из ссылки и до ухода за границу), а ещё более понимая, что естественно заниматься человеку именно тем, к чему его влечёт, в чём его призвание и дарование,— Парвус после отказа Ленина в мае 1915 предоставить своё подполье для Плана и берясь теперь за всё один, придумал, да даже не придумал, а как дыхание это к нему пришло: что он и его сотрудники будут заниматься в первую очередь и главным образом коммерцией — а революция будет к ней пристёгнута.

И тем же летом он создал в нейтральной Дании, сохранившей первую привилегию свободного западного государства свободно торговать,— Импортно-Экспортное бюро, которому и естественно было теперь начать торговлю с фирмами любого другого государства — Германии, России, Англии, Швеции или Нидерландов, брать где что выгодно, и продавать куда выгодно. Коммерческим директором этого предприятия Парвуса тотчас и стал, с согласия Ленина, Ганецкий. Сое-

Продолжение. Начало в №№ 1 — 9 за 1990 год.

динение двух таких огненных коммерсантов есть не удвоение коммерческой мощи, но умножение её. А затем к ним примкнул и третий, мало чем уступающий двум первым,— Георг Скларц (нельзя сказать, чтобы нанесла его судьба-случайность, но был он дружественно прислан на сотрудничество от разведки германского генерального штаба). Этот Скларц (после войны много прогремевший в Германии, даже и в судебных процессах, где ещё и артистом выдающимся выявил себя), оказался самый наинужный третий к ним двоим — тоже гений коммерции, находчивый, сообразительный, молча и быстро готовый к любому поручению и любому обороту дела, изо всякого выйти успешливым. (А за собою он вёл и ещё двух братьев Скларцев: Вольдемара, который стал работать непосредственно в их торгово-революционной конторе, и Генриха,— тот под псевдонимом Пундик уже вёл в Копенгагене с Романовичем и Догопольским тайное бюро, ловя для германского генштаба незаконный экспорт из Германии.) Задуманное соединение хозяйственной и политической деятельности быстро оправдывало себя: гешефт работал на политику, а политика создавала льготы для гешефта. Поддержкой германских военных властей деятельность парвусовской конторы облегчалась и делалась ещё более доходной.

Едва возникнув, Импортно-Экспортное бюро за несколько месяцев расцвело и покупало, продавало и перевозило, не ища себе скрупулёзной специализации,— медь, хром, никель, резину, из России в Германию особенно — зерно и продукты, из Германии в Россию особенно — технические приборы, химикалии, лекарства, а были в ассортименте и чулки, и противозачаточные средства, и сальварсан, икра и коньяк, и подержанные автомобили (в России удалось договориться, чтоб они не подлежали далее у покупщиков военной мобилизации). В западной торговле много и других подобных контор толкалось рядом локтями, но в торговле с Россией, на главном для себя направлении, контора Парвуса заняла монопольное положение. Часть товаров везлась открыто, по легальным экспортным лицензиям, другая — по фальшивым декларациям или даже контрабандой, это требовало изобретательности в упаковке и погрузке, кому-то приходилось попадаться и отвечать,— но во всём этом и вертелись Ганецкий со Скларцем, позволяя Парвусу покойно оставаться в излюбленной им тени и вести большую политику.

Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и по России, и назад. Но высшая гениальность была в отправке денег: кажется, неосуществимая задача — беспрепятственно и быстро переливать деньги германского правительства в русские революционные руки, осуществлялась торговой конторой с лёгкостью: она везла в Россию лишь *товары*, только товары, но — с избытком против закупленного в ней, а выручка сотрудничающих фирм, вроде Фабиан Клингслянд, по общепринятому порядку поступала в банк (Сибирский банк в Петербурге), а там дальше было внутреннее дело конторы — забирать её из России или нет, даже для России *выгоднее*, чтобы деньги оставались в ней. А в Петербурге адвокат большевик «Меч» Козловский и лица от Ганецкого в любое время любую сумму вынимали и передавали в революционные руки.

Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтобы вести войну, давал деньги выбить её из этой войны!

Тем же своим настойчивым методом соединения тайного и явного Парвус набирал и революционных сотрудников конторы. Для этого он создал в Копенгагене ещё одно подсобное учреждение — Институт по изучению последствий войны, и для набора сотрудников его открыто и много встречался, знакомился, беседовал с социалистами. И всякий раз, когда кандидат проявлял желание и способность нырнуть в глубину — он нырял и становился тайным. А если оказывался неспособным или неподатливым — ничто ему не разъяснялось, и разговор был натурален, и можно было оставить его легальным сотрудником легального Института: Институт тоже не был фикцией, он тоже отвечал прилегающей страсти Парвуса к теоретическим экономическим исследованиям, как и издаваемый в Германии, хорошо оплаченный «Колокол» удовлетворял его социалистическую страсть. (Очень рвался в этот Институт — Бухарин, и, действительно, не было для него лучшего места, а для такого института — лучшего сотрудника, но — прав был Ленин: Бухарин слишком прост, как уже показал в Швеции. И уж вовсе слаб Шляпников, чтобы работать в контакте с Ганецким.)

Всё это Парвус решил блистательно — ибо всё это было в его природной стихии. Куда трудней пришлось дальше: *кому же* передавать в России те деньги? и как вызвать революцию в огромной стране дюжиной торговых агентов да несколькими западными социалистами вроде Крузе? Легче всего было в Петербурге, много связей, тут и Козловский беcподозренно мог вести адвокатский приём и вербовать нужных из заводской среды, тут и действовала рьяная группа *межрайонцев*, к объединению меньшевиков и большевиков, как раз исконное направление Парвуса, и через их единомышленника Урицкого был в эту группу действенный вход. Несмотря на раскол социалистических сил в Петербурге, там у Парвуса сколотился хороший актив, вне большевиков и меньшевиков. Но хотя и верно замечено, что революции в государствах совершаются одними лишь столицами,— для надёжности первичного толчка такой обширной стране непременно нужны были волнения и в провинции. А собственные живые связи были у Парвуса только в Одессе, и из Одессы в Николаев. Всю эту немую косную необъятную Россию некем было поднимать: несколько агентов, даже денег не жалея, в несколько оставшихся месяцев не могли создать сети. А Ленин свою готовую — предательски скрыл.

Но отлично понимал Парвус, но помнил по Пятому году и: как волнения рождаются. Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, два-три молодца, поднявших кулаки или палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене не идти по цехам или выйти на улицу. А ещё оставались — осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов (такой слух как электрический разряд ударяет дальше без усилий), а ещё оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками,— для всех этих первых толчков на пятитысячный завод довольно и пяти человек, а таких пять человек всегда можно если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире: кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег?

И — отдельных заводских толчков было бы не достаточно в обстановке иной, но на втором году войны, уже проглотившей стольких, при внезапно подступившем голоде, при поражениях армии, при всеобщем брожении и после уже одной испытанной этим поколением революции — таких нескольких толчков достаточно, убеждён был Парвус, чтобы породить сползание лавины. Его стратегия была — лавина от нескольких снежков. Без помощи Ленина за оставшиеся месяцы он не мог успеть больше. Но и в самой дате — 9 января — уже таился рок для царизма: даже безо всяких агентов и без единого уплаченного рубля — этот день не мог пройти спокойно. Но хорошо было — подтолкнуть его.

И так, безраздельно очаровав графа Брокдорфа-Рантцау, едва не диктуя ему его копенгагенские донесения в министерство иностранных дел, Парвус уверенно обещал русскую революцию — на 9 января Шестнадцатого года.

Он — надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далёких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разруши-

тельной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно ему было ошибиться в порыве.

Но не было это простительно перед германским правительством, а особенно — перед статс-секретарём Готлибом фон-Яговым. И всегда — иронист, презиравший этого социалистического грязного миллионера, Ягов теперь заключил, что Парвус надувал германскую империю, никакой революции реально не готовил, а взятые миллионы скорее всего положил себе в карман. По правилам разведок за такие расходы не спрашивается бухгалтерский отчёт. Но далее в Шестнадцатом году из министерства иностранных дел Парвусу не заплатили более ни пфеннига.

Это — не было поражение полное, и даже внешне — совсем не поражение. Импортно-Экспортное бюро продолжало вращаться и обогащаться. На замену министерству иностранных дел сочувственно влился германский генштаб. Институт по изучению — что-то собирал и изучал. Парвус деятельно вмешался в снабжение Дании дешёвым углем, привлёк датские профсоюзы, сошёлся на равных с вождями датских, а затем и немецких социалистов. Он получил, наконец, немецкое гражданство, которого искал и просил с 1891 года,— и теперь при первых же послевоенных выборах несомненно выходил бы в лидеры социалистического парламентского крыла. Его «Колокол» продолжал выпускаться, зовя Германию к патриотическому социализму. Его собственное избыточное богатство росло, капиталы были вложены пакетами акций почти во всех нейтральных странах и уж конечно в исходных своих Турции и Болгарии. В аристократическом квартале Копенгагена его особняк был обставлен диковинностями нувориша, охранялся лютыми собаками, а на выезд ему подавался элегантный «адлер». И даже влияние на графа Брокдорфа ему удалось сохранить ненарушенным — этому постоянному собеседнику впечатать в сознание всю сложность революционной задачи и всю механику затруднений. И через Брокдорфа, сколько позволял такт,— мешать возобновившимся германским поискам сепаратного мира с Россией.

И казалось бы: вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет! — таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи — хотя в т у страну он никогда уже не собирался возвращаться — томило и тянуло его. И в долгих ужинах с прусским аристократом он варьировал и пояснял в применении к немецкому взгляду эту свою скорей уже не программу теперь, но — политическое завещание, но — зыбкий очерк будущего. Как революция, едва начавшись, должна набирать свой размах подобно Великой Французской — судебным преследованием и казнью царя: только такая первичня жертва открывает революции безграничность! Как должен быть рассвобождён крестьянам самовольный раздел помещий — и только этим откроется полный размах анархии. А когда анархия достигнет своего высшего взлёта и широчайшего разлития — именно в этот момент Германия военным вмешательством могла бы при самых ничтожных потерях и самых огромных выгодах навсегда освободиться от глыбной восточной опасности: потопить её флот, отобрать её вооружения, срыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность военную, а то и, лучше, всякую, ослабить её отсечением всего, что только можно отсечь,— и оставить её выкатанной гладкой доской, пусть забудет десять веков своих мерзостей и начинает свою историю снова!

Парвус никогда не забывал зла.

Но сегодня не видел, чтó мог бы сделать ещё.

А имперское правительство позорно искало сепаратного мира с этой неуничтоженной державой.

А здоровье статс-секретаря фон-Ягова всё подтачивалось, всё подтачивалось — и поздней осенью Шестнадцатого года он счастливо ушёл в отставку, уступая пост деятельному Циммерману, не перенявшему от

своего предшественника устарелого пренебрежения к тайным доверенным лицам и политическим маклерам.

И — взмыли новые планы действовать! И — естественно поднялся старый укор Ленину: что же он!! что же он??..

Кровать — ударила четырьмя ножками о сапожниковв пол,— и Парвуса выдавило, поставило на ноги-тумбы. И он, тяжело разминаясь, переступил, неся мешок своего изнеженного тела. Обошёл, сел по ту сторону стола, не брезгуя измазать белоснежные манжеты о нечистую клеёнку Ульяновых.

И усмехался — уже не как сильному, уже не как равному, но жалковатому норному зверьку:

— Н-ну?.. Так говорите: Циммервальд?.. Кинталь?.. И хорошо голосуют левые?.. А что же сделала великая партия за два года у себя на родине?.. Почему — ни пузыря на российской поверхности?

Ленин так и сидел на кровати, утанывая, и клонилась тяжёлая голова без ответа.

— Вы же говорили — денег вам не надо?

Ленин отвечал потерянно, еле слышно:

— Мы — так никогда не говорили, Израиль Лазаревич. Деньги — оч-чень нужны. Чертовски нужны.

— Да я же предлагал! А вы отказались!

Ленин — с пересыхающим усилием:

— Почему — отказались? От разумной нетребовательной помощи — мы никогда не отказываемся. И даже охотно...

— В детские игры вы тут играете, в Швейцарии,— хотела бы туша торжествовать, да торжества не было: Россия не проигрывала войны, Германия не выигрывала, их общий главный союзник сдавал.

Ленин еле выводил фразы из горла:

— А за крупные игры надо крупно платить и самим.

У него был — больной взгляд. Открыл глаза доступней обычного — глаза больные, и как будто чтоб от этой боли отвлечься, лишь для этого, но, по болезни, и без напора:

— Да ведь и ваша революция, Израиль Лазаревич,— тоже тю-тю, мыльный пузырь... Да и наивно было ждать другого.

Заколыхался возмущённый Парвус, и огонь фитиля, повторяя его дыхание, закачался, запрыгал, закоптил:

— Да сорок пять тысяч бастовало в Петербурге! А ну-ка, подняли б вы отсюда ещё своих сорок пять?!

Не давал Ленину возразить, что в тех сорока пяти — и е г о были.

— ...Путиловский у меня по сроку сбился — а молодчина, как забурлил! А вот Невская застава меня подвела — что ж вы её не подняли? В Николаеве — я прекрасную разыграл стачку — 10 тысяч! и с условиями — невыполнимыми, обеспечено было восстание! — так тоже на четыре дня опоздало. Отсюда не так легко там к одному дню стянуть. А Москва вообще не шелохнулась? Что же ваш московский комитет?!..

(Хотел бы Ленин сам это знать!)

А Парвус — разошёлся, хвастался, как богатством, на пальцах загибал:

— Екатерининский Металлургический — я поднял! И тульский Меднопрокатный! И тульский Патронный!..

Все эти стачки, действительно, прогрохнули в январе, не 9-го, но — кто их там поднял, кто их там вёл? Отсюда не видно, не доказать, и каждый себе приписывает, меньшевики тоже.

— Совсем немного оставалось — где же *ваши* были? Межрайонцы мне помогли беззаветно, огневые ребята, да кучка их. А вы с меньшевиками — всё мячики перекидываете? Может — листовками вашими, не моими, Россия завалена, а?.. А «Императрицу Марию» я взорвал,—

не заметили? — громыхал, глаза вычудились.— Броненосец на Чёрном море — не заметили??!

Руки белые холёные подкинул — вот этими руками броненосец взорвал!

— Почему ж не хотели вы соединиться, Владимир Ильич? Где же *ваши* стачки? Где же *ваши* восстания? На каких заводах вы можете обеспечить забастовку в назначенный день?.. С какими национальными организациями вы работаете?..

Неужели не понимает?.. Со всем его умом? Так это удача, хороша маскировка, значит и дальше так держаться.

Почему не соединились!.. Конечно, как-то можно было бы заманеврировать меньшевиков. И как-то можно было бы разделить руководство (хотя вот это, вот это, вот это больней и невозможней всего!). А...

А... ограничено уменье каждого. Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно.

И только одного он не мог — *сделать.* Только не мог он — взорвать броненосца.

— Но даже и сейчас не потеряно, Владимир Ильич! — утешал, подбодрял Парвус через стол. Он вынул часы золотые из жилетного кармана, кивнул им одобрительно.— Революцию — переносим на 9 января Семнадцатого года! Но только уж — вместе! Но в этот раз — вместе?

Ну почему — не вместе?? Не понимал проницательный Парвус.

А — не из чего было кроить разговор. А — не из чего было ответить. В позиции, скрываемо, почти ничтожной — в какой там союз можно было вступать или не вступать? Надо было только достойно утаить своё бессилие: что никакой действующей организации у него в России нет, никакого подполья — нет. Если что есть — оно там шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки. Что́ там есть — он просто не знает, у него нет бесперебойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ. Он рад бывает, если единственный Шляпников перекинет через границу пачку «Социал-Демократов». Была в Петербурге сестра Аня, кой-что делала потихоньку, переписывались с нею шифром, химическими чернилами, дальним передаточным крюком,— тоже оборвалось. Какие там ещё национальности поднимать? — тут бы партии своей сохранить хоть кусочек...

А Парвус, из скрипящего стула вывешиваясь в обе стороны, ещё великодушно:

— А как там ваши сотрудники русскую границу пересекают? Неужели — своими ногами да в лодочке? Да это же старьё, девятнадцатый век, это забывать надо! Пожалуйте, сделаем им хорошие документы, будут ездить первым классом, как мои...

Парвус, может, и уродлив, но, там, для женщин или на трибуну выйти. А глаза его бесцветные, водянистые — неотвратимо умны, уж это Ленин мог оценить.

Только бы — уйти от них. Только бы не догадался.

Что именно д е л а т ь — Ленин не мог. Всё остальное — умел. Но только не мог: приблизить *тот* момент и сделать его.

А Парвус со своими миллионами, вероятно оружием в портах, со своей конспирацией, уже надёжно угнездясь в каких-то заводах,— схлопывал белые пухлые руки, однако умеющие делать, и допытывался:

— Да чего же вы ждёте, Владимир Ильич? Почему сигнала не даёте? До каких же пор ждать?

А Ленин ждал — чтобы случилось что-нибудь. Чтобы какая-нибудь

попутная материальная волна перекинула бы его челночек — в уже сделанное.

Как на посмешку, все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить её в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть.

Челночёк лежал на песке как детская игрушка, а волны не было...

А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: так что же, Владимир Ильич? Участие в а ш и х — будет или нет? Ваши явочные адреса? Ваши приёмщики оружия?.. Ч т о у вас есть реально, скажите?

Ч т о е с т ь — Ленин как раз и не мог ответить, потому что: не было ничего. Швейцария была на одной планете, Россия на другой. У него было... Крохотная группа, называемая партией, и не все учтены, кто в неё входит, может и откололись. У него было... Что Делать, Шаг-Два-шага, Две Тактики. Эмпириокритицизм. Империализм. У него была — голова, чтобы в любой момент дать централизованной организации — решение, каждому революционеру — подробную инструкцию, массам — захватывающие лозунги. А больше не было ничего и сегодня, как полтора года назад. И потому — из военной предусмотрительности и из простой гордости — не мог он обнажить своё слабое место Парвусу и сегодня, как полтора года назад.

А Парвус — нависал через стол, с насмешливо-рыбьими глазами, со лбом, не меньше накатистым, чем у Ленина, и ждал, и требовал ответа.

Он так хорошо перехватил инициативу: спрашивать, спрашивать, тогда не надо объяснять самому. Но у него тоже были причины — почему он молчал полтора года, а именно теперь обратился?

Избегая нависшего недоуменного взгляда из-под вскинутых безволосых бровей, Ленин катал и катал шар головы по письму, ища, как благовиднее отказать в помощи, а не потерять союзника, как скрыть свою тайну и угадать тайну его. Обходя, что было в письме, и ища, чего в письме не было.

Встречную слабость, как всякую трещинку, выхватывал Ленин прежде всего.

Не было: почему обращается Парвус снова так настойчиво? Значит — сил не хватило? А может — и денег? Ослабела агентура? А может, немецкое правительство не так уж и платит? Ох, тяжела эта служба, когда увязла лапа...

Как хорошо быть независимым! Э-э, мы ещё не так слабы, мы не последние по слабости.

Правая рука с карандашом привычно шла по письму, размечая для ответа — чертами прямыми, волнистыми, хвостиками, вопросительными, восклицательными... А левая быстро-быстро потирала лбину, и лбина набирала аргументы.

Упрекал Троцкий своего бывшего наставника в легкомыслии, нестойкости, и что покидает друзей в беде,— это всё сентиментальная чушь. Это всё недостатки простительные и не мешали бы союзу. Если бы не делал Парвус грубых ошибок политических. Нельзя было так бросаться на мираж революции, открывая себя публично. Нельзя было делать из «Колокола» — клоаку немецкого шовинизма. Вывалялся бегемотина в гинденбурговской грязи—и погибла репутация! И—погиб для социализма навсегда.

А — жаль. А — какой был социалист!

(Погиб — но ссориться, всё-таки, не надо. Ещё — ой-ой, как может Парвус помочь.)

От самой бумаги, от обреза стола Ленин осмелело поднял голову — посмотреть на своего неутомимого соперника. Контуры головы его, и без того бесформенной, рыхлых плеч — расплывались и колебались.

Колебались — как качались от горя. Что даже с Лениным не умел он объясниться начистоту.

И, потеряв черты лица, уже больше как облако синеватое — печально оттягивался, клонился, переходил, перетекал в окно.

Но пока ещё было не совсем поздно, Ленин выкрикнул вдогонку, без торжества, но для истины:

— Дать связать себя в политике? Ни за что! Вот в чём вы ошиблись, Израиль Лазаревич! Взять от других нужное? — да! Но *себе* связать руки? — нет!!! Союз с кем-нибудь нелепо понимать так, чтобы связали руки *нам*!

Утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Скларца, ни баула. И шляпа опоздавшая сорвалась со стола — и швырнулась вослед.

Оказался Ленин дальновиднее! Пусть он не делал никакой революции, пусть он был беспомощен и безрук, но знал он свою правоту, не сбивался: идеи долговечнее всяких миллионов, без миллионов можно и перетерпеть. Ничего, ничего, и эти конференции с дамами и с дезертирами — они тоже все оправдаются. С алым знаменем Интернационала можно и ещё 30 лет переждать.

Сохранял он главное сокровище — честь социалиста.

Нет, рано сдаваться! И рано бросать Швейцарию. Ещё несколько месяцев настойчивой работы — и можно будет швейцарскую партию расколоть.

А тогда вскоре — начать здесь революцию!

И отсюда зажжётся — всеевропейская.

ДОКУМЕНТЫ — 2

Его Величеству

Царское Село, 25 окт.

(по-английски)

Мой родной ангел, снова мы расстаёмся!.. Видеть тебя в домашней обстановке после шестимесячного отсутствия — спасибо за эту тихую радость!..

Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания, тревоги, заботы. И опять эта история с Польшей. Но Бог всё делает к лучшему, а потому я х о ч у верить, что и это будет к лучшему. Их войска не захотят сражаться против нас, начнутся бунты, революция, что угодно, — это моё личное мнение, спрошу нашего Друга, что Он думает.

Мне не нравится, что Николаша едет в Ставку. Как бы он не натворил бед со своими приверженцами! Не позволяй ему заезжать куда бы то ни было, пусть он прямо возвращается на Кавказ, иначе революционная партия опять станет его чествовать. Его уже стали понемногу забывать.

У меня очень тяжело на сердце. Но душой я постоянно с тобою и горячо люблю тебя.

Навеки, милый, светик мой твоя старая

Жёнушка

Ея Величеству

Могилёв, 26 окт.

(по-английски)

Моя бесценная, любимая душка!

От всего моего старого любящего сердца благодарю тебя за твоё дорогое письмо. Нам обоим так взгрустнулось, когда поезд тронулся. Помолившись с Бэби, я немного поиграл в домино. Легли рано...

Убежала кошка Алексея и спряталась под большой кучей досок. Мы надели пальто и пошли искать её. Матрос сразу нашел её при помощи электрического фонаря, но много времени отняло заставить эту дрянь выйти, она не слушалась Бэби.

Ах, сокровище моё, любовь моя! Как я тоскую по тебе! Такое это было подлинное счастье — эти шесть дней дома!

Храни Господь тебя и девочек.

Навеки, Солнышко моё, твой весь, старый

Ники

51

Та дивная лёгкость, с какой Воротынцев проплавал эти девять петербургских дней,— на обратном поездном пути всё более оставляла его. К Москве погасла его победность, и он всё больше накачивался табачным дымом.

И на московскую платформу ступил как бы отерплыми ногами. С большим беспокойством. Со смутной грозной тяжестью.

Отчего уж такая тяжесть? Случиться дурное — ничто бы не должно, значит это беспокойство не было предчувствие дурного. И ко дню рождения Алины он тоже ведь не опоздал — как раз в канун, вечером. Правда, уже поздним.

А вот ещё, оказывается, какая тягота открылась и надвигалась — притворяться. Улыбкой, глазами, словами изображать так, будто ничего в Петербурге не произошло, простая естественная задержка.

Москва была худо освещена, экономили фонарный свет, местами совсем темновато, только яркими колесницами прокатывали трамваи, да иные витрины щедро лучились.

Казалось — и на улицах разлита какая-то тревога.

Извозчик быстро гнал, как всегда с офицером. И не замедлять же его.

З н а т ь она всё же никак не могла. Ну, задержался, ну, таковы военные дела. Можно объяснить, разрядить. Но ко дню рождения — успел.

Ноги, такие лёгкие на Песочной набережной, на Аптекарском острове, теперь гирями вытягивали по лестнице, к себе на третий этаж.

Алина вышла к нему в переднюю, как встав от сильной головной боли. Или вообще больная.

— Что с тобой? — встревожился Георгий, ещё с порога, в шинели, не обняв, только привзяв за лёгкие локотки. Её болезни и боли всегда отдавались ему как свои, колко.

Она повела бровями над бледным лицом:

— Тебе, по-моему, это лучше меня известно?

И смотрела проницательно. Такая мертвенность, такая окончательность, перейденность за все возможные рубежи была в ней, что...

Он поспешил пригнуться к ней и поцеловать. В бровь и попал. В ухо ещё.

Нет, знать она ниоткуда не могла, и догадаться не по чему,— но ударило ощущение, что она в с ё з н а е т, хоть уже и не скрывай. Однако нельзя было отдаваться этому чувству ни в слове, ни во взгляде.

— Ты — больна? — с беспокойством спрашивал он, это всё вместе. Никогда ему не было перед ней так неловко, виновато и заодно так жаль её.

Она закинула голову, долго молча посмотрела на него как на потерянного, сощурив глаза. Сказала:

— Из-за тебя.

И, не дожидаясь, пока он шашку снимет, разденется,—ушла.

— Так ведь я же приехал, успел! — оправдательно крикнул Георгий вослед.— Я же — успел!

Не отвечала.

Он быстро разделся, шинель кое-как на колок — и быстро пошёл за ней вослед.

В большой красивой коробке из-под шоколада (она собирала красивые коробки, потом находила им применение) Алина, стоя у комода, перебирала, искала какую-то мелочь, полуспиной к нему. К нему — беззащитным изгибом шеи под свежезавитыми кудрящимися волосами. И обиженным плечом.

Георгию было так весело и пьяно эти дни — как же ни разу ему не передалось, что ей — так плохо? И, правда, почему ж не мог он хоть

раз собраться прилично ей написать? — ведь она же просила писать каждый день и ждала так.

Не пожалел её ни разу. Вот этой беззащитной шейки.

Всё же предполагая не худшее, взяв за плечи её не сильно, чтоб она не вывернулась плечами, он повторял сзади:

— Ну, Алиночка, не сердись. Не огорчайся. Прости.

Она полуобернулась, посмотрела со скорбью, ответила раздельно:

— Ты — опозорил меня!

Георгий вздрогнул, так это отчётливо пришлось: знала!!

Медленно отвернула голову. Опять стояла затылком.

Знала!?? Да — откуда??

Но плеч не вырывала.

Раз не вырывала — всё-таки, значит, нет!

Но ничего другого такого страшного быть не могло.

Он стоял и смотрел на её затылок, на тонкое вырезанное ухо, у неё красивые были уши.

Иногда возникало так, неожиданно для него: по невнимательности, по неуклюжести, по торопливости он делал ей больно, оказывался виноват, сам того не заметив. И не было лучшего способа перейти от расстроенного существования к беспрепятственному, как попросить прощения. А сегодня он был виноват — не на одно прощение. Просить прощения — это был обряд между ними, всегда успешный. Или уж привести сильный отвлекающий довод, к сильным доводам Алина была прислушлива.

Но для того хоть положение надо понять. Бормотал:

— Ну, Алиночка, я же приехал вовремя.

— Вовремя?? — обожглась она, покинула коробку, резко повернулась к нему: — Это называется вовремя? После трёх телеграмм! Четырёх писем! — ещё, наверно, и не дошли.

Глаза Алины загорелись — и лицо сразу посвежело, стало не вялым, не больным, — удивительно быстро у неё лицо менялось! Ну, хоть здорова! Опоздал, только-то?

Держал её за плечи, перед собой, уверенней.

Десять дней вместо четырёх, да. Но — головотяпы в Главном Штабе, отделились от Действующей армии и как будто дела им нет. (Мало, где ж — неделя?) И в министерстве... Сперва обещали, тянули. (Ещё мало.) Да и Свечин задержал: дал телеграмму, что едет в Петроград, и был смысл его дождаться. Выяснить, есть ли возможности со Ставкой. (Может, Ставка её хоть чуть порадует? Нисколько. И это ещё она не сообразила, что из-за Ставки придётся сейчас и уехать раньше.)

Георгий говорил горячо и старался честно, прямо смотреть ей в глаза, не увиливать. Это — первый раз ему так досталось, невыносимо. И чувствовал, что краснеет, заметно покраснел. Ну, всё! Догадалась...

Уголки глаз её сжались — усмешкой? подозрением?

— Я тебе телеграфировала приехать — как?

— Не позже как за день.

— А — ты?

— Я — за день и приехал.

— Это называется — *за день*? Вечером накануне — это за день?

Она — раненая была, она остро страдала, бедняжка, но — о-о-о! — с Георгия снималось шеломящее первое впечатление, что она всё узнала. Если обида только в задержке перед днём рождения — это мы как-нибудь выправим. День рожденья — это мы перестоим.

— Я так понял: «за день» — значит не в тот день... Прости! — Он поднял её невесомые тонкие кисти, приложился к одной, и к другой.

Да, день рождения — высший, светлый день (именины не так, она не любила свою святую), но в их годовом кругу и ещё с полдюжины высших, светлых, ритуально-священных, целый частокол. И он же не пропустил!

Она горько усмехнулась:

— Приехал!.. Спасибо! Когда уже гости отменены.

Нет, всё оказывалось не так страшно.

— Ну, не поздно — с утра позвать их опять?..

Она смотрела горестно-осветлёнными глазами, с истаивающим беззащитным слоем — взглядом, испытующим самую душу его:

— Не поздно? Ты думаешь?.. А письмами — ты не мог подкрепить свою Жемчужинку? Почему — письма были такие короткие, небрежные?

Да! Простое благоразумие: написал бы — и всем бы легче. В этом он несомненно был виноват. Но тем расположенней и просил прощения.

Однако: просил — не слишком руками, не притягивая больше и не целуя: от того, что она *не знает*,—теперь качнуло его: что ведь подкатывает ко сну, что неизбежно сейчас — ложиться. А — дико вдруг, противочувственно, противоестественно показалось.

А — час поздний, он оч-чень устал, он вида этого себе ещё добавил.

Но — не оказалось и нужно. Алина гордо подняла голову — не больную, не измученную, и глаза в глаза сказала, как отпечатала:

— День рожденья — ты мне испортил. И — какой!

Отвернулась, вынув бока из его ослабевших касаний, прошла щёлкающими шажками по паркету, ушла в спальню и слышно повернула дверной приготовленный ключ.

Всё опять омрачилось, испорченное, запутанное, — на завтра.

Но — и облегчилось: о, как привольно, как свободно спать одному! и совсем не надо притворяться! И как выспаться можно здорово.

Хотел бы поужинать — полезть в буфет? на кухню пойти? — нет, безопасней лечь скорей да свет потушить тоже, чтоб не переигрывать разговора.

Последнюю папиросу — в темноте.

Отчасти этот день рождения и очень кстати подкатил. Позорно было так отвечать Гучкову, но может быть обидней было бы ему услышать, что не о солдатах русских он думает. Да как можно было и ждать, что он думает о чём-нибудь, кроме блистательной победы? И куда ж бы Гучков его завёл?

Да разве к этому Георгий шёл? Неужели?

Очень легко ошибиться в тех, с кем думаешь будто заодно.

Такой же откол и с Шингарёвым...

Да даже ещё и не вчера у Кюба, а только в обратном поезде окончательно понял Воротынцев эту ловушку: и Государь беспредельно предан союзникам за счёт русской крови, и кадетская оппозиция, и заговорщики, — тем же союзникам, той же ценой.

Помнилось — совпало, и тут же разошлось.

Он не нашёл, куда себя применить.

А тут теперь ещё: как же с Алиной дальше?..

И до чего противно лгать лицом, руками. И — подло к ней.

Выдержать это долго будет невозможно. Надо улизнуть да съездить в Ставку.

Её страдания за эту неделю не подлежали такому простому прощению. Не просто памятный день, не просто праздник, но — символ, что мы вместе.

После того вечера у Мумы, когда Георгий, почти ничего и не сказав, не сделав, неожиданно так всем понравился, и Сусанна и другие заказывали видеть его на обратном пути ещё, Алина и придумала: широко собрать гостей на свой день рождения и уж тут он им нарасскажется вдоволь. И уже объявлено было всем.

Но когда он замолчал, оборвал, растоптал — да разве бы она ждала пассивно эту неделю? Да в её характере — ринуться, броситься и прояснить! На второй день его опозданья она уже взяла билет в Петроград — и настигла бы его там, и он не так бы извинялся! Но вдруг —

занемогла, озноб, насморк, голова, лежала без аппетита, и уходили последние дни уверенности. И осталось, из гордости, отменить гостей самой, придумать, что они решили отметить день уединённо, не в Москве. И теперь возобновлять не то, что было поздно, а — невозможно.

За войну бесконечно огрубел Жорж и одичал. Это ещё и в прошлом году открылось, когда она ездила к нему в Буковину. Там тоже день рожденья — да какой? круглый, тридцатый! — уныло прошёл. Забыл муж, как это было у них лелеемо, излюблено, все семейные годовщины: день объяснения, день первого поцелуя, день обручения, день свадьбы. Он отупел, а её женская долгая задача — смягчать его и возвращать в человеческое состояние.

Была интересная лекция одного музыковеда, он объяснял: в том и верен психологической правде Пушкин, что Герман у него ничего не ощущает, кроме карт, Лиза для него — только ключ в дом. А братья Чайковские добавили любовь к Лизе, и это совсем неправдоподобно, и так развалился ясный сюжет.

Может быть, Жорж и есть — пушкинский Герман, только карты у него — топографические?

Можно и так, конечно, принять, что ничего особенного не произошло. Он непростительно задерживался, но всё-таки вернулся, всё-таки накануне.

Да разве Алина хотела ссор, объяснений? Она любила гармонию в семейных отношениях, любила стройность созданного ею порядка, быта, внешней жизни. Но для этого надо уверенно чувствовать, постоянно знать, что ты — ценима.

52

Именно утреннее солнце попадало к ним в два окна из-за Москва-реки. Последние дни были пасмурные, холодные, да и вся эта осень ненастна, — а вот в алинин день рождения с утра выглянуло солнышко. Добрый признак! Символ! Надо снимать с сердца тяжесть. Всё бы плохое закончилось вчера, а сегодня быть бы одному хорошему, Алина не хотела быть злопамятной.

Вышла из спальни — одетая по шею, в высоком воротничке.

И Георгий уже был подбрит, одет по форме, при портупее, и сидел ждал в гостиной. Когда хочет нравиться — он очень мил бывает, откуда-то и галантность появляется. Встал — и навстречу шёл, улыбаясь добро. И нёс — подарок.

Поцеловал, обнял нежно.

Подарок — невесть какой, не что-нибудь задолго готовленное, а сейчас в Петербурге купленный — растяжной фигурный золотой браслетик. В милом футлярчике.

Сам и на руку ей надел.

От ссор, от обид,— продолженья хорошего не бывает. Обижаться и не хотелось, хотелось света на сердце. Какой есть, какой умеет быть, — что ж на него обижаться.

Скоро звала его завтракать китайским колокольчиком.

Тихо, уютненько завтракали. Вот светило солнышко — Алина уже и рада, как птичка. Твой единственный, особенный день. Надо сегодня быть весёлой и счастливой.

— Но, Жорж, ведь я всем объявила, что мы с тобой сегодня в отъезде. Теперь никак нельзя оставаться, надо уехать.

Подвинул бровями. Не очень хотел.

— Уж теперь соберём гостей в другой день.

По лбу у него пробежала хмурь.

— Медведь! Тебе бы только за письменным столом сидеть. Сам виноват, что опоздал. Да и погода! Поедем за город!

— А — куда?

Стали перебирать. Хотела бы Алина так, чтобы там гостиница была или пансион, можно было бы и переночевать.

— А может — в С *? Вот находка! На озеро, в С *!

— Ну, какое там озеро? Пруд.

— Ты его раньше озером называл!

Согласились.

Но как ни живенько подхватились, собрались, а из дому выходили — солнце уже замутнилось. И дальше натягивало, натягивало серого опять.

Однако наперекор погоде, наперекор потере гостей и весёлого вечера — решила Алина не дуться, не обижаться, чтобы было всё равно хорошо! Должен он и жену почувствовать когда-то, ведь на войне опять зачерствеет.

Но ехали в дачном поезде — задул резковатый ветер, стал протягивать тучки быстро-быстро — серые, тёмные, дождевые.

Чтобы отвлечься, предложила Алина такую игру: вспоминать все именины их обоих, все годовщины венчанья, Рождества и Новые года: в каком месте, при каких обстоятельствах, с кем праздновались.

Вспоминали, но больше Алина. Жорж как-то пассивно. И, заметила она, ещё раньше с утра и сейчас, что время от времени он тяжело-тяжело вздыхал.

— Ты почему так вздыхаешь?

Он удивился:

— Разве? Я не заметил.

— Очень тяжело. Ты так — после Восточной Пруссии, сколько в Москве тогда побыл, — вот так всё вздыхал.

Удивился, покрутил головой.

Пожалела его. Лечила его рукой к руке:

— Неприятностей много? Неудачно съездил?

Хмурился:

— Д-да, в общем... да... Неудачно.

Задумывала Алина — покататься по озеру на лодке. Куда там! — и лодки все на берегу, перевёрнуты, без вёсел, и мрак такой на небе, на воду не захочешь.

А так хотелось необычайного чего-то!

Только с пансионом повезло: не закрыт, свободен и кормят. Номеров было много, выбрали на втором этаже хороший угловой, одно окно на еловый лес, а из другого и озеро видно. И тепло в номере. И горничная из коридора снова затопила голландскую печь, дрова здесь вольные, не как в городе. Остаёмся ночевать, браво! Уютненько будет!

А устроились, согрелись — гулять?

Пошли гулять.

Надумала Алина собрать букет из осенних листьев, из разных осенних красивостей. Но красных листьев нигде не нашлось. Да и чисто жёлтых, почти. Всё какое-то бурьё, старьё, да хвойные ветки с шишечками.

Красота не складывалась.

Да и нельзя ничего весело делать, если не оба полной душой. Если ты порываешься, как дитя, а твой спутник — как строгая скучная бонна — не хочет подпрыгнуть, на дерево залезть, и тебе не даёт. Простила его — не ценит, не осветилось, какая-то тягость.

И — вздыхает. Откуда эта привычка вернулась? Уж ради сегодняшнего дня мог бы и сдержаться.

А погода всё портилась: ветер крепчал, натягивал туч — густо, серо, сплошно. Алина озябла и в меховом воротнике, задрожала. Вот тут муж обнял её крепко. И они возвратились в пансион.

Так может быть — здесь рояль есть? Я бы тебе играла, играла!

Оказалось: есть пианино. Но — совсем расстроенное, резало уши. Так обидно стало Алине, она вспыхнула и резко выговорила хозяйке:

— Но как вы можете держать инструмент в таком состоянии? Зачем тогда и держать? Тоже мне пансион!

Судьбу расстроенного пианино она чувствовала как на себе, как судьбу пренебрежённого живого существа. Так же вот и она оказывалась сегодня...

Исключительный день, задуманный во что бы то ни стало весёлым, — разваливался.

Да разве ты одна — можешь его создать? Это нужно вместе, дружненько. Но Жорж был мрачен и мрачен. Сам же всё испортил, сам перевернул, его простили — и вот как?

Налетали вихревые дожди — не обильные, короткие, но — в переменных направлениях, как виделось по множеству быстрых косых капель, всё более явных, потому что переходили в крупу или в снежинки. И когда такой дождеснег, ещё подвеваемый толчками ветра, сек и насыпал, то, казалось, ненастье не рассеется теперь и неделю.

Оставалось обедать. Спустились в залец. Выбор был небольшой, но заказанное за час — приготовили. Принесли портвейна.

Жорж стал произносить тост, для неё. Вот тут недоставало сверкающего стола, человек бы десяти, как она уже приглашала. Но даже и оставшись вдвоём, но даже и в этом полутёмном зальце — можно было сказать и возвышенней, и сердечней. Но даже для неё одной, едва ли не на ухо — почему так затруднённо говорил, так неумело, как никогда, — слова как обваливались, фразы разваливались, он просто совсем разучился. Размазал — не сказал ясно ни об их любви, ни — о будущем, ни — чего же, собственно, он ей сегодня желает.

Вместо радости — защемило сердце.

И обед оказался — какая-то кислятина, совсем не именинный. Рисовый гарнир — липкий, чем-то бурым полит, — а вместе с тем и сухой.

— Где это мы читали? — спросила Алина. — Что в Китае подозреваемому преступнику дают есть сухой рис? И так как от волнения он лишается слюны, то есть не может — и тем считается доказанной его виновность?

Этот несъедобный, вязкий, бурый гарнир, так и оставленный холмиком на тарелке, вдруг разбух перед её глазами как символ развороченного, погубленного именинного дня, и даже чего-то большего. И теперь если в какой-нибудь год вспоминать именинные дни — так и будут всегда вставать эти вихри чёрные за окном и этот бурый гарнир.

Слёзы наполнили глаза Алины. Но она удержалась.

А муж — как будто и не заметил. Курил.

За окнами крутило крупой, навевало волнами. Стало так темно, что к сладкому внесли лампы.

И — в их комнате уже стояла зажжённая. А ведь ещё не ночь — ещё весь длинный-длинный вечер впереди!

Маленькая квадратная комнатка: две кровати, две тумбочки, шкаф, комод да туалетный столик. Тоска какая! А в городе бы сейчас!.. Вернуться?.. Ну, в такую бурю и тьму.

Если бы был инструмент! целый бы вечер тебе играла, играла!

Да, да! — это он горячо поддержал, это он всегда любит. Свою сухость смягчать музыкой.

Ну, ч-чем заняться?!

Ах, торопились, не догадались: взять с собой калёных орешков. Она бы легла, он бы рядом сел и колол: ядрышко тебе, ядрышко мне, а если плохое, то не в очередь.

Да дома — многое можно придумать, и у каждого есть свои занятия, а здесь — вместе и безо всего — что придумать?

Нашёл Георгий гвоздь — повесил шашку посредине стены, не в шкафу. Холил потерянно, в окно уставлялся лбом.

Села Алина перед зеркалом. Для именинницы — уныло выглядела она.

— Ну вот, по твоей милости такой у нас день рождения. И в насмешку хуже не устроить.

Стоял, упершись лбом в тёмное стекло.

Плакать захотелось. Стягивала силы, чтоб не расплакаться.

Сел на кровать, руки сложа. Молчал. Опять вздыхал.

— Ну ты-то! — взорвалась Алина, — ты-то почему такой мрачный? И что ты всё время вздыхаешь, будто похоронил кого-то?

Через зеркало увидела тёмное выражение его глаз — и вдруг почему-то страшно испугалась, вскочила от зеркала, закричала как не своя:

— Что-о? Что??

А он — не удивился её крику, — и это было ещё страшней. Отвернул взгляд, рукой упёрся в кроватную спинку, и так сидел с повешенной головой.

И — шашка, одна посреди нагой стены, висела над ними, как будто чем угрожала.

Алина поколебалась: может быть не надо спрашивать ни о чём, искать объяснения? Но и с этими похоронными вздохами, в этой законопаченной комнатушке — как же тут выжить до утра?

— Жорж! Что случилось? — со страхом и не настойчиво спрашивала Алина. — Почему ты не смотришь на меня? Смотри!

Он — посмотрел. Как будто всё в нём болело, и губы не складывались в речь. И голос глухой-глухой, с переломами:

— Я... ты знаешь... я... ну, как тебе сказать...

Незапомненно давно у Георгия не выдавалось такого бесталанного дня. Каждое движение, каждое слово — с усилием. Как бы ему хотелось — завтра же и прочь, на поезд, в Могилёв! — нет, он должен был теперь заглаживать своё опоздание, испорченный праздник. И — ещё теперь жить в Москве. И о Ставке не посмел заикнуться.

Это первый раз в жизни досталось ему с женой — изображать, чего не чувствуешь. Всему как параличному — праздновать. Языком выговаривать, чего не было ни в груди, ни в голове.

Да один бы день — можно, но — **всегда** теперь?..

Невыволакиваемо.

Но было и совестно, и — жаль Алину. Он — искренне хотел быть сегодня добрым и внимательным. Но — мёртвый весь.

Жаль было её, а особенно остро стало жаль, когда она чуть не расплакалась над этим бурым рисом, не шедшим в горло, — неужели она не была достойна лучшего дня рождения?

Видел, что всё сползает и губится, — и ничего не мог исправить. Не было сил исправить свой вид, свой тон. (Мёртвый-то мёртвый — а в самой глубокой точке груди, уже не во всю грудь, — держал, сохранял Ольду, она тут в нём вилась.)

Хоть бы отсюда в Москву вырваться вечером! — так нет, дождёмся славной погодочки.

Заперты в квадратной комнатушке, обречены быть вдвоём, вдвоём.

Такой мёртвый, что именно притворяться — труднее всего. Да и как же теперь — всю жизнь прятаться? Ведь от Ольды он ни за что не откажется — и, значит, всю жизнь вот так?

Да — спину бы разогнуть! Насколько бы благородней — сказать сразу, самому, и никогда больше не таиться!

Проскочила в голове эта вагонная история: как тамбовская Зинаида заставляла своего инженера с первого же раза — всё сказать жене! И как, ещё в вагоне, когда к Георгию ни с какой стороны не относилось, ему показалось правильно.

Что значит «принято»! В таких положениях извечно принято непременно лгать. А — почему? А насколько душе просторней: сказать

правду — и распрямиться. Человек человеку — неужели не может сказать правду?

Так подошёл он всем чувством — но не решился бы. Если б уехали в город — обошлось бы. А когда их заперла тут непогода ещё прежде вечера, да Алина сама наступила с вопросами, а он представил, как неизбежно им сейчас вместе лечь...

Непроговариваемо языком это было, слов не найдёшь, — а ещё выступило: а *ей*-то все это — за что?.. Уже она-то была не виновата — а разбивалось об неё.

А — сказал.

Никакого нового выражения как будто не появилось в глазах Алины — ни «дальше, дальше!», ни «молчи, не хочу!». Только больше раскрылись — и принимали. Живые умные серые глаза, привычные к пониманию.

Полнообъёмно и он смотрел на жену (косым зрением ещё видел и свою шашку на стене).

Она не вскрикнула. Не исказилась. Даже не сморщила лба.

Улыбка! Улыбка недоумения растянула ей губы:

— То есть ты... ? То есть она тебя... ?

Что Алина не вскочила, не вскричала, не взбуйствовала — так пронзило Георгия, так расположило к ней, куда и девалось отчуждение этих суток! Он пересел к ней рядом, на её кровать, и разглаживал край волос на виске:

— Но это не значит, что я тебя разлюбил... Это — совсем не значит.

Боже, неужели так тихо обойдётся? Неужели так просто можно объясняться с разумными женщинами?

Алина мягко склонилась, склонилась — и головой на подушку.

Его рука и туда доставала. Он гладил ей плечо. Свежезавитые волосы. Новая, новая нежность к жене заливала его. Благодарность, что она может понять. Что за женщина! В каких высоких отношениях можно быть!

Нежное примирение как бы застигло их тут — и осенило.

Она заплакала. Но — тихо, покорно. Без взрыда, без упрёков.

— И неужели именно Петербург? — вдруг по-детски, тоненько пожаловалась Алина, первые её слова. — Город, где мы так хорошо с тобой жили? С которым столько связано?

В смягчающей тишине такое наступило облегчение сразу, такое облегчение — вседушевное, всетелесное, будто именно вот этой женщины, лежащей тут, он десять лет добивался, добивался, и наконец... Как опять любил её! Этой мёртвости его вчерашней, сегодняшней — как не бывало.

— Тебе — очень хорошо было с ней? — спросила Алина даже не шёпотом, а дыханием.

— Очень, — честно, просто ответил Георгий.

— Т а к — или вообще?

— Да и... вообще. Ярко.

Алина долго молча лежала, закрыв глаза. Пересев ещё ближе, он нежно гладил ей висок, задевая резное ушко, гладкую молодую кожу щеки.

Она — тонкая родилась. Тонкая.

Так тихо было у них, что через двойные стёкла слышались все завеванья там, снаружи, шорох крупы, ударяемой в окна.

— А что — вообще? — прошептала Алина, не открывая глаз. — Она играет на рояле?

— Нет, — смирно, тихо отвечал Георгий. — Но очень интересно толкует музыку, разбирается тонко. Вообще умная, широко образованная. — И незачем было больше, но его несло говорить об Ольде: — Сложная. Духовно-напряжённая. Не склоняется перед господствующими

мнениями. У неё такие глубокие, самостоятельные взгляды на историю, на общество...

Этими открытыми похвалами он и себя защищал, оправдывал. Алина любит умных людей, а Ольда так блистательна! — не восхититься ею не может даже и женщина. Как легко, как ласково можно было бы жить на земле, если б люди немного больше понимали, принимали, уступали взаимно.

— Кто ж она? — так же тихо, ласково спросила Алина, уже открыв глаза, но не ища его взгляда.

Вот не думал Георгий. Не ожидал, что при начале же разговора будет прямо спрошено — к т о? Не ожидал, но и от Алины ж он не ожидал такого смирения, такого честного желания понять. А уж если начал — рано или поздно всё равно назвать, почему не сейчас? Даже музыка была в том: назвать это имя вслух.

Но почему-то не выговаривалось. Что-то остановило.

Алина с подушки — глубоким, отплакавшим, спокойным взглядом изучала его.

Он опустил глаза.

Кажется, отвела взгляд. Щекой на подушке беззвучно лежала.

И сам додумывая, и вслух:

— Алочка! Я и мысли такой не имею, чтобы с тобой... расстаться... Я не... Но и... Мне по сути...

Он задумчиво гладил завиток на её затылке.

Она опять подняла голову. Никакого следа слёз! — она ничуть не плакала сегодня! Гордое лицо её горело. Глаза были напряжены, полусмежены:

— Скажи, а Вера — знает?

Он удержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем неожиданный вопрос. Веренька знает, понимает, конечно, хотя об этом прямо ничего не говорено. Знает! — но! укол в сердце: вот э т о г о Алине говорить нельзя! Ах, не успел насладиться правдивостью — и вот уже надо отрекаться и лгать, да быстро, да правдоподобно под допытчивым взглядом:

— Нет, что ты! — уверенно, твёрдо. — Конечно нет!

Да раз прямо не говорено — так и не знает, верно. *Не такую* правду сказал — уж в этой-то маленькой можно поверить?

Поверила?

Даже вспотел. Вот попал. Вот так и поживи по правде.

Медленно села. Сухо, строго:

— Что ж. Лучше — это. Лучше это, чем чёрствость, как я приписывала тебе.

Раздельно:

— Я — за тебя — рада.

А тишина была во всём пансионе — глубинная. Оттопились все печи, не стукали кочерги, чугунно отзвонили закрываемые заслонки. Не шаркали по коридору.

Тем яснее слышалось, как струйка воды ударяет по жестяному заоконнику. Значит, и таяло тут же.

И опять, сухо:

— Выйди, пока я лягу.

Он удивился.

Со взглядом женщины знающей и много старше него, она объяснила совсем не гневно, даже дружески:

— Я была с тобой, как с собой. Больше — уж так не будет.

53

Она чувствовала себя совсем ребёнком: навалилось горе вдруг такое большое и беспощадное, что детских рук не хватает — поднять его, из-под него выбраться. Она так хотела хорошего! — славненькой, свет-

ленькой, ровной, уютной жизни, — а горе свалилось и всё передавило.

И особенно — эта сторона, о которой хотелось бы никогда ни с кем даже не говорить, — стыдно, низменно и не нужно, — и вот так безжалостно оно вламывалось теперь. Не давая оставаться в высшей сфере жизни.

Слёзы лились мягко и много.

А — как надо было? А — что надо было? Этого нигде не узнать. И никому не сознаешься, что не знаешь.

Но она была низвержена. Она перестала быть Несравненной! Она перестала быть Единственной!

Лились слёзы по ушедшей милой жизни, которая уже теперь никак не могла восстановиться прежняя. Даже утреннего сегодняшнего — такого сдержанного, скромного кусочка счастья — уже нельзя вернуть.

С чего день начался — и чем кончился! Да уже вчера было всё разгромлено, но Алина не догадалась. Она так старалась сегодня с утра стать весёленькой, простить его, уже разбитую чашку стянуть ниточками — и пить из неё праздничный напиток. Всю жизнь она хлопотала, устраивала любовь — и сегодня так же. Как крылышками рвалась она к озеру, в лес...

Но откуда это в нём нашлось? Ведь у него так атрофированы чувства, разве в нём есть способность Большой любви?

Слёзы лились — и снаружи плакало небо. Безутешно плакало, хлестало по окнам.

Она перестала быть — Жемчужинкой! Она перестала быть — Полевой Росиночкой!

И это неизбежно увидят и поймут другие, разве это можно скрыть?! На его измене откроется всем, что она — уже не «лучшая из лучших жён».

Он даже не понимает — чтó он разрушил! Как он ещё пожалеет! Как он не найдёт замены прежнему!

Вера — уже конечно знает, Жорж солгал! Вера, конечно, видела что-нибудь или отлично догадалась, этого нельзя не заметить.

И поползёт по Петербургу, перекинется в Москву, дойдёт и до мамы собственной, до борисоглебских, — эт-того нельзя перенести! Оказаться *брошенной*??? Да разве это унижение можно пережить?

И что же там — огонь? пламя? Тогда ему и препятствовать невозможно. Тогда препятствовать — у неё нет сил.

Тогда самой остаётся только — уйти?

Из жизни уйти?..

О, как тогда нестерпимо, щемяще станет ему! Это можно представить со справедливым чувством! Вот когда он раскается, пожалеет!

Он — не ценил то, что у него было!

Зачем сказал? Если лёгкая, переходящая измена — за-чем сказал?! Говорится же: Святая Ложь! Надо было промолчать, пережить молча.

Нет, хорошо, что сказал: это и значит, что впервые. Другие мужья легко и просто изменяют, а он — никогда, за столько лет — никогда.

Всё-таки, Жемчужинка — не рядовая!

Но если — уже ничего нельзя спасти? Если он — потерян навсегда?

Через полкомнаты он лежал на своей кровати, не шевелясь, ни разу тяжко не вздохнув, как эти сутки. (По *ней* вздыхал? Или перед объяснением?) Но не мог же он спать! После такого — не мог же он спать?!

Стал таким чужим — и таким вдруг близким, как никогда ещё не был. Ближайшего часа, вот этой ночи она не могла пережить без него, она умерла бы!

Лежал так близко, а не выказывал никакого движения — перелечь к ней, погладить ей лобик, спросить — чем помочь.

Ранил насмерть — и не шёл помочь.

Лежал так близко — а уже не свой. Совсем рядом — а позвать было нельзя.

Она вздрагивала крупными вздрогами.

Никогда подобно не растерзывало её. Эта смесь недоступности и близости, оттолкнутости и притяжения, утерянности и еще полной возможности вернуть! — эта смесь в темноте как будто начинала светиться багрово, проступала калёным излучением через комнату — жгла грудь и выжгла всякие мысли другие, а только вытягивало — стон! Сто-о-о-он!!!

...Как хорошо он придумал: сразу и открыться. Сразу и впредь заслужил себе право на открытость. Эту мертвенность, скорузившую его на возврате в Москву, — как сдуло. С полным облегчением, даже в радостном состоянии, Георгий вытянулся в кровати, заснул.

И проснулся — нескоро. Нет, ещё во сне услышал этот громкий стон, протяжный, на всю комнату, — и сразу, во сне, узнал: это Ольда кричала, это ольдин крик исступления радости, так отдающий гордостью в грудь ему!

Проснулся — от раздирающего стона, в коридор его должно было быть слышно. И, ещё не видя в слабой комнатной серости, различил, что это — кричащий стон Алины, никогда такой не слышанный стон её! Этот стон вытягивала не радость приобретения — а были они равнозвучны!

Окликнул — стонала всё так же, не снижая, не отзываясь. Приподнялся, ещё окликнул, испуганней, — Алину всё протягивал стон!

Георгий сбросил ноги. Перешёл к ней. Наклонился. Спрашивал.

Из окон слабый был свет, а вот что: дождь утих, за облаками сказывалась луна — и можно было различить, как Алина лежит на спине и сотрясается.

Лекарства? Выпить что-нибудь? Схватило сердце от страха, от жалости — бедняжечка! что я сделал с тобой?!

Низко наклонясь, спрашивал — и в отчаянном стоне, в мучительных всхлипах расслышал шёпот:

— Приди ко мне!.. Приди!..

Он не сразу поверил, что так понял. Ведь он — осквернён?

Но — да, так просила она, с ищущей мукой голоса.

Он лёг к ней. Лицо у неё было обильно мокро, а вся она — как из огня выхваченная. Он не помнил её такой, за все годы не помнил.

Скоро она умолкла.

И бережно обнятая им — заснула.

54

В бережности и нежности друг ко другу они и начали следующий день. Как будто не плохое, а что-то очень хорошее произошло между ними вчера, и они были застигнуты теперь нежным согласием. Кажется, и всегда они жили хорошо, но в этом медленном протяжном дне перешлась какая-то новая ступень близости, даже простоты, — небывалая.

Как-то сразу стало ясно, что они сегодня не возвращаются в Москву, останутся здесь ещё. Алина двигалась так плавно, смотрела так рассеянно, что кажется само перемещение поездом или лошадьми могло бы расколоть её.

Дождя больше не было. Проглядывала и голубизна. Потом затягивало. Опять немного солнца.

Долго гуляли, медленно, осторожно — будто чтоб Алину ни на каком корне не тряхнуло. Гуляли поздне-осенним лесом. Дуб ещё доранивал свои последние истемневшие листы, а настланное под ногами было и буро, и коричнево, и ещё желто.

Всякой женщины лицо быстро-переменчиво, и алинино тоже быва-

ло всегда, — но такого полного преображения Георгий не видывал, не верил глазам. Алина взмолодилась, похорошела, понежнела, и возвышенным светом засветились её серые глаза — выше, чем грустные: омягчённые.

Она стала просто неотразимой.

Он сказал ей это.

Восхищаясь неожиданно возникшим этим свечением, Георгий лелеял Алину, нежно водил её, укутывал, чтоб не продуло. Ни взрыва, ни ссоры, ни упрёков, даже взглядами! — вот женщина! Какова же, значит, сила её любви, не оцененная им прежде! Именно эту неожиданную возвышенную Алину не только было сочувственно жаль, но благодарность испытывал он к ней, какое-то новое влюбление, давно отхлынувшую, а вот затопляющую нежность, — и естественно было теперь найти для неё много времени, которого он раньше не находил, — и водить её медленным шагом, и холить, и греть.

Раз для него она способна на такое.

Весь мир замер. Никаких событий в мире не было, и ничто никуда не могло звать полковника Воротынцева, а только одно простиралось по поднебесной: чтоб это всё благополучно обошлось. Ни в чём не уступив Ольду, он должен был поддерживать Алину сейчас.

Улыбка тонкая, какою земные существа кажется не владеют. Глаза нежно отречённые на лице, враз похудевшем, враз помолодевшем, освобождённом от власти суетных забот.

Георгий просто не верил, что́ видел. Покорность? Неужели возможно?.. Кажется, и всегда Георгий был нежен к Алине, но не так, как сегодня! Красива она и все годы сохранялась, но никогда — такой духовной красотой.

— Ты стала неотразимой! — повторил.

Он — говорил что-нибудь иногда, а она — почти не отвечала. Вот так светилась — и улыбалась мечтательно. Она весь день не искала и не поддерживала разговоров. Он — начинал, покидал.

Долго гуляли. Долго обедали. А там уж и день к концу, невелик.

Она попросила, чтобы вечером он читал ей вслух. Что-нибудь из книг её любимых. Пошёл к хозяйке, достал «Джен Эйр». Алина обрадовалась. И вечером, часа три подряд, она лежала, а он сидел на кровати рядом и читал.

Тут речь шла о чувствах самых возвышенных. Это — женщина с благородными чувствами написала для женщин с благородными чувствами ещё об одной такой же женщине, когда хочется оценить высоту чувств другого и самой проявить благородство, — и хотя Георгию было порядочно странно сидеть вот так и вслух читать сентиментальную историю, — но он и понимал, что, несмотря на несходство их сюжетов, это всё получилось к месту, и — надо читать, и — надо поддерживать эти чувства благородства и жертвы.

Но — раз, другой, и к концу заметил, что сама-то Алина нич-чего не слышала.

А была довольна. Что он сидел и читал ей.

И в темноте, обок с ним, не спала долго. Вдруг сказала, самое длинное за весь день:

— Знаешь... Людей, с ранней юности, больше всего должны были бы учить не чистописанию. Не арифметике. Не рукоделию. Не закону Божьему. А — любви...

— Как это — учить любви?..

— Вот — как-то. Если это не заложено в нас от рождения — надо учить.

Думал — заснула. Нет. Обняла его за шею:

— Если б с моей первой ночи ты был другой — я бы тоже чувствовала иначе. Всегда.

Занедоумел уже засыпавший Георгий: при чём тут первая ночь? десять лет назад?

— Я сама поняла только сегодня.

Ту первую ночь — усилия нужны были вспомнить. Но Алина, с новой степенью дружественности между ними, как отстранясь, напоминала ему всё, ту комнату, как падал сумеречный последний свет, как он вышел, она без него разделась, лежала испуганная, а он...

М-м-может быть, может быть... Не убедила, но тронула живой болью воспоминания, тронул поиск её — делиться с ним доверчиво. Удивительнее всего: никогда между ними не названное, и было бы прежде странно, а сейчас — очень просто. Эта крайняя откровенность разговора необычайно степлила их: будто до сих пор вся их совместная жизнь была притворство, а вот — впервые всё по-настоящему, как быть бы с первой минуты.

Но уж завтра-то надо было ехать, пересидели! Для Воротынцева это был — 17-й день, как из полка! Всю службу он так служил, что один день просрочки был ему заёжист, перед самим собой. А теперь ещё ему — в Ставку! И — сколько ж это навернётся, как успеть?

Но Алина — ни о каком отъезде не думала. Даже не понимала, о чём это. Всё то же завороженное, блаженно-отречённое выражение было на её лице, и такая же она была хрупкая, что нельзя торопить, растрясывать — разобьёшь.

Вот так так. И откладывать отъезд не хотелось — и невозможно жену не пожалеть. Совсем не легко далась ей новость... Да ведь и правда: ронять, швырять, растрачивать дни он начал в Петрограде. Главное-то время он прожёг с Ольдой. Сползать — только начни. Теперь и Алину надо поберечь.

Опять долго завтракали. С той же размеренностью пошли гулять. Ночь была морозная, и пруд у закраин даже чуть схватило ледком. Держалось холодно, ветрено, а солнечно.

Алина улыбалась погоде. Была в её улыбке — жалостливость и была — несамостоятельность. Как будто внушённая, чужая улыбка.

Касалась его нежно и что-нибудь показывала: вмёрзший листик, позднюю птичку.

Сердце Георгия стеснилось: ведь это всё — наделал он.

Предполагал настаивать к обеду уехать — и сил не нашёл. Она хотела остаться — но и имела же право.

Какая-то благодетельная душевная работа происходила в ней.

Днём разогрелось, славная осень. Гуляли — всё так же почти молча. Он начинал то и это — она редко отвечала. Жмурилась на солнце Но благодушно. И не спорила, куда идти или вернуться в пансион, шла в его руке, как плыла по течению.

И в этом их молчании и в этой её смирённости Георгий всё больше утверждался, что никогда не покинет её.

Всё требовало движений, решений, — а Воротынцев должен был бездействовать в этом дурацком пансионе. Не мог остаться ещё на одну встречу с Гучковым, заливался краской, спешил к семейному обряду, — и чтоб заточиться здесь?

Но — не Алина начала. Начал — он. И надо быть ответственным.

Затяжка дней и откладка отъезда — похожи, как с Ольдой в Петербурге, только в чувствах других.

Так и протёк ещё один полный день — их странного, вывороченного, воротившегося медового месяца.

К вечеру не подмораживало, а опять натягивало туч.

Всё время молчали — свобода бы думать. Но даже об Ольде, внутри-внутри него ещё певшей благодарностью и счастьем, — не оставалось простора думать. Не думалось свободно.

Как же, правда, будет с Ольдой?

За обедом Алина рассеянно улыбалась. Но что-то, нет, это не была возвышенная примирённость, как казалось ему вчера. Очень острые углы губ.

А вечером опять настаивала слушать гимназическую «Джен Эйр». И хотя понимал Георгий, что слушать она опять не будет — но не избежать ему читать вслух.

Он читал — и сам уже не понимал. Беспокойство теряемого времени разрывало его. И беспокойство за Алину. С тревогой и страхом посматривал он за странной, блаженной её улыбкой.

И чувствовал, как прикован к этой женщине.

Что ж он наделал?..

ЛАДИЛ МУЖИК В ЛАДОГУ, А ПОПАЛ В ТИХВИН

55

А наверно, сколько уж теперь ни встречай людей, даже самых замечательных, но друг твоей юности несравним, второго такого близкого нельзя себе создать. Уже то одно, что: кому пересказывать будешь все подробности прошлого? А твой друг знает их и даже делил, и при внезапном толчке воспоминания — у обоих сразу брови вздрагивают, и смех — взалив, в сотрясенье. (Раньше так...) Или: ка́к нас в училище? —

Выш-ше головку! Нож-жку твёрже!
Здесь вам не́-ун-н-нниверситет!

Впрочем, от училища меньше всего воспоминаний, и на какое, правда, идиотство время ушло? Грубые портупей-юнкеры. Тренировка в отдаче чести вместо того, чтоб над учебниками больше посидеть. Укладка платья перед сном — высота не больше 5 дюймов, ширина — 8, а то ночью разбудят перекладывать. Зубрёжка уставов, не нужных к войне. (А самому нужному боевому — никто не учил, да там ещё не знали.)

А вот идея! Помнишь, в Румянцевской мы сидели (в большом зале, в углу, где шкаф с энциклопедиями), проглядывали Владимира Соловьёва — теократическое государство как реальная форма Царства Божьего? И так, в общем, и не добились: разве Царство Божие — это некий идеал вполне земного устройства, к которому допустимо искать реальные общественные пути? Разве это — не в преображённом мире, с другими законами плоти или бесплотия, и к человеческой истории никакого отношения уже, собственно, не имеет? Так вот представь, мне сейчас наш бригадный священник дал прочесть статью Евгения Трубецкого, мы её пропустили в своё время... (Это — ещё не сказано, непременно скажется при встрече.)

И даже всё военное за последние полтора года, что пережито порознь, кому ж ещё так расскажется и вложится, как другу юности. Пережили порознь, а поймётся одинаково. Сколько разных дорог исколешено, в разные стереотрубы смотрено, а взгляд — единый. Кончится война, будем живы — не может быть, чтоб мы не вместе что-то... Но мы и сейчас, до всякого конца войны умеем встречаться! Через столик, врытый в землю под сосной, а то на иглах, раскинувши плащ на двоих и оба ничком, а глазами сойдясь, — ну кто ещё на свете так понимает друг друга! Несколько часов проговорить — а какое душевное омовение. Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. (*Бы* любимую, нет её ни у тебя, ни у меня...)

Ещё в артиллерийском училище, сидя рядом на уроке топографии, узнав систему обозначения всех карт в единых мировых координатах, они придумали такую замечательную штуку: как можно одной латинской буквой и шестью цифрами указать единственный на материке вер-

стовой квадрат. А если ещё и седьмую цифру добавить, то — одна девятая квадрата, сто семьдесят саженей на сто семьдесят, уж так точно, никакого труда найти. Друг друга найти! — в том и затея: эти цифры умело и невинно расположить в письме между текстом, и никакая военная цензура не догадается, что я зашифровал тебе малый квадрат, где стоит моя батарея, а уж названье частей и открыто пишется, известно. (Да и квадрат открыто укажи — так тоже не заметят. Просто предосторожность.) Конечно, если один будет под Вильной, а другой на Карпатах, то хитрость ничему не поможет. Ну, а если мы окажемся рядом, вёрст за 20, за 30, и будем друг о друге знать, — так сможем когда-то и съездить?!

И действительно. Хотя кончили они отделение тяжёлой артиллерии, но таких вакансий не было (артиллерии такой почти не было), и разбросали их по дивизиям. Сперва — далеко, а потом Костю приблизили, подтянули, и в этом мае, после тёплого короткого весеннего дождика, когда солнце уже выглянуло, и паром, и запахами земля отдавала дождик воздуху назад, — в белорусской деревеньке, обременённой постоем многих военных, спросил Саня подпоручика Гулая — у одного офицера, у другого, а пока искал, уже Коте передали, и он ускоренно-гонко шёл по улице, первый завидев друга,— и бегом кинулись оба подпоручика и обнялись, хохоча: вот какие хитрые! вот ведь как придумали!

А в августе Котя приезжал сюда, к Дряговцу, прямо к этому месту.

И сегодня ему совсем не надо сверяться с картой: уже и землянку точно знал. У сосенки невдали остановил своего коня, соскочил, поводья перекинул вестовому, сам зашагал ходовито, — а Саня с другой стороны совсем. Во-как! — неожиданный праздник на несколько часов.

Обнялись. Жёсткое объятие. Да и посильнел же Котя, поперёк рёбер хватает, я-те дам. (Наверно — и Саня, за собой не замечаешь.) Губы как мускульные стали. Ещё колче малые подстриженные усики.

Обнялись, но — уже ни следа подхватистой хохотливой горячности. Ну-ка, ну-ка... Чем ты ещё переменился? Щёки ввалились, ещё посуровел? — нет, даже кажется купол головы изменился, форма висков. Что с тобой? Это — за два месяца всего?

Нет, друг, всего — за два дня.

Как будто голова кверху скошена острей. И глаза подрагивающими веками сжимаются-разжимаются, как для выстрела.

— Да что такое?..

— Рас-ска-жу...

Держа за плечи: переночуешь? С тем и ехал. Хорош-шо!

— С конями распорядишься, вестового устроишь?

— Ну, ещё бы. Цыж! Сковородку картошки! И — *неприкосновенного,* ладно?

Саню одолевает суета принять гостя. А пока ходил распоряжаться, — в землянке, от внутреннего толчка, сменил свою гимнастёрку с георгиевским крестом на простую, пустую. Что-то подсказало в настроеньи. Котя — смелый, Котя — воинственней Сани, ну не попался ему такой случай. И хотя вы оба знаете, что не от подвига зависит, а — кому как повезёт, хорошо ли составлена наградная бумага, и на тот ли стол она ляжет, и в тот ли момент, и могут *с мечами* дать, кто и боя не нюхал, и могут совсем обойти, а всё равно: чтоб не налетело помешной тенью. Сане и гордо в новинку, как мальчику, а вдуматься: бессмысленно. И несправедливо, что у друга — только анненский красный темляк на шашке да Станислав.

А дело уже к вечеру. Саня предложил до ужина, пока светло, пройтись, прошлый раз не успели, уговаривались на этот раз — посмотреть, как у гренадеров поставлены противоаэропланные орудия: свои плотники сколотили поворотный помост на осевом болте, перекосили лафет, а под хобот вырыли круговую канаву. Странно, но стало им теперь это

всё интересно, как раньше — философские сладкие книги, все эти стереотрубы и буссоли вошли в их жизнь и в разговоры.

Котя не возразил, пошёл. А как будто машинально. Запахнулись против ветра, ещё под тучками разорванными, красными и фиолетовыми с западных краёв, — растягивает, будет холодать. Уже и сейчас земля стыла, подмерзала в неровную колоть.

Прошлый раз Котя сам говорил: уж воевать — так воевать, надо всё и знать. Рассказывал, какие у них, в 35-м корпусе, тумбы Гвоздёва из железнодорожных шпал и один правильный справляется крутить: самолёты отпугивали, хотя прямых попаданий не бывало. И Саня сегодня, как извиняясь за гренадеров:

— Конечно, теперь, рассказывают, есть противоаэропланная батарея на бронированных автомобилях. Вот — такую бы, а у нас пока кустарщина.

Котя молчал.

Саня ещё жаловался: у немцев авиация с артиллерией согласована, корректировщики огонь переносят, привязные шары, фотографическая съёмка, а у нас аэропланы портятся, шаров не дают, связи не хватает. А какую разведку и совершат, нам не дают результатов сразу.

Шли позади Дряговца, спотыкаясь о колоть, Котя очнулся, остановился:

— Да что мы — дети? дурачки? Дело — к зиме. Если можно в тепле сидеть — какой солдат по холоду прётся?

Пошли назад. Где-то, собираясь на ужин, солдаты допевали вечернюю молитву.

И не ходили — а устали. И не говорилось. Не тот был Котя, не такой. Правда, в тепло скорей.

Раздевайся. Чернеги сегодня не будет, койка свободная. А Устимович придёт — он нам не помеха.

Для тех разговоров, какие в письмах не помещаются. Для которых и сквозной ночи мало.

Но теперь досмотрелся — Коти не узнать. Не рассеянность, не машинальность, а какое-то постороннее зрение. И растерянность, раньше никак не было в нём. И хотя радоваться тут нечему — а Сане как будто поблизился друг в этом своём новом печальном настроении.

Ещё то, что Котя стрижётся под машинку, никакой причёски носить не хочет, придаёт ему полусолдатский, особо-отчаянный грубый вид.

Уставился с поднятыми бровями:

— Чего стоим?

Сели.

— Что вы тут о нашем бое слышали, Скроботовском?

— Ах, так это у вас гудело? И опять у Скроботова, где летом? Мы — ничего толком...

— Ну, конечно, — горько усмехнулся Котя твёрдой губой, до половины бритой. — У нас, если бой неудачен — то надо его замять и от начальства скрыть, и от соседей. Но стрельбу-то вы слышали?

— Да гудело, сильно справа. Когда же, подожди, позавчера?..

— И поза-позавчера. Я — еле жив остался, брат, вот что. Не знаю, как остался.

Теперь Саня окончательно и разглядел: о т т у д а вернулся Константин. И так уже прочно т а м побывал, что и радости нет вернуться. Настроение, когда перегорело сердце. Ногу за ногу заложил, верхнее колено обнял сплетенными ладонями, и мимо друга, мимо стола, в пол куда-то, опущенно смотрел.

На этом скроботовском участке, прошлый раз Котя и рассказывал, в июле наши затевали наступление всего Западного фронта, тремя корпусами. Пытались рвать немецкое расположение у деревни Скроботово. И ведь как было: уже взяли две линии немецких окопов, вдруг необъяснимое приказание отойти. А когда немцы укрепились — послали

снова их брать, но уже кукиш. А справа 46-я дивизия вместо демонстрации глубоко прошла, и окопалась, так никто её не поддержал, пришлось ей отступить. И так — под Скроботовым прорвать-не прорвали, ничего не взяли, но заняли лощину и по ней подобрались к немецкой позиции вплотную, и там залегли. Ну, так вплотную, как только возможно, как в приказах требуют сближаться, но нигде не сближаются. И начальству — жаль бросить, велели в свои хорошие траншеи не возвращаться, окапываться в 30 шагах от противника. А место мокрое, не накопаешься, так натащили ночью бруствер из трупов, их было в изобилии, и присыпали землёй, вот и позиция, — и месяц сидели в зловонии и с трупными мухами, уже принюхались, землянки наполовину вкопаны, наполовину обложены мешками с землёй. Место гиблое, по десятку-по два покойников вытаскивала 81-я дивизия каждую ночь. Но особенно гиблое — у правого окопа, где сел батальон подполковника Купрюхина: окоп — под самой горкой, занятой немцами, несколько десятков шагов — вообще никакого прикрытия, и ещё немцы сверху спускают на них нечистоты. Просил командир полка покинуть этот окоп, ведь немцы в атаку могут просто соскочить сверху, — командир корпуса генерал Парчевский ответил: «русский принцип — ни шагу назад!». Купрюхин — маленький, лысый, невзрачный, — а дельный. Так и остался там сидеть, укреплял, что мог. С артиллерийского наблюдательного, с горки Лапина, видно было, как, уже в окопе не находя спасения, там накапывали себе пехотинцы лисьи норы в откосах лощины и туда засовывались по пояс и больше, а ноги хоть изрешети. И кого убивало, так и оставались в готовых полугробах, за ноги их вытаскивали. А то и нет.

А всё это *сближение* было — глупее глупого. Потому что: если не собираешься наступать, то не надо и подбираться. Только облегчаешь контратаку. Так и вышло. При такой близости теряли немало и немцы, хотя они в окопах и реже сидят, счёт на людей у них другой. Теряли — и терпенья у них не хватило. И решили они сбить нас и добыть себе рубеж попокойней.

Самое обидное и даже ужасное в нынешнем бою то, что мы были п р е д у п р е ж д е н ы! Ночью на нашу сторону перешёл немецкий солдат, интересно: не поляк и не эльзасец, а чистый немец! — спасался? устал? И предупредил, что утром будет атака. А она даже не утром началась, а в полдень, — и всё равно, это ничем нам не помогло. С полуночи до полудня мы не нашли, как перестроиться, как подготовиться — и те же были потери, и то же отступление, как если б не узнали загодя.

Да и что и как исправлять, если наши пороки — это воздух наш, это мы сами? Немцы воюют с тяжёлой артиллерией, а русские — с Богом. Если исключительно для удобства написания приказов разграничение дивизий ведут по урочищам и стыки не укрепляют никакими резервами, так что по урочищу гуляй к нам в тыл хоть батальонной колонной? Если наши сапёры строят узлы обороны не в тайных местах, а на горках, чтоб отбиваться легче, — так их под склонами обходи безопасно, и всё? Если третий год войны — а мы не можем стальных касок солдатам на головы надеть, сколько из-за этого лишних убитых? Если противогазных масок Зелинского присылают в обрез, точно по штатному составу, и кто потерял, убыл, остался лежать, — заменяющему маски нет. Если у нас набивают окопы гуще двух винтовок на сажень, так что самим стрелять неудобно? Набивают — будто нарочно, чтоб немецкие снаряды не впустую падали.

Да может Скроботовский бой и не стоит разбора вне 35-го корпуса, он, во всяком случае, не событие для Западного фронта, а тем более — для всей Европейской войны. Но для того, кто там полз, по крови и по мясу, и уже не надеялся выползти, — тому Скроботовский бой разделил всю жизнь чертой: д о этого боя и п о с л е.

Немцы стянули и повернули артиллерию с нескольких участков и

ещё, оказывается, готовили газовую атаку во фланг, с Колдычевского озера. Но ветер взялся устойчиво за русских, и газовую баллонную атаку пришлось им отменить.

Саня и так уже слушал со страданием, даже покачивался. А ещё и газы! — сдавливал голову руками. Всё-таки в удушающих газах есть что-то демоническое, дьявольское, не земная борьба. Если уж газами травим — то мы уже не люди. Да и вид нелюдской, особенно ночью, при вспышках: белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, зелёные хоботы.

А разве немецкие огнемёты — людской: передний — с огневою кишкой, а задний согнулся под резервуаром?

Но у немцев и неудача с ветром была предусмотрена. Они тогда начали наступление совсем необычно: химическими снарядами обстреливать наши тылы, где мы никак не ожидали, и особенно много погибло лошадей. (Не было в землянке Чернеги!) И оттуда, из нашего тыла, ветром тянуло газ на наше расположение. И по нашей батарее били химическими два часа подряд, газ не уходит, все в масках задыхаются, команд не слышно, штабс-капитан Клементьев сорвал свою маску, командовал громко, отравился. А по нашим передним позициям стали густо бить шрапнелью, осколочными, фугасными. Батальон Купрюхина расстреляли сверху, и спрыгнули в их окоп. За несколько часов, чередуя с обстрелом, провели *семь* атак, два батальона с огнемётами, — и забрали всю горку Лапина, и «рощу с ручкой», и «Австро-Венгерский окоп», как у нас называется. И это всё пришлось на Солигаличский полк. А в контратаку послали Окский.

А наша артиллерийская бригада не рассчитала: вначале била сильно, а потом хватились, что снарядов мало, из-за отравленья лошадей подвоз упал, — и Окскому полку поддержка огнём была слабая, экономили. Оттого полк до конца дня только отдельными ротами подымался на перебежки, а не сделал ничего. Да и какие у нас меры вести в атаку? Это от солдат зависит — пойдут? не пойдут? до последнего момента не знаешь. Дружно бросаются, когда наверняка. А то за командиром роты — десяток нижних чинов, не больше. Да и какая атака от части, уже измотанной сиденьем и пораженьем? Так и день прошёл.

Ночью соседняя 55-я дивизия взяла скроботовский господский двор. А на другое утро полковник Русаковский сам повёл Окский полк, получил пулю в живот, насмерть, но Австро-Венгерский окоп отобрали.

Отобрали — и набили его людьми. И там их — н а с! — целый день молотили снарядами. И больше некуда было поставить наблюдательный пункт, как туда же, в Австро-Венгерский. И послан был подпоручик Гулай. Поставить действительно было некуда, если хотеть просматривать неприятеля, но при временном кабеле, всё время перебитом, все часы он был перебит, сращивать не успевали, а в земле постоянного нет, — от наблюдателя польза козломолочная: сносились записками, бегунок пробивался по ходу сообщения, прерванному, обмелевшему, и носил на батарею записки. Вот такая стрельба. А сидеть в окопе пришлось — на полное вымолачивание. А потом — потом немцы пошли в атаку.

Изогнулся угол сомкнутых котиных губ: хорошо — успел Котя взять винтовку убитого. А здоровый немец — спрыгнул рядом. Но Константин заколол его первый. Колоть? — совсем было не трудно, как в масло. А вот вытащить, вытащить! — думал, не вытащу. Ведь колено штыка — оно не пускает, и чем глубже ты загнал, по неуменью, — и ты с заколотым, он ещё глаз не закрыл, — как что-то одно, не отделаться от него. И в окопе ж не развернуться. А штык нужен скорей! — вот ещё другой наскочит.

Саня со страхом смотрел на ожесточевшее лицо друга. (Не мне бы так убить!..) К крови привыкли, но — это... Ведь ты — первый раз?.. (А он отвлекал его пустяками...)

— Да, друг, — медленно кивал Котя новым куполом стриженой головы. — Кто раз вернулся из рукопашной...

А вылезали из окопа — на карачках, по раненым и мёртвым. Вот это последнее и заполнило котину память: как через трупы и раненых — на карачках по окопу. А некоторые, кажется, и не раненые ложатся: пусть приходит, кто хочет, только бы в атаку больше не идти. А на повороте окопа, на дне, не проходит пулемёт, и там его разбирают на части, а кто сзади ползут — ждут. А потом в один ход сообщения с двух сторон окопа лезут и друг друга отталкивают. А кто живой остался в окопе — не выиграл: залили их из огнемётов, и под чёрным дымом сгорали они там, и удушливый газ тянуло по всей местности.

— Страшно??..

— Ты знаешь, отчаянье, когда уже всё равно, убьют тебя или нет. Уже как бы принял смерть и ничего не страшно. И ничего не хочется.

На том бой и кончился: к вечеру отдали Австро-Венгерский окоп и укрепляли новую линию — от Левого Газового окопа и до господского двора. И может ещё какой другой смысл имел этот бой для наблюдателей соседних, а для поручика Гулая вот только этот: как просидели пол-дня жертвами, ничего не сделав, и лишь чудом спаслись немногие. А недочлись за два дня — тысяча двести пятьдесят три человека. Это — по 81-й дивизии только. Генерала Парчевского самого бы туда посадить. И — всех, кто это Скроботово устроил!

Так и разделилась европейская всемирная война: до этого полудня и после этого полудня. После — начиналось только сейчас. Ещё не вполне очнувшись, Котя и приехал к Сане.

И какое ж первое утешение на войне, и то одним лишь офицерам, из лавочки бригадного собрания или от врача во фляжке (солдатам всю войну не выдают ни глотка): выпьем? Выпьем, пока есть. И картошка уже не шкварчит, стынет. Упрощение всех мировых вопросов — полстакана жидкости, так похожей на воду. И утешает.

Саня и своё мог рассказать, здесь тоже были события. 18 октября был *поиск* Московского Гренадерского. Затеяли поиск из-за того, что у немцев целый полк ушёл в Румынию, стало обидно: нас за людей не считают? И просто днём пробили снарядами несколько проходов в проволочных заграждениях — и днём же пошли. И тоже неудача: во-первых проходы не чисто проделали, пришлось пехоте проволоку дорезать. Во-вторых, немецкие пулемёты не смолкли, видимо — сидели в блиндированных постройках. Кое-где ворвались в немецкие окопы, а несколько рот московцев залегли в болоте под самой проволокой — и уже дали им приказ отходить поодиночке, а подняться нельзя, огонь даже сильней, и так до темноты. Вот такой и поиск: взяли одного раненого немца и один пулемёт. А гренадеров — убито 18, ранено 203, из них 147 оставались лежать ещё на сутки, до следующей темноты, потом выносили их.

Из двух боёв ещё и не скажешь, какой нелепей. Но не состязались рассказы, потому что Саня не был на участке Московского в тот день и не лежал в болоте, а Котя вернулся с того света, не увидеться б им больше никогда. Да Саня и не порывался рассказывать о гренадерских новостях: с Котей-то он и ждал от них отвлечься. А уж нет, так нет, — послушать Котю, чтобы было ему помягче.

И Константин — выговаривался. После сидения в Австро-Венгерском окопе возникло в нём какое-то резкое знание — и о ближнем, и о дальнем, и о войне, и обо всём мире, чего не было в нём раньше. Раньше он, наоборот, не любил говорить об общем ходе дел, называл это политикой, а только — о своей бригаде, о своём полку, ближнее. Новое резкое знание не добавляло ему радости, горечь одну, но вот он как будто стал *знать*.

Что генералы и Ставка нашего горя не делят — и нет им дела ни до чего. А какие есть толковые — что ж они там думают и смотрят? Что офицеры многие ловчат, и геройство стало очень расчётливое: как

бы Георгия получить без лишнего риску. (Как хорошо, что гимнастёрку сменил.) А шестинедельные прапоры — вообще не офицеры. И вся армия уже не та, которую мы с тобой ещё застали в прошлом году.

Новое особенное движение появилось у него: резкий косой отмах ладонью, всё время правой, как если б он шашкой коротко отрубливал, отрубливал всё ненужное, неправильное, неуместное.

Косо было махнуто, но Саня не мог так легко принять. Побережней, чтоб не перечить, не обидеть, а всё-таки, он поражён был, что Котя как будто не главным уязвлён:

— Костенька... Как бы это сказать... В каком-то смысле — терпеть поражение легче, чем побеждать... То есть: страшно умирать в мясорубке беспомощной жертвой... и — жить хочется! Да когда ещё и не жил совсем, как мы! Но когда сам цел, а других убиваешь — ведь страшней?.. Всё равно жить не хочется... А?

Саня смотрел на друга с надеждой. Эта мысль была страдательная, запутанная, никто её в армии не понимает, но друг библиотечных юных сидений — должен был понять?

А Котя, с обострившейся, ожесточившейся силой выражения, посмотрел — очумело, как с трудом проталкиваясь через свою ли ещё контуженность скроботовским боем или санино явное завирание. И с досадой:

— А-а, — отмахнулся ладонью косо, — до-сто-евщина!

И — опять в эту позу: нога за ногу, колено обнял сплетенными ладонями, и мимо Сани, мимо стола — в пол, безнадёжно угрюмо:

— Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? Прекрасно бы мы сейчас уже кончили Московский университет, теперь бы и в училище! Вот это и обидней всего: сами полезли. Что уклониться было нельзя, повременить нельзя — глупости это всё. Сами себе придумали...

А это вспоминал он как бы санины тогдашние доводы. Что Саня — больше и тащил их обоих.

Да пожалуй, так оно и было, да. Котя не имел духа укорить прямо, а получалось — так. И требовало от Сани нового теперь обоснования, оправдания: з а ч е м ж е... ?

А в голове — шумок от выпитого с непривычки, и то ли смягчает он горечь, то ли даже урезчает? Всё говоримое сегодня между ними ложится, ложится зарубками, трещинами, всё непоправимее отделяя глупое студенческое прошлое от безнадёжного будущего.

Саня — этого не ждал. Он даже не чувствовал в себе такого отделения. Даже наоборот, лежишь долгой ночью, не спишь, — и стержень прежней жизни как будто высветливается в темноте, даже как будто продолжается.

А вот — не найдёшься возразить. В потоке человечества почему-то одним дано проявить себя долгой богатой жизнью. А кому-то — и умереть рано, ничего своего не добавив, только всё в намерениях и мечтах.

— Котенька, ну что делать... Не смеем мы поставлять свою жизнь выше общего смысла. Думаю, для Бога и такая рано отошедшая душа со своим невыполненным — ничуть не менее ценна, и не потеряно её место.

Котя посмотрел с недоумением, будто на слабоумного:

— Как-то знаешь — о Боге... не хочется говорить серьёзно.

Сжал-разжал веки, стрельнул:

— Г д е это — место души отошедшей, не добитой пулей? Должен я поверить этой басне, во Второе Пришествие — что когда-нибудь во плоти восстанут все умершие, воскреснут в индивидуальности Сципион Африканский, Людовик Шестнадцатый и я, Константин Гулай? Чушь такая...

Доковыривали вилками остывшую картошку.

— Ну не так упрощённо... Но и: душа, конечно, не может быть убита пулей... И как-то вернётся в область... в лоно Мірового Духа.

Константин фыркнул и отвечать не стал.

Тут пришёл Устимович, пригибая затылок под жердевым потолком, — неуклюжий, нелепый, на вид старый, с крупным носом, крупными ушами, всегда замученный невыносимой воинской дисциплиной, ещё больше, чем войной, а ещё ж и разлукою с семьёй, — во всякий момент военного бодрствования затрёпанно-замученный прапорщик Устимович. Вошёл — познакомились. Присел он помочь им картошку доесть да и глотнуть, что осталось.

Хотел Саня в самом начале, но так и не успел предупредить Котю о *газовом коменданте*—быть к нему снисходительным, не посмеиваться над ним, не выказать презрения, какое бывает у талантливых молодых людей к пожилым нескладным неудачникам: оторвали человека от семьи, от учительства, артиллерии не научили, стрелять не умеет, пушек не знает, да всего-то и несколько месяцев, как на войне.

Не успел предупредить, однако всё потекло очень гладко. Своим домашним голосом со сладким захрипом стал Устимович задавать Коте вопросы, и Котя, не потеряв суровости и свежести переживания, снова, снова, всё снова рассказал теперь и Устимовичу. Это — надо было ему: выговорить, выговорить несколько раз, и тем — отделиться, избыть. И Устимович слушал хорошо, ахал, кряхтел, сочувствовал, — страшно было представить и его беззащитное крупное тело в том мелком окопе, устланном трупами. А когда они друг ко другу сдвинулись через угол стола, Саня вдруг обнаружил, что они даже в чём-то и похожи, хотя Устимовичу под пятьдесят, а Коте вдвое меньше, Устимович — густочерноволосый и с вытянутой головой, а Котя — ближе к рыжеватому, и стриженая голова раздана в теменах, в скулах. Но одинаково жёсткомрачный налёт на их лицах, безнадёжность. У Устимовича так — с первого дня, как пришёл.

И никто из них не научился весело воевать, как Чернега.

Настаивал Котя, вполне верно, что не обидно погибнуть в настоящем деле, оказав влияние на ход событий, но обидно погибнуть в бестолочи, никчемушно, в беспомощном месиве. Отчаяние охватывает, не малодушие, — от бесполезности, оттого что сидишь как овца.

А впрочем — уверен был Константин, никогда ещё так отчётливо не высказывал: смерть человека предписана и не оставит его нигде, и избежать судьбы нельзя.

— Штабс-капитан Сазонцев в одном батальоне с начала войны, всё время на передней линии — и ни разу не царапнуло. И воин отличный. И пожалел его начальник дивизии, взял в штаб. В первый же вечер недалеко разорвался снаряд, Сазонцев открыл дверь землянки — посмотреть, где разорвался, — и тут же убит осколком второго.

Устимович кивал, не удивлялся.

— Или был у нас в батарее вольноопределяющийся Тиличеев, с самым тяжёлым пороком сердца, обречён. Напросился к командиру ещё в Четырнадцатом, взяли его незаконно. Как воевал! — лез под самую смерть, «мне всё равно умирать, лучше, чем вам». И везде уцелел. А вот недавно — лежал на траве, подошёл чужой поручик: как пройти к землянке командира батальона? Тиличеев: «рассказать трудно, давайте я вас провожу». Неловко вскочил, сделал два шага — и упал мёртвый.

Устимович — так и думал, он и уверен был.

— Орудийный фейерверкер Денисов. Никогда не боялся, стоял под шрапнелью, не гнулся. Вдруг один раз — как полоумный, бросился скрыться в окоп с запасом снарядов, и далеко бежать. Лёг — и прямо туда снаряд! Что бы было тут, на нас всех! Но снаряд — не разорвался. А Денисова — контузил насмерть. Не-ет, от судьбы не уйдёшь!

Устимович — так, так.

Саня — не мог не возразить:

— Ну что ты уж говоришь! Ну нельзя так. А — где наша свобода воли? Тогда вообще ничего не остаётся от человечества.

Однако пошёл у них разговор так, что к Сане они уже и меньше поворачивались. Устимович рассказал про неудачный поиск гренадеров — и Котя снова выслушал. А тут — чай стали пить, как-то потеплей, поживей, к чаю было у них и печенье в жестяных банках. Сперва ещё о Государственной Думе, что болтают много красивого, но помощи от них нет, помощи — не в банях-поездах, а другой, существенной, — и Котя опять стал косо рубить ладонью:

— Всех этих Милюковых, Маклаковых, Пуришкевичей, Марковых я бы посадил в наш Австро-Венгерский окоп на полдня, пусть отведают «победоносного конца»! А если живыми выберутся — потом могут на трибуне распинаться, пожалуйста!

Устимович — вполне соглашался. Уж ему-то чужей этой войны и придумать было нельзя. Ему бы война хоть завтра кончься полным поражением — только бы домой отпустили.

При чае прокашлялся много раз Устимович, голос его ещё потеплел. Что-то понёс про школу бессвязное, как трудно объяснять неразумникам, — и перешёл на солдат, что сухари жуют и на ходу, и сидя, и лёжа, пока не уснут, и никакого запаса не умеют откладывать.

А Сане стало грустно Так пошёл разговор, будто Котя приехал не к нему, а к Устимовичу. Немногие часы были для встречи, стольким хотелось обменяться, а тут, пожалуй, и уйди — они не заметят.

Действительно, допили чай — Устимович предложил новому человеку сыграть в шестьдесят шесть или хоть в железку. (Чернега играл не серьёзно, забавлялся, а Саня — вида карт не выносил.) Предложил, и по сегодняшней похожести с Устимовичем можно было подумать, что Котя согласится. А он — ничуть. Он — как очнулся вдруг, вытащил карманные часы, потом посмотрел на Саню. И как будто шелухою посыпался, посыпался с него этот нагар жестокости, которым лицо его было покрыто весь вечер, — глянули на Саню прежние дружеские, мало сказать там — карие, с желтинками, но просто — единственные такие, хоть всё лицо закрой, — единственные глаза! Размыслительные.

Да разве мог он за карты сесть! — ведь это вид пьянства.

И Саня повёл его пройтись перед сном.

Теперь, когда Котя выговорился, — хорошо, что дважды полностью, — теперь он молчал, шагал и молчал. И стал позёвывать. Той зевотой, какой возвращаются к покою.

Темно было, но и звёздно. Очищено небо. А за Голубовщиной кусок неба — светло-багровый, уже луна всходила. Каждый день на час позже, она забирает восходом всё левей и левей. Когда долго живёшь на одном месте, хорошо привыкает глаз, за какими деревьями ждать восхода луны предполной, полной, или ущербной. В хорошую погоду в затишные вечера Саня любил выходить и гулять — тут, около батареи, или в сторону Голубовщины. Эти подлунные одинокие прогулки молодили, очищали мысли, высоко...

Можно было и сегодня при лунном за́ливе хоть до полуночи гулять по отвердевшей земле, наговариваться. Но Котя, сильно ошеломлённый, сильно устал — вызёвывался, вызёвывался.

И так жалко его было.

Немного начал: вот насчёт этого духовного бремени, что на войну мы пошли добровольно. Всё время давит на совесть, ты прав. А очень убедительно объясняет наш бригадный священник... Что войне логически противостоит безвоенное состояние, а вовсе не мир. *Миру* же противостоит — зло міpового сознания...

Делал паузы, давая Коте влиться, возразить или согласиться. Но Котя молчал. Загребал сапогами на каждом шаге — тоже похоже на Устимовича, раньше никогда так. И молчал.

Поэтому война — не худшее из насилий... И поэтому мы с тобой, пойдя на войну, не такой уж тяжкий взяли грех... Не так уж и ошиблись.

Нет, не вызвался Котя вместе сложить и проверить эту лестницу аргументов. Отозвался даже раздражённо:

— Да не *грех*, а — ж и з н ь мы тут отдадим! Кинули — кому? для какого собачества?.. Читали мы с тобой, перечитали всю эту міровую философию, — куда она ведёт, скажи? Чепухой занимались. Слово — вообще никуда не ведёт, ничего не даёт. А только — дело. Слово — испытало полное всемирное банкротство. И все гуманитаристы, и твой Толстой, и все эти Достоевские — бол-ту-ны.

Резко, остро, обрубисто: бол-ту-ны.

И не стало можно дальше говорить.

Поднялась луна над Голубовщиной, полила своим вечно загадочным светом, вечно тянущим душу, — всю бы ночь проговорить. А не складывалось.

Побрели ещё немного молча — пошли спать.

Устимович уже разлёгся в недюжинную длину на своём земляном неколебимом ложе и, конечно, на спине, чтобы храпеть. Время сна — только и было вольное время Устимовича на войне.

Положил Саня Котю на своей нижней койке, сам забрался на чернегину верхнюю.

Увидел ли Котя, что Саня так расстроен, но перед тем, как тот, уже в кальсонах, шагал лампочку задуть, — смягчил, засмеялся по-старому добродушно:

— Слушай, а помнишь того чудака-Звездочёта, с которым мы в пивной были? Так вот здесь, в имении, библиотека осталась порядочная, хозяин был — читатель. И там нашего Звездочёта книжечка, представь... Статейки разные, Общественный идеал, Как воспитывать добро... Полистал я, полистал — э-э-эх, все они нестреляные...

Лежал Котя ровно на спине, на двух подушках:

— Зачем — *воспитывать добро*? Нонсенс. Если оно в людской натуре есть, так и без воспитания скажется. А если оно в людской натуре не содержится — так незачем его и придумывать.

Таким Саня его и задул. И полез наверх.

А всё ж — это был уже другой тон.

И слыша в темноте, что Котя не спит, и с раскаянием, что может не так что сказал, и в желании хоть сейчас полушёпотом выбраться в достойный разговор, Саня свесился в темноте:

— Нельзя рубить как топором: или есть добро, или нет. Оно — и есть, и нет. Оно — и в природе нашей и не в нашей природе. К нему именно надо развиваться. А в чём же ином смысл нашего земного существования?

Котя не отзывался. Но и не спал.

— Я вот тебе начал про статью Трубецкого — о споре Толстого и Владимира Соловьёва, как понимать Царство Божие. Очень поучительно. Некоторые тонкости христианства, в Евангелии они лишь просвечиваются, прямо не называются, а в повседневном обращении теряют их совсем. Например: кесарю — кесарево. Так ли надо понять, что Христос одобряет Римскую империю и вообще государство? Нет, конечно! Но он знает, что людям ещё долго-долго без государства жить нельзя. Что государство со всеми его недостатками, судами, войнами и стражниками — всё-таки меньшее зло, чем хаос. Но подступит время — и всякое государство должно уйти с Земли, уступая высшему строю — Царству Божьему. Только тут сам Трубецкой уходит от проблемы. Потому что если положить надежды на преображение міра Вторым Пришествием, то и неважно, будем ли мы к нему постепенно развиваться: нам ведь в него не переходить постепенно...

Отозвался Котя, не выдержал:

— Бросай ты, Санька, все эти бредни, какое ещё Царствие Божье? Можно было об этом лепетать в студенчестве, пока мы были щенки и войны не видели. А теперь третий год вся Европа друг друга месит в крови и мясе, травит газами, плюёт огнём, — неужели похоже

на приближение Царства Божьего? Смотри, нас ухлопают раньше, нас с тобой!

〰〰〰

Многоуважаемая ---------------------------!
(фрау. фройляйн)

К большому своему сожалению комендатура лагеря Альтдамм должна сообщить Вам, что Ваш ---------------------------- военнопленный ----------------------------
(муж, отец, сын, брат, жених) (фамилия, имя)
родившийся ------------ ля 18---- года, скончался -------- ря 1916 года в местном лазарете от ---------------------- и был похоронен на местном кладбище со всеми христианскими обрядами.

Комендант, подполковник --
г. Альтдамм,----------- ря 1916

56

Так и заснули Саня и Котя, с недоумением друг ко другу. А проснулись — начало дня, бодрость, знакомое дружеское пофыркивание, до пояса голые выскочили наружу, а там — заморозок, солнце восходит, ледяной водой из кружек поливали друг другу спины. И недоумения уже не оставалось, да и времени на него, — звали дела, распорядок. И в конце концов, если голову не суждено сохранить, так что ж её и натуживать? А-а, всё разберётся, быть бы живу.

Цыж принёс гречневую кашу — упаренную, выдержанную, зёрнышко к зёрнышку и пропитанную сальным духом. Дружно загребали деревянными ложками.

Тут прибежал телефонист командира батареи и предупредил господ офицеров, что звонили из штаба бригады — какая-то *комиссия* к ним едет, чтобы приготовиться. А — в чём приготовиться? Не знаю. Да тебе-то кто велел? Старший телефонист. Смеялись.

Рассказал Котя в лицах, как приехал капитан-генштабист и гонял при младших старого полковника вопросами: как тот будет газовую атаку отражать? как — если что?.. И сам сиял скромностью. А старый честный полковник в три пота изошёл: в боевой обстановке всегда он знал, что делать, а вот перед этим хлыщом в сверкающих ремнях... Смешно-смешно, но кого Котя не любил, это генштабистов: воображают чёрт-те-что, боги войны, как будто можно теорию этой неразберихи понять, знать и направлять. Да кто что может зараиее предсказать, если поведение роты зависит от того, как один солдат споткнётся?

Нет, не дали спокойно чаю допить — вызывает господ офицеров капитан Сохацкий! Коть, ты не уезжай, мы быстро!.. Нет, братцы, вас сейчас замотают, желаю удачи! Где там мой вестовой, кони?..

Так и расстались не толком, не проводил Саня Котю, обнялись наспех, не объяснились о вчерашнем — да и что ж тут? Всякое между ними бывало...

Капитан Сохацкий, старший офицер батареи, ещё рослей их батарейного командира, длинноногий как артиллерийский измеритель, в пехотные окопы хоть и не ходи, наблещенный от сапог до кокарды, ждал их у высокого пня, ногу одну вознеся на пень, как другим недоступно, нервно перебирал темляк шашки и озирался, озирался тревожно по батарейному расположению, будто ждал атаки вражеской цепи. Так. Он вызвал их насчёт комиссии, а подполковник Бойе, к сожалению, в командировке, в ответственные минуты всегда вот так... Известно только, что: один генерал, один полковник, и что — *теоретики*, но какие теоретики, не сказано. Боже мой, и надо же было именно с 3-й батареи начать!

При утреннем низком белом, уже полузимнем солнце тревожно оглядывал Сохацкий беспорядочно снующую батарею, лишь на днях переодетую в зимнюю форму, ещё не всё подогнано, и старался угадать, какие беспорядки можно заметить и исправить в полчаса? И так, смятенно озираясь поверх голов, он даже не заметил, что перед ним стоят не три взводных командира, а только два.

— Да где же Чернега (трах-тарарах)? Почему по подъёму не явился? Ну, оборву я его сладкую жизнь!

Привычка, усиделись, улежались, ползёт дисциплина, как тесто. Пока спокойные дни — незаметно, а вот тревога...

Устимович старательно накатывал большие валики чёрных бровей и по возможности не горбился перед капитаном, вот и всё, чем мог быть полезен.

Батарейцы в солдатских папахах с отворотными боками, в телогрейках и ватных шароварах сновали своей обычной жизнью, но зорко чувствовали переполох у начальства, а он не мог тут же не опрокинуться и на нижних чинов.

— Заковородный! — длинным жестом завернул капитан семенившего мимо подпрапорщика, фельдфебеля их батареи. Обычно при передках или обозе, а сейчас оказался здесь хлопотливый пригорбленный хохол, всегда по делу, как у себя бы в хозяйстве, пристроился к офицерскому обсуждению.

Бывали у них комиссии — интендантские, санитарные (а цель каждой комиссии — побывать «под огнём» и потом получить награды), но что значил «теоретический» генерал — поневоле брал озноб. Хозяйственная часть, которою больше занимался капитан, отпадала? Хотя и в снабжении своя теория есть... Но что бы ни было, а — внешний вид, комплект, строй, состояние оружия, состояние землянок — никогда не лишние, при любой комиссии.

Что казалось естественным в ежедневной проходке мимо орудийных позиций, мимо землянок — всё вопияло теперь, что распущено, разбросано, не на местах, не в порядке, а резче всего — вид солдат! По-человечески невозможно было Сане каждый день останавливать и пилить Хомуёвникова, что воротник у него всегда перекошен, полуподнят, недостёгнут, и пояс — наискосок, а не поперёк туловища, и шапка не сидит прямо и плотно, а сбоку насажена и вот свалится. А у Сарафанова пояс распущен, как у беременной бабы, перетянуть бы брюхо. А Улезько и Гормотун вообще себя на военной службе не чувствуют: взятые из соседних сёл в обход воинского начальника, *тутэшние,* они в армии как не сами служат, а постояльцев обслуживают, любят о местном сказки тачать, историю каждой яблони («На цо пан сажае? детей нет.» — «А до нас люди были? и по за нами бендзе.»), — они и за год не привыкли, что двинется армия, на восток ли, на запад, и им тоже отрываться от своих мурованных будынков и аистовых гнёзд. Да Сане и самому противно такое педантство: ну пусть не затянуто, перекошено, пока можно — пусть люди вольней поживут. А гордым, как Пенхержевский, или образованным, как Бару, замечание сделать просто неловко: у Бару на шинели — университетский значок, а всё обмундирование — временная и горестная декорация при значке; и взять руки по швам даже вежливо его не попросишь, его глаза открыто напоминают подпоручику не о равенстве даже, о превосходстве.

Но двадцать минут ещё есть, р-разойдись!

Лаженицына капитан задержал:

— А скорей всего — правила стрельбы. Тогда никому как вам. Будет повод — я вас укажу, пододвину, а нет — выдвигайтесь сами, берите инициативу!

А может быть — материальная часть? Вкопка пушек? Укрытия для расчётов? Маскировка? Погреба для снарядов? А может быть — противогазовая защита? Прапорщик Устимович, ко мне!

Ах нет, вот он, вот он, негодник! — виноватый, плутоватый, ещё не совсем прочуханный, но очень сытый и довольный, от своей Густавы

катил к ним шаром Чернега. И поднял руку доложить с неискренним раскаянием.

А ведь он-то и схватится сейчас всех приготовить! В офицеры перейдя, Чернега из унтеров как и не ушёл — так с ним солдаты слиты.

Поворачиваться надо было, как перед боем. Саня кинулся к своему взводу. Вмиг изменился самый взгляд его, и всё стало видеться непримиримей, вся неидеальность его батареи! А оставалось — четверть часа! Ещё можно было успеть пришить пуговицу на погоне у расхлябанного Жгаря, убрать сушимые перед землянками котелки, какие-то запасные консервные банки, обжились тут, снять портянки стираные, сохнущие на суках, — но уж пешеходных дорожек (по которым никто и не ходит) не посыпать свежим песком, — а что́ в самих землянках развешено, разложено? да сухи ли матрасы или отсырели? а если осмотр нижних рубах навыворот и у кого-нибудь в подмышечном шву *найдут*? тогда какой позор 3-му взводу?

Но не успел подпоручик объяснить собранным фейерверкерам, что́ им проверять и исправлять (а сам, обгоняющей заботой — а у передков что? хорошо ли лошади почищены? сегодня сухо, не должно быть зашлёпа), — как уж гнал за ним вестовой капитана: господ офицеров — к старшему офицеру снова спешно!

И вприбежку, придерживая планшетку на боку, кинулся Лаженицын к капитану Сохацкому, туда ж катил и шар-Чернега, и ступал измученным длинным шагом Устимович.

Снова длинной ногою на пне, о своё высокое колено опираясь, и ещё нервнее теребя темляк шашки, капитан Сохацкий дал очередное прояснение, новую телефонограмму из штаба: *зачем* едет комиссия, узнать не удалось, но сообщали состав: петербургский генерал из ГАУ, ставочный полковник из Упарта, а ещё — свой генерал, инаркор.

Переводя с быстроговорки русских штабов, уставших третий год бесконечно вымалывать длинные неповоротливые названия: генерал-лейтенант Забудский — из Главного Артиллерийского Управления, полковник — из Управления при полевом генерал-инспекторе артиллерии, а свой генерал — инспектор артиллерии корпуса (и вёз с собой бригадного артиллерийского техника).

Это уже кое-что объясняло. Значит, пренебрежён будет внешний вид, разбросанные предметы, сухость матрасов, кухня и баня. Проверка будет наверняка не типа «вшей давим, Бога славим». Скорей всего и не тактика, потому что инаркор не отвечает за тактику артиллерии, а только за технику, как и ГАУ. Значит, отпадают, не грозят: конский состав, связь с пехотой, сигнализация, маскировка, обкопка позиций, противогазовые средства... А вот: состояние орудий? расход снарядов? содержание боеприпасов? что ещё? что ещё?

— Трубки? взрыватели? эффект поражения? — искал, помогал капитану Лаженицын.

Ни предвидеть, ни исправить было уже невозможно! Цель комиссии оставалась тайной и даже тайной зловещей, раз они сумели утаить её и перед штабом бригады, переночевавши.

То есть в общем виде цель комиссии была совершенно ясна: найти какие-то неисправности и придраться к ним. Оттого была совершенно ясна и обратная цель офицеров 3-й батареи: все возможные неисправности всеми средствами скрыть. Цель была: чтобы комиссия уехала и оставила их в покое. И к этому капитан Сохацкий не должен был призывать взводных, они и так прекрасно понимали. Незадача была в другом: что самые хитрые комиссии стараются обходить старших и даже младших офицеров, а промахи ловить у унтер-офицеров и нижних чинов.

— Пододвигайте смышлёных! Угадывайте, что́ именно надо, и таких пододвигайте. Тут очень легко спутать, не с той стороны козыри подкинуть. Ба! А почему вы все без шашек, господа офицеры?!

Но как раз бежал телефонист с сообщением, что построение про-

изводить без личного оружия. (И капитан Сохацкий сам поспешно отстёгивал свою шашку.) И даже — вообще не строить, потому что в батарее ничего о комиссии не знают.

Итак, все должны были ходить как бы по своим утренним, до начала занятий, делам. (Спотыкаясь, каждый выполнял последние приказания унтера.) С неестественной свободой разошлись и командиры взводов.

Но уже через две минуты Сохацкий, прогуливаясь, увидел *внезапно для себя* подъезжающую комиссию: она не поместилась в одном автомобиле и ещё сзади скакали верхами инаркор и бригадный адъютант. (От фольварка Узмошья не было и трёх вёрст до их батареи, тут ходили пешком или катали на дрожках, лёгкая прогулка, автомобиль подали для важности.)

Капитан Сохацкий, радостно изумлённый, вподбежку бросился встречать приезжих, но ещё прежде, чем поднял правую руку для отдания чести и рапорта, махнул-дрягнул левой рукой, и фельдфебель не пропустил этого движения, и трубач заиграл сигнал построения — и весь состав батареи при полной для себя неожиданности чрезвычайно мгновенно и в довольно приличном внешнем виде построился повзводно в две шеренги позади линии своих орудий, замаскированных свежими сосновыми ветками.

Инаркор и бриг-адъютант лихо спрыгнули с коней (подбегнуто было принять у них поводья), а комиссия стала с неудобством вытягивать ноги из автомобиля.

Петербургский генерал разочаровал: не во фронте и нескладно он принял рапорт капитана, внезапно снял фуражку и носовым платком вытер лоб и темя (обнаружилась узкая голова с заморщенным лбом и залысинами далеко наверх). Не было в нём не только важного генеральского, но даже устойчиво-офицерского: шинель не сливалась с фигурой, а висела на нём, и усы были малозаметные, так что лицо казалось голо.

Зато полковник из Упарта был высоченный красавец с двумя холёными отдельными зеркально ровными бородами, отходившими от вертикали каждая на 45 градусов, а друг от друга — на 90. Со своей высоты взирал он на всех подавительно-проницательно, что все тут мошенники, приготовились его обманывать, но он их сейчас разоблачит.

А ещё был штабс-капитан — молодой, подвижный, устоять не мог, куда-то порывался.

И ещё был тихенький поручик. Этот сразу достал большой блокнот и приготовился записывать.

Вот от этого блокнота очень падало сердце.

Генерал побрёл, полковник зашагал, штабс-капитан заподпрыгивал в сторону батареи, — и все остальные за ними. И осмеливаясь, по долгу, их обогнать, капитан Сохацкий забежал вперёд, скомандовал батарее тонко-высоко: «смир-рна! равнение на...! господа офи...», — и ещё раз напряжённо отрапортовал петербургскому генералу.

Генерал даже и рукой замахал, стеснённый такой ненужностью. Из кармана вынул, надел пенсне, невнимательно оглядел строй, более внимательно — первую пушку первого (чернегиного) взвода и обернулся к свите:

— Э-э... стало быть, с какого времени они непрерывно в боях?

Инаркор наклонился к нему и шепнул:

— Да вольно, вольно, конечно! — улыбнулся генерал строю, прямо солдатам, минуя батарейного командира. — Вольно, голубчики.

Капитан Сохацкий подал «вольно!» и прислушался, ещё вытягиваясь, о чём толковали в свите.

Пока так все стояли на своих местах — подвижный штабс-капитан уже отскочил от них, вспрыгнул на сошку первого орудия, снял чехол, открыл казённую часть, пригнулся и заглядывал в ствол орудия, на просвет.

О чём бы там ни толковали в свите, несомненно стало, что комиссию интересуют именно орудия. (Да хорошо ль почистили каналы последний раз?..)

Комиссия там и сгрудилась, куда подошли близ 1-го взвода, капитан Сохацкий как-то виновато отвечал на вопросы (и в большой блокнот уже сразу записывалось), а младших офицеров не подозвали. Ещё Чернеге поблизости должно было быть слышно, а Лаженицыну к 3-му — ничего.

А штабс-капитан тем временем перелез с первого орудия на второе и заглядывал в него.

Солдаты заметили, что офицеры взволнованы, и сами были многие неспокойны (от комиссий никто никогда добра не ждёт). Самоотверженный Жгарь стоял в первой шеренге вылупленно, всё равно смирно. На беду в первую же шеренгу почему-то попал Сарафанов, с распущенным-таки ремнём. Позади него лениво-иронично стоял Бару, тяжестью на одну ногу. И из задней же шеренги в чёрно-блестящих глазах Бейнаровича сверкало открытое удовольствие, что офицеры влипли в неприятность.

Вдруг полутораростовый двухбородый красавец-полковник отделился от комиссии и крупными шагами пошёл сюда, на левый фланг — так быстро, что Лаженицын заметался, не надо ли опять «смирно» подать, но вовремя вспомнил, что при общем строе и при высшем начальстве нельзя.

Однако породистый полковник совсем и не заметил, был ли тут какой офицер при взводе. Замедляя шаг, он умными, очень зоркими глазами осматривал, осматривал солдатские лица, и остановился именно против Жгаря — во всё значение своего роста, звания и положения остановился против ничтожного замуторенного нижнего чина — и ласково спросил:

— Скажи, братец, вот когда стреляют из пушки, — бывает ствол такой горячий, чтоб дотронуться нельзя?

Никогда во всю жизнь со Жгарём один на один не разговаривал полковник, да ещё такой барин! Жгарь вытянулся, вылупился, голову закинул, а выговорил — из последних сил:

— Так точно!

— Ну, как горячий? — ещё мягче, успокоительнее спрашивал коварный полковник. — Если шапку на ствол положить — задымится?

А у Жгаря ещё и речь была невнятная от рождения, даже когда не волновался, его понимать — привычку надо иметь. Выпалил ответ — не понял полковник. Но опять же — к нему, терпеливо. И тогда понял:

— Никак нет, шапку на пушку — не велено класть!

— Ну, а если всё-таки положить? — улыбнулся полковник.

— Никак нет, строго не велено! — теперь уж упёрся Жгарь, как если б неоднократно был такой приказ по батарее.

Лаженицын быстро думал, ловил поймать — в чём же смысл?

А Бейнарович, стоя более чем «вольно», ещё более переняв и всю вольность момента, из задней шеренги злорадно посмотрел на своего подпоручика и так же вольно придумал сам выступить:

— Загорится!

Полковник оглянулся, нашёл, кто поддержал:

— Когда сразу подряд много стреляете?

— Ну да!

— А сколько от выстрела до выстрела?

Бейнарович не нашёлся, так он не был готов, от и до.

Полковник вёл глазами дальше, да кажется на Бару. И — ему конечно, увидя на шинели университетский значок:

— Сколько делаете выстрелов в минуту, когда густая стрельба?

Ему, конечно, но Бару, поскольку его по фамилии не назвали, сделал вид, что это не к нему, стоял безучастно, тяжесть на одну ногу и глаза в сторону.

А Сарафанов, наискосок от него, понял так, на беду, что это *его* спрашивают. Встрепенулся, закинул подбородок, как подстреленный, и залопотал жалостно:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, не можем знать минуту!

— Не знаешь — минуту? — удивился полковник.

Сарафанов держался против настойчивого барина:

— Минуту — никак не знаем, ваше высокоблагородие!

А и в самом деле — откуда же знать им *минуту*? Часов не носившим сроду, откуда им знать господскую какую-то минуту?

И цену её.

Проницательный полковник ещё повёл взглядом по шеренгам, остановился на чёрном кругленьком Мотеле Каце с услужливыми глазами.

— Скажите вы, бомбардир.

Кац, польщённый вниманием и стараясь не уронить доверия, и сколько можно подтягиваясь:

— Выстрела три-четыре, ваше высокоблагородие.

— А не больше?? — поощрял его, удивлялся, настаивал полковник.

А дотошный штабс-капитан уже лазил тут, за спинами 3-го взвода.

Кац был природный дипломат, и так искал ответить, чтобы всем было хорошо — и самому Кацу, и этому полковнику, и своему подпоручику, и всей батарее. Он успел взглянуть и на подпоручика, но не получил указания.

— Н-ну... м-может быть... и пять.

— Только пять? — совсем недоволен был полковник. — А когда команда «ураганный огонь!»?

— Н-ну... тогда... конечно... больше, — постепенно уступал Кац.

— А бывает такая команда — «ураганный огонь»? Или — «барабанный»? — спрашивал полковник уже не Каца одного, уже весь строй. И даже нависал над ними, явно настаивал, что так надо ответить. — Десять выстрелов в минуту — бывает?

— Бывает! — решительно победно крикнул Бейнарович.

Ответы-не ответы, но мычание по строю раздалось. А всё же ясно не подтвердил больше никто.

Как будто ничего зазорного для батареи, если много стреляет, а на всякий случай — не отвечать: от начальства всё равно добра не может быть.

Подпоручик с опозданием начал подозревать ловушку полковника и готовился возразить, вместе с тем и робел, как перебить его, будет ли это по уставу.

Но тут от первого взвода донёсся сильный, не по-военному, а природно и насмешливо сильный голос Чернеги. Что он сказал — Саня пропустил, но там в ответ раздался взрыв смеха главной группы, и сразу же петербургский генерал позвал некомандным доброжелательным голосом:

— Господа офицеры, пожалуйте сюда!

Проницательный полковник недоволен был, он ещё хотел тут поспрашивать. Но пришлось идти.

И с шестой уже пушки соскочил проворный штабс-капитан.

— Нет, — досмеивался инаркор после Чернеги, — такой команды — ураганный, барабанный, у нас в корпусе никогда не бывало.

Досмеивался, а тем самым объяснял офицерам, чего держаться: оказывается, ураганный — гордость артиллеристов, уже не гордость, а почему-то порок.

А ненастоящий генерал, в пенсне и с перекривленными плечами,

нестрого оглядел подошедших к нему командиров взводов и спросил доверительно:

— Скажите, господа... Вот вы постоянно наблюдаете за своими разрывами... — Задержался на лице Лаженицына: — Скажите, поручик... Приходится ли вам замечать, что реальная дальность выстрела по сравнению с расчётной медленно, но неизменно падает? И вам приходится эмпирически, сверх расчётных данных, ещё набавлять прицел?

Так это было тонко, умно спрошено, такой взгляд чуть прищуренный, будто через экзаменационный стол, — теплом обдало санино сердце. Как не бывало этой войны, и этих пушек, хотя о них-то и шло, этих военных одёжек на генерале и на нём, а — опытный профессор проверял наблюдательность студента, и студент во всю меру своих способностей хотел помочь установить истину:

— Вы знаете — да! — поразился Саня, поразился сам себе, что раньше не свёл эти отдельные случаи воедино, даже с командиром батареи о них не поговорил. — Да, такое явление я замечал...

Гулко одобрительно кашлянул за его головой двубородый полковник.

И в блокнот записалось.

А инаркор очень удивился, поднял брови.

Но прежде него сбок Сани загудел Чернега:

— Разрешить доложить, ваше превосходительство? Никогда такого не наблюдал! Обыкновенный разброс, когда дальше, когда ближе. От ветра, от разного.

Так напористо он говорил, самим голосом отталкивая санины размазнёвые рассуждения, и естественно было верить именно ему: вероятно, он-то и не сходил с наблюдательного пункта, а подпоручик бывал там редко.

Без противоречия и удивления записалось и это в блокнот.

А Устимович и вида не делал, что бывал на наблюдательных. Стоял — как трудился стоянием, молчанием и покорностью судьбе.

Генерал-профессор покосился на его великовозрастную обречённость, на литое шаровое лицо Чернеги с хитрыми белыми толстыми усами и на санину застенчивость опять. И — ещё так повернул ему экзамен:

— А как могли бы вы оценить, поручик, этот систематический недолёт в проценте к общей дальности? Сколько это может грубо составить?

Саня с полным старанием хотел ответить, он сам очень заинтересовался. Но тут надо было подумать. Тут надо было представить какие-то памятные случаи, по какому месту он рассчитал прицел и куда пришёлся разрыв. А потом карту достать, померить измерителем,— вот тогда можно сосчитать и процент.

А пока он задумался, это выглядело как неспособность ответить, и инаркор снисходительно объяснил петербургскому генералу:

— К сожалению, ваше превосходительство, все младшие офицеры, которых вы видите здесь, не кадровые, командира батареи тоже нет, а для оценки таких наблюдений нужна большая опытность. И привычка — за каждым разрывом очень тщательно следить.

И — сожалительно пожал губы.

— Так поедемте, где мы найдём кадровых! — согласился двубородый.

Хотел генерал-профессор всё-таки ещё спросить, но уже создалось движение — уходить. Оборачивались. Блокнот закрылся.

Саня не видел Чернеги позади своего плеча — он только видел, как симпатичный усталый профессор чуть заметно улыбнувшись срезанному студенту, не мог однако исправить его оценку и тоже вынужден был — как и все, как и все — уходить. Нервный штабс-капитан на ходу остро доказывал двубородому полковнику, а бригадный техник пытался ему возражать,

Три минуты дохнуло академической аудиторией — сюда, на орудийную, ископанную опалённую землю позади Дряговца, — и весь этот аромат забытый, не армейский, рассеивался в холодном осеннем воздухе.

Но какая-то же цель и какой-то замысел скрывались за этим приездом и этими вопросами! Третья батарея Гренадерской бригады воевала попросту, не предполагая ещё какого-то скрытого смысла своих действий, над которым головы ломали в Ставке и в Петербурге.

И Саню — как потянуло вслед генерал-профессору, пока тот ещё не ушёл. Кажется, Чернега цапнул его за локоть, не пуская, но Саня, не оборачиваясь, вырвался — и доступил к уходящему:

— Ваше превосходительство, простите! Но не могу ли я быть полезен? Я бы наблюдал... Объясните, пожалуйста, в чём тут смысл?

Профессор охотно задержался — и позади группы они пошли двое вровень, отставая от быстрых. И профессор, сутулясь, пояснял:

— Понимаете, злоупотребление скорострельностью приводит к преждевременному износу и расстрелу канала ствола. Теоретически допустимая скорострельность нашей пушки, как вы знаете, до 10 выстрелов в минуту. Однако — это запас для исключительной боевой обстановки, а оптимальный режим сохранности орудия — один-два в минуту, и тогда орудие выдерживает до 10 тысяч выстрелов. Но некоторые войсковые начальники, малосведущие в артиллерии, варварски требуют непрерывной интенсивной стрельбы по многу часов — лишь бы был звуковой эффект, грохот орудий, была бы ободрена и пошла вперёд пехота, — а что на этом орудия разгорячаются до красного накала и изнашиваются вдвое быстрей, об этом не заботятся. А офицерский личный состав за время войны сильно упал в квалификации, — но этого подпоручика профессор под руку чуть придержал, передавая касанием, что его-то не относит к тем, — и не замечают потери дальности и потери меткости. Тратятся и снаряды без толку, и сами пушки через 4 тысячи выстрелов приходится снимать на перестволение. А резерва пушек у нас тоже ведь нет.

Вот когда прояснилось! Нет, не одной глупой канцелярщиной занимаются в верхних штабах!

Уже инаркор и бригадный адъютант были в сёдлах, уже в автомобиль уселись, и только распахнутая дверца и капитан Сохацкий подле неё ждали генерала, — а генерал остановился с подпоручиком.

— Так что ж, выходит, если и снарядов много — стрелять надо бережно?

— Нисколько не беречь, когда этим сохраняются людские жизни. Но — никогда не стрелять для оглушительности. «Ураганный огонь» — это потеря хладнокровия, неспокойное состояние духа артиллерийских начальников.

И — подал подпоручику пожать свою мягкую слабую руку.

Саня возвращался задумчиво, не замечая, что Чернега уже распустил самовольно весь строй батареи и тупал к нему навстречу по подмороженной твёрдой земле. Сблизились.

— У, тюха-Санюха, — толкнул его Чернега кулаком под ребро.— Что мелешь — думаешь? На меня бы обернулся, по мне б догадался.

— А что? — удивился Саня. — Это действительно так, дальность падает.

— А то! — бокчоватой грудью напирал Чернега. — Пушки отберут, а взамен — винтовки, в пехоту пока? Нас-то без пушек — куда пока? Ты подумал?

Вот удивительно, не слышал Чернега профессорских объяснений, и оговорки, что пушечной замены нет, — а догадался.

— Откуда ж ты догадался?

Улыбнулся Чернега из-под толстых щёк, улыбнулся от избытка силы, здоровья, смекалки и сожаления, что не всем она дана:

— Перед начальством всегда смекай — где берег, где край.

ЛИСТОВКА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Октябрь 1916

ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ!

Гибнет вера в правду и разум. Гибнут надежды на прекрасную свободную жизнь. И о ужас! В этом торжестве смерти интеллигенция занимает первое место как обручённые на званом пиру.

Как обрадовались русские реакционеры, когда все их грехи умные головы свалили на Германию. Войну «за благо народа» превратили в неслыханное околпачивание и обирание народа до нитки. Товарищи студенты! Что же вы молчите? Довольно тешить себя мыслью, что вы — цвет народных надежд. В эти роковые минуты стыдно руководителям, учителям народа заниматься самоутешением, будто тасканием дров на спине, разгрузкой вагонов вы оказываете народу великую услугу. Народ столетиями ждал освободителей от тяжёлых оков, что они помогут расправить окоченевшие члены и укажут путь к светлой и радостной жизни. И вот они пришли в трагические минуты, согнули свои спины и начали таскать дрова, а тысячелетних рабов тем обрекли на убой. Пришли и с восторгом восприняли лозунг: «Всё для победы!» — и ничего для свободы...

Но народу не нужна та победа, которая превращает учителей народа во вьючных животных. Товарищи студенты! Вы учились учить народ. Укажите же ему путь спасения: мир и созыв Учредительного Собрания. Организуйте же народ от тьмы могильной к солнцу!!

57

А с утра настаивалась тягость, тяжеление самого воздуха в их двуоконном угловом номере на втором этаже. В одном окне — барахтали ветвями густые тёмные ели, в другом — хмурая осень, качанье голых веток, и от ночного сильного дождя — взбухший пруд.

Глаза Алины совсем переменились — такие твёрдо-блестящие, что стало даже не по себе встречаться с ними. Она поднялась не убитая, не хрупкая, ничего не просящая, очень самостоятельная. Молча, в отчуждённой строгости, долго причёсывалась перед зеркалом.

Георгий совсем теперь сбился и не знал, как себя вести, как смотреть, как разговаривать. Потерян был ворожительный тон этих двух дней, а новый не определился. Проще всего — скорей в Москву, да в Могилёв, а постепенно, со временем, всё уложится. Только вот эти часы до отъезда как-то надо было...

Но Алина объявила от зеркала, что они остаются здесь ещё на день.

Не просила — объявила.

Дико! Оставаться было и совершенно незачем, и делать абсолютно нечего, даже и гулять по такой погоде. А говорить? — всё переговорено, при таких отношениях Георгию было нестерпимо задерживаться и в Москве, да сколько уже утекло, 18-й день в отлучке из полка, а ещё...

Да как осмелиться сказать ей про Могилёв?..

Но с таким уверенным значением, с таким сухо-блестящим выражением Алина объявила, что Георгию — виновному же, преступному же, мотавшему с Ольдою дни без счёта, — как было не уступить? Перед ним сидело живое страдание — из-за него, из-за любви к нему, вызванное им, — а он бы теперь заикался ей о службе?

Итак, приходилось начинать длинный, пустой, бессмысленный день.

Закурил.

Пошли завтракать.

Чего Воротынцев никогда не делал — взял к завтраку вина. И чего Алина никогда не делала — стала пить. То — позапозавчера? — именинную рюмку заглотнула, морщась, — а сегодня свободно опрокинула, недобро блестя глазами:

— Умирать, так с музыкой!

Его брови вскинулись. Это было только расхожее выражение, конечно. Никакого буквального смысла она не вложила? Нет, сама прислушалась, как это прозвучало. И:

— Мне теперь легко стало думать о смерти. Ты когда-то писал с фронта что-то в этом роде.

Ого! Георгия захолодило.

А она сама налила из графина, выпила вторую.

И — опять к тому же, как оса летит впиться, но — тоном лёгким, с вызовом:

— Скажи, а можно — я кончу с собой? Ты не будешь возражать? Вам будет хорошо.

Это был только дерзкий вызов, конечно. Но:

— Алина, — с трудом продохнул Георгий, — ты...

Да-а, объяснение набухло за ночь, как этот пруд, и пошло подтапливать. Нет, не кончилось так просто.

Опять потянулась за графином. Он накрыл её рюмку ладонью. Она взяла пустую свободную — и налила, переплеснув на пол.

— Теперь — надо! — с упрямым блеском в глазах. — Теперь — буду!

А омлета — не ела.

— Так ты говоришь: я р к о?

Он не понял. Не сразу.

Сощурилась:

— Скажи, всё-таки, объясни: ч е м и м е н н о она тебя так обворожила, что ты в несколько дней сгорел? Чем так притянула?

Он встретил её грозный блеск — и опустил глаза.

Алина выговаривала с готовностью, с заботливостью:

— Сложная, духовно-напряжённая, не склоняется перед господствующими мнениями, это и заметно. А — что ещё? Скажи.

Да ещё сколько можно было сказать.

Молчал. Опустил голову.

— Да она просто чудо! Да кто ж она?

Добирал последние неуследимые крошки омлета.

— Фу-у, как ты боишься её назвать! Отчего ты такой трус? И она такая?

Вино быстро действовало. Алина невидимо переступала задержки, вот уже говорила громче нужного, почти на весь залец.

— Пойдём в номер, — стал тихо уговаривать он. — Пойдём.

— Ну как же! — ещё громче выпечатывала Алина. — Ты же наслаждаешься похвалами ей! Ты же вон какие восторги выстилаешь! Я хотела бы видеть, познакомиться и восхищаться тоже!

С трудом повёл. Твёрдо за локоть.

— Не нужна? — громко говорила она на лестнице. — Сослужила — и отменена? Думал — как от дурочки отделаться? — И в верхнем коридоре: — За все мои жертвы? За верность? Вот *так*?

Ввёл её в номер, отпустил руку. Сел. Она рванулась назад, спиной вжалась в дверь и, нахмуренно-красивая, вниз смотрела на него:

— А ч т о ты мне дал? За всю жизнь — что?? Да я могла бы!.. — взбросила пианистическую гибкую руку, — та-ко-йе!.. — С проворотом сожаления опустила.

Что б ни сказала она теперь, что б ни выкрикнула, — но всё начал он. Поделом. Ей — больно. Ей...

Нет, стала спокойнее. Совершенно трезво. Впиваясь глазами, словами:

— Объясни. Ты — ч т о имеешь в виду? Пожалуйста, смотри на меня. Ты — что имел в виду, так её хваля? Что ты — от неё не откажешься? Смотри на меня! Ты от неё — не отказываешься, да? То есть ты хочешь — в т р о ё м, что ли?..

Трудность была, что ответить нечего. Он — ничего не имел в виду, он ничего и не готовил. Он хвалил — потому что... Потому что надеялся, что...

— Ну, как сказать... Вы — настолько из разных областей жизни... непересекающихся...

— Что можно совмещать? — перехватила она.

Да нет, он хотел... Да почему он должен вот сейчас так прямо и найтись и ответить?

Как сжато сердце, и ничего не понятно, что происходит. Вчера, позавчера было светло, и вдруг — безвыходность.

А-а... Ещё войну переплыть... Ещё будет ли жив.

Но истощился и порыв Алины. Она ослабела. Дошагнула до стула, опустилась как-то боком к спинке, одну руку плетью завесила за спинку, и голову на то плечо. Смотрела на него уже не гневно, — печально.

Смотрела. Смотрела.

И — тихо, внятно, примирительно:

— Вот так. Учили бы, как учат всему другому. Даже за счёт математики.

И с ласковой болью:

— Тебе-то — первому надо было.

Так поворачивала, что он не с этой поездки был виноват перед ней, а — давно, давно? Это трудно понималось и даже возмутило его:

— Почему ты так уверена? У тебя были годы с тех пор.

— У тебя были годы!

Что-то слишком премудрое начиналось, не для мужского ума. Но хоть не буйное. Кто виноват, кто прав... Вздохнул:

— Любовью должны заниматься женщины. — Закурил, затянулся. — Вам там открыто глубже, вы и понимайте. Мы — воюем, работаем, а вы там — анализируйте...

С кисловатой улыбкой превосходства она пожалела его, себя, весь свет.

И жалко было её, всё время — так жалко!

Но и — стеснённо, душно. Сузился, уплощился мир. Вот так теперь сидеть — и из пустого в порожнее, из пустого в порожнее?

Ясно было только одно: что сегодня они опять никуда не едут.

— Знаешь, я пойду на полчасика пройдусь? Один, ты не иди, там резкий ветер, простудишься. Мне — только голову проветрить.

Ничего не возразила. И без постоянного обряда (уходя ли на час — в щёчку или в лобик) — ушёл.

Дождя не было. В неровных толчках остервенелого сырого ветра, запахнясь в испытанную шинель, испытанно придерживая шашку на боку, Воротынцев почувствовал себя сразу легче. Толчками, охапками выдувал из него ветер всю эту вязкость, всю эту нескладицу, которую сам же он и завёл. В сквозящем холоде, как будто обречённый ему по воинскому приказу, Воротынцев нисколько не зяб, а легко шагал по дорожке — в огиб пруда и наверх, в сосновый бор на гряде. Как ни горько разлажено было в Румынии последнее время, но и легче б ему сейчас же перенестись туда — в грязную блохатую местность за Кымполунгом, и шагать вот так, по приказу, выбирать рубеж и обдумывать бой.

Если б заранее мог представить Георгий, что это объяснение так начнёт раскачиваться, и он завязнет, заквасится тут, — да нипочём бы не начал.

Не привык Воротынцев такие вопросы разбирать, и не привык быть сам для себя предметом рассмотрения. Сколько он жил, сколько действовал, — внутри него не бывало разлада и сомнений: все трения, все противоречия — во внешнем мире, куда и врезался он как снаряд.

А что эта Зинаида имела в виду, зачем заставила инженера признаваться? Что ж, инженерова жена меньше всколыхнулась? Думала Зинаида на этом — инженера себе отрезать?

А, да ну вас! Когда заморачивают голову на мелких бабьих вопросах — отделись, уйди! Быстро-быстро, по холоду, против ветра, левой, правой, левой, правой, — и крепчаешь, и возвращается к тебе смысл.

Пошёл он «на полчаса», давно бы пора возвращаться. И «на часик» — так пора бы. А он — дальше.

Дорога по раменью обогнула целый лес — и вышла к станции. Вот как! Казалось, заперт в пансионе как в бутылке, совсем замлел, — а тут!..

И едва взяв пустой телеграфный бланк, ещё не надписав и адреса — Могилёв, Ставка, генералу Свечину, — уже был снова воин.

А текст: *телеграммой московскую квартиру вызови срочно официально Егор.*

А то ведь и из Москвы не вырвешься, уже похоже.

Круто-быстро назад. И с опозданием вспомнил: а что ж бы Ольде?.. Почему же ей не послал?

Ещё привычки нет. Ощущения нет, что теперь — всеми телеграфами, всеми почтами они связаны, что Ольда — есть у него! (Впрочем, в последний петроградский вечер он успел позвонить ей, что заедет в Могилёв, можно туда написать.)

Ольда — есть, а как будто и затмилась. За эти четыре дня — далеко, глухо отступила. Уже нет того горячего тока в серёдке груди, как она оплескивает... Уже надо усилие, чтобы ярко вспомнить.

Он весь — новый был с ней. А от него требуют — быть прежним.

Весь продутый от затхлости, от тяжкости, возвращался Георгий терпеливый, наклонный как можно мягче, любовней разговаривать с Алиной.

Но на первом этаже хозяйка, которую разбранила Алина за расстроенный инструмент, предупредила:

— С вашей женой плохо!

И — сразу ударила ему забытая утренняя её угроза!! То-то! то-то отпустила его так легко!

Он метнулся наверх, перепрыгивая ступеньки, — по коридору вихрем — дверь номера распахнута — горничная от кровати Алины:

— Уже лучше.

Алина лежала навзничь, бледная, одетая, только ворот раскрепощён, одна рука на грелке, другая на грелке, и грелка же под ступнями.

Был — сердечный приступ. Через два номера нашёлся доктор, он смотрел. Теперь ничего, проходит.

И горничная уходила.

Обронив папаху, на колени перед кроватью жены опустился Воротынцев:

— Линочка! Что с тобой? Как случилось?

И ласково гладил — по руке, по плечу, по лбу.

Бледность бескровия была в ней. И говорила она ещё плохо:

— Ты не подумай, что я что-нибудь... Само так схватило... Пошли мурашки по плечам, по рукам, стали кисти неметь... Я начала писать тебе вон... И не могла кончить, свалилась...

На столике лежала записка — гостиничный случайный листок, недоточенным двоящимся карандашом — и что за буквы! Изуродованные, перегнутые, как корчась каждая от боли, самая малая черта еле выписывалась немеющей рукой, не угадать алининого гордо-разбросчивого почерка:

«Жоржик, мне очень плохо. Ты не подумай, что я са...»

Думала, что умирает. И скорей писала ему, чтобы он *не подумал...*

Ненаглядная моя! Трогательная моя!..

Шинель — с плеч, и опять к ней, присел на обрез кровати:

— Тебе — лекарство дали? — (Кивнула. Детски-удовлетворённое выражение.) — Теперь лучше? — (Кивнула. Что за ней ухаживают, внимательны к ней.) — Бедная ты моя!

Гладил волосы ей, убирая со лба:

— Я никогда тебя не оставлю, ты не думай! Я — и не собирался тебя покидать.

Такая сжатость! Такая жалость! Такая теплота: дружок ты мой бедный, чуть я тебя не погубил!

Алина лежала с размягчёнными глазами и, кажется, даже счастливая.

58

И потом была она опять светла. И послушлива вернуться в город. В мягком рассеяньи возвращалась.

Но при подъезде к вокзалу — затемнилась. Предупредила:

— Не хочу домой! Домой — не могу!!

И даже озноб стал её бередить. Хмурые косые перебеги покатились по её лбу и щекам.

Она боялась удара перейти через порог своей обыденной квартиры? Через повседневный порог ей невозможно было перенести своё нынешнее уравновешенное, так трудно давшееся состояние: что-то должно было крахнуть. Контраст обстановки, это можно понять. Но что же делать? Не мог Георгий для семейного лада теперь навек завязнуть тут.

Ему самому не только не тяжко было переступить порог своей квартиры, но — тянуло туда: хоть один бы вечер за всю эту бестолковую поездку, как он любил,— тихий бы вечер, да посидеть дома, покопаться в милых ящиках письменного стола, кое-что найти, мелочи задуманные. Нет, видать не судьба. Свой же дом и не давался, как заговоренный клад.

Уехать бы в Могилёв сегодня же вечером? Никак не оставить Алину одну, никак, это видно. Ещё завтра ли отпустит? Вся надежда на телеграмму от Свечина.

Вот затеял, так затеял, ног не вытащить.

Но и по косым перебегам на лице жены понял он, что дома им вечер не просидеть, что-то взорвётся. С Алиной вот *такой* — это как с гранатой на боку, ослабив предохранительное кольцо. Хоть в кондитерской «Дези» пересидеть, два шага не дойдя, а не дома.

И вдруг придумал. В тот проезд Москвы, две недели назад, он бегло встретил на Остоженке подполковника Смысловского, артиллериста, который был с ним под Уздау, а теперь жил раненый в Москве и звал к себе в гости — неподалеку, на Большой Афанасьевский, там целое гнездо их, Смысловских. Так сегодняшний тягостный вечер и можно бы провести у них, а домой только заскочить переодеться.

И снова Алина посветлела, благодаря мужа за это продление. Снова была послушной, сильно похудевшей девочкой, как в минувшие зачарованные дни.

Всеволод Смысловский подтвердил по телефону, что — дома и рад, и даже ещё один брат его, Алексей, приехал с фронта и тоже будет сейчас. И сегодня как раз удобно, воскресенье.

Да, ведь воскресенье! Там, в пустоте пансиона, Воротынцевы и потеряли, какие дни недели.

Надела Алина шёлковые, шёлк по коже, туфли, алое с белым платье и современную, подходящую к обществу брошку: маленькое эмалевое изображение офицерского погона.

Смысловские жили близ Сивцева Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла — с нерусским портиком, колоннами, всё это маленькое, а алтарём уже в другой переулок, Филипповский. Занимали в приподнятом первом этаже старого дома восемь просторных комнат, окнами и в уютный Большой Афанасьевский и во двор. Здесь давно скончался их отец, тихо во сне отошла мать, выросли все семеро детей, четверо холостых жили и посейчас, а остальные приезжи-

вали гостить со внуками. Мебель тут наслоилась от жизни нескольких поколений и уважалась не по единству стиля, как у теперешних скоробогатов да адвокатов, и даже не по пользе для сегодняшних жильцов, а за одну лишь память — что и раньше стояла на этом точно месте.

Это было — как часто в старых московских переулках. А здесь удивлял только состав семьи: тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а — незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых, братьев. И как отец их, директор дворянского института для юношей, был математик,— так избрали математику и все пятеро сыновей, но, исправляя ли отход отца от военной традиции (точно как и Воротынцев), все пятеро кончали 1-й кадетский корпус в Москве, Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, и только Павел один не стал прямым артиллеристом, но преподавал математику же в Александровском училище, родном Воротынцеву. Все четверо остальных были хорошо известны в русской армии, Евгений — даже генерал-лейтенант и изобретатель новой пушки.

Встречал Воротынцевых самый младший Всеволод, охромевший от ранения (рана бы — полбеды, да второй раз открывалась сама, и не могли залечить), и самая старшая Елизавета, лет уже за пятьдесят. А у неё сидела — студентка университета, однако очень равно держалась со старой учительницей, оказалось — она не бывшая её ученица, но вместе они преподавали в бесплатной рабочей школе. Елизавета Константиновна всю жизнь всегда и всюду преподавала: детям бедных, детям соседей, племянникам, внукам, ломовым извозчикам, вот теперь рабочим. Наверняка не то интересное общество, которого хотелось бы сейчас Алине,— но лишь бы больше новых людей и текли бы вечерние часы благополучно.

Когда Воротынцевы пришли, студентка с горячностью рассказывала о борьбе против профессора Модестова, помощника проректора, а в его лице — против полицейских порядков, насаждаемых в университете. За неделю перед тем был уволен студент Маноцков, что-то не в порядке у него с воинской повинностью, и придрались. Но он и уволенный пробирался в университет на митинги. И когда в химическом институте, в аудитории, служитель Благов, унтер из пришибеевых, у троих выступавших нагло отобрал входные билеты — Маноцков геройски кинулся на него, взял за грудки, тряс и билеты отобрал! С тех пор за Маноцковым устроили настоящую охоту, искали всякого повода для провокации. И проректор Модестов, нисколько не считаясь с конституционными законами, университетской вольностью и просто общечеловеческой этикой, счёл возможным саморучно снять с вешалки пальто Маноцкова для установления по карманам, чьё оно!

Елизавета Константиновна так и головой закрутила, глаза закрывала, верить не хотела: *снять чужое пальто?!* Вот до чего доводят бесконтрольные самодержавные порядки!

А Воротынцева поразила, как при рассказе инженера Дмитриева о мятеже на Выборгской стороне, не сама суть событий, а — неохватность, неисчерпаемость России: куда ни поезжай, за тысячи вёрст, везде свои и свои толпы, свои новые непохожие заботы и забунтовки.

Сидели за обеденным дубовым столом, предлагалась ваза с большими яблоками, и Воротынцев с радостью увидел, что Алина взяла яблоко, обрабатывала его ножичком, отрезала ломтики. Слава Богу, ведь сегодня с утра так и не ела ничего, одним дыханием жива. Ну как-нибудь, понемножку, рассосётся, отвлечётся.

После этого студенты так были на Модестова злы, что поклялись его сместить. И когда он совершил новый акт произвола — в аудиторию в перерыве зашёл в пальто и в галошах,— разразился стихийный общий протест. Медики старших курсов приняли решение об общей забастовке — до полного смещения Модестова! Они бросились по аудиториям снимать студентов с лекций. Большей частью был успех,

студенты проявляли сознательность и солидарность. Однако в помещение юридического факультета прорваться не удалось: служители заперли все двери. Но самое возмутительное произошло на историческом факультете: профессор Сперанский отказался прервать свою лекцию и ворвавшуюся толпу студентов просто выгнал! А с лекции профессора Челпанова, ещё позорней, агитаторов прогнали сами слушатели с криками вроде: «Не хотим дураками расти!» И это — на историческом факультете, кого бы социальные проблемы должны, кажется, захватывать ближе всего! Вялая масса поддалась влиянию белоподкладочников.

Воротынцев — расхохотался. (Оглянулся на Алину — сдержался, чтоб её не оскорбить.) Он — представил, увидел, как разгневанный тот профессор шагнул на край кафедры, поднял десницу — и пересиленные его духом бунтовщики пятятся, пятятся, отдавливая друг другу ноги, и закрывают дверь. Вполне военный момент. Всё это басни — о силе толпы: толпа всегда тем слаба, что дух её не слит, рассогласован, и никто не хочет жертвовать первый. Ничего на свете нет сильней одиночного человеческого духа, ибо он, обреча себя на жертву, может держаться без трещины. Да тут и не о военной смелости шло, но перед левыми крикунами образованные люди трусят пуще, чем перед пулемётами.

Да это что, есть новости хуже: назначена жеребьёвка студентов 1-го курса, кто достиг двадцати одного, и на кого выпадет — заберут. А недавно накрыли нелегальное студенческое собрание, отобрали гектографированные речи Керенского, Чхеидзе, портреты Желябова, Герценштейна, листовки «Война и задачи социал-демократии». И двух самых замешанных — выслали!

— В Сибирь?! — ахнула Елизавета Константиновна.

— За пределы Московской губернии! Лишили alma mater!

— Простите,— поинтересовался Воротынцев,— а какие это задачи социал-демократии по отношению к войне? — Он, и правда, не знал.

Студентка посмотрела с презрением:

— Слишком общеизвестно. А кто до сих пор не...

Этот чужой полковник разбил всё настроение. Ещё рассказала, как недавно в актовом зале в грандиозной потасовке избили нескольких монархически настроенных студентов. И ушла.

С каждой минутой отлегало это сжатие вокруг пансиона и пруда, когда всё вдвоём, вдвоём, и весь мир на этом стиснут. Алина вполне нормально сидела среди всех, без жутковатой отречённости на лице. Вот — с естественным женским интересом спросила, как же ведётся хозяйство при такой необычной семье.

(Ну, вытягивай, Линочка, вытягивай.)

Ответ был удивителен: хотя есть и кухарка, и горничная, и время от времени — денщики кого-нибудь из братьев, семья Смысловских отличается тем, что с ранних лет и девочки и мальчики умеют стряпать, и даже братья изощрённее сестёр. И когда в ресторане понравится фирменное блюдо, то не выкупают у повара секрет, как это принято, но всматриваются, въедаются, и дома кто-нибудь из братьев готовит не хуже, значит — угадал.

Улыбки гостей.

— А Алексей ещё сверх того и пекарь.

Полковник? Как это может быть?

А он от Филиппова брал пекаря к себе в бригаду, обучить своего солдата чёрный хлеб печь, заодно и сам выучился. Алексей удивительно способный, сто ремёсел подхватит.

Всеволод, хромая, принёс графин и закуску. Они с Воротынцевым с первых слов признали подлинность друг друга и принадлежность к тому миру, после которого не очень-то ловко и рассиживаться в московской квартире. Между такими лёгкость — не с давна начинать, а

сразу о последнем, что верхним слоем написано по памяти, и даже фразы можно не кончать. Выпьем, ладно.

Лишь не спадала забота об Алине, и косился Георгий, как она с хозяйкой уходила, как вернулась. Хрупко, не интересно ей.

Вышел в столовую Павел. У него было здоровье слабое (грудь).

За чаем опять что-то поползли *общественные вопросы*, да пересыт был ими Воротынцев с Петрограда, только там говорили, от кого дело зависело, а здесь лишь сочувствие-сочувствие-сочувствие всему передовому и порицание-порицание-порицание правительству.

Старое дворянство, семья из одних офицеров,— а вот...

Алексея Смысловского Воротынцев не знал, но жену его, красавицу Елену Николаевну, дочь покойного командующего Московским округом Малахова, он видывал, любовался,— на японочку похожая, любила это подчёркивать, то вышивкой на платье, то рукавами кимоно, а на маскараде так и просто японкой. И сейчас ожидал удовольствия увидеть её.

Но Алексей пришёл — ворвался! — без жены. Просто — вбежал, как после каникул домой вбегает мальчик, а не лысый полковник под пятьдесят, вбежал всех обнимать подряд, и Воротынцева, знакомясь, обнял («слышал, слышал, как же!») и, кажется, только едва удержался обнять Алину. Роста ниже среднего, с сероватой удлинённой бородой волшебника, с радостно-радостно горящими глазами, он жадно осматривал всех, и комнату, на месте ли предметы, и что-то у сестры спрашивал, на месте ли...

— Даже крысиные трапеции вон, в кладовке,— не сдержала сестра улыбки, очень смягчившей её сухо-строгое лицо.

Оказывается, увлечения налетали и слетали с Алексея как порывы бури. Было увлечение когда-то — заниматься белыми крысами, и он в своей комнате завёл им клетки, переходы, и на трапециях они качались. Потом слетело увлечение, крыс забыл, и они передохли все. Да только ли? И переплетал, и фотографировал, и даже шил-вышивал, и не смущался, когда смеялись:

— Ремесло за плечами не тянет. А вдруг — в тюрьму попаду?

— Что за дикая мысль, почему — в тюрьму?..

Столярного инструмента полный набор (и по стенам и у стен — жардиньерки, полочки, шкафчики его работы); женясь, не забрал с Большого Афанасьевского, как бы признавая, что коренной непереездный дом — всё-таки здесь. Уже у самого было пятеро детей, меняла семья города и квартиры, а родное гнездо — здесь.

От его радостного взрыва, горячего приветствия, от его самодеятельной жизненности — наконец и Алина повеселела. (Как хорошо, что привёл её сюда! Вот это и надо: жизнь течёт — не застыть же и нам.)

Вспомнили мельком и Уздау и Ротфлис — далёкое-далёкое событие, почти как японская война. И как Алексей Константинович там стоял, стоял с Нечволодовым. А теперь о нём:

— Вояка — замечательный. Но монархи-и-ист! Национали-ист!

Впрочем, оказалось, и старший сын Алексея, Борис, уже офицер и год на фронте, тоже был и монархист, и националист, и недоволен отцом.

Вот так вот.

Тесть Алексея — генерал от-инфантерии Малахов, был мужественный человек. В 1905 году, командуя Московским округом, это он и восстановил в Москве развалённую жизнь, и на него дважды покушались террористы. А на зяте — никаких следов? Вот и Нечволодова припечатал.

Но делу время, потехе час, фронтовых разговоров Алексей не поддержал, а вот:

— Помузицировать бы?

Как, он ещё и музицировал?.. Да даже музыку писал и романсы.

Алина засияла, захотела послушать. К ней возвращались и непринуждённость, и осанка головы, и даже румянец.

— Да уж нет, лучше — Чайковского. Вот, Михаила жалко нет.

Так это сказал — «нет Михаила», будто не шла Великая война, и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился. Так сказал, будто первична и вечна — их семья, а остальной мир — как придётся. А дело в том, что расстраивалось трио: Михаил играл на виолончели, Всеволод вот уже скрипку нёс, хромая, а Алексей прискочил к роялю и вот открыл крышку.

Чайковского — тоже разные романсы есть, и упаси боже он бы затеял какой-нибудь из трагических, там «Снова как прежде один»,— вполне способна была Алина тут же при всех и разрыдаться (и укори её,— «После **всего**? удержаться не было сил!»). Но, следуя ли своему весёлому нраву или радости возвращения, или почувствовав, что́ гостье нужно, Алексей затеял клавишами беспечно-игривое, и сам же пел сочным баритоном, ещё подчёркивая интонациями шутку:

Если сторож нас окликнет —
Назовись солдатом!
Если спросит, с кем была ты,
Отвечай, что — с братом!

И Алина — заливалась, смеялась. И Воротынцев поблагодарил случай: и хорошо, что красавица-японочка не пришла: Алине нет соревнования, и она не видит других пар, не наблюдает чужой счастливой жизни, а — каждый сам по себе, очень подходящий дом, и ей весело, и вот уж она пересела переворачивать Алексею Константиновичу ноты.

Второй романс — опять игривый, Алексей успевал и петь и ещё всем этим романсом как бы обращаться к Алине, густыми выразительными бровями под лысо-зеркальным теменем:

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть...

Так-то так, славная семья, и какие разнообразные в науках, ремёслах и искусствах,— но почему, чуть коснётся государства,— повторяют так несамостоятельно кадетов да земгусаров?

Пятеро братьев — генерал, полковники, подполковники, и не ординарные, все учёные. Пятеро братьев! — кому бы и взяться? А вот — на кого из них положиться?

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет...

А может быть — так и надо? Жизнь — они все отдают. А — что ещё больше?

Теперь дуэт — рояль да скрипка. (*Ансамблы!* — вспомнил Георгий. Как раз то, что нужно.)

Попросили сыграть и Алину. Она села — прямая, торжественная, и сыграла бравурных три вещи подряд, с отбросами головы.

Её шумно хвалили, Алексей аплодировал, и вид у Алины стал такой, будто счастливей её и на земле нет.

Ну, всё наладится, всё наладится. На Воротынцева и самого этот подвижный смешливый лысый бородач подействовал встряхом: за эти пансионные дни мир нисколько не сузился, не зажался, и нельзя дать зажать себя. Тяжести, час назад безысходные, оказываются отчасти и придуманными. Что, собственно, случилось? Никто не умер, не заболел, не охромел, не окривел, как минуту каждую происходит на передовой, даже вот открытой раны на ноге нет.

Он смотрел, как у рояля Алексей читал Алине собственное стихотворение, Алина же подчёркнуто-внимательно слушала, приклонясь к пюпитру. От хозяйки принимал ещё чашку чая. Расположился и к молчаливому Павлу (молчит-молчит, а с Пржевальским вместе учебник написал).

Только бы безо всяких новых объяснений, без затяжки, без скандала завтра бы выскользнуть — и в Ставку.

Вот он и проехал столицы — и кого же он? и что же он нашёл?..

59

От Смысловских к себе домой им было недалеко: Царицынским переулком на Пречистенку, Всеволожским мимо своего штаба округа на Остоженку — и уже недалеко до дома. Один бы Георгий и за пять минут отшагал, но вдвоём и в их новой непростоте, когда Алина нарочно замедляла шаг (а Георгий умерял свой шаг к её, как она любила),— это было не быстро и не гладко.

Молчанье — тоже бы нагнетало, значит, надо говорить. А говорить — не знаешь что.

Ну, о вечере, конечно. Как что было. Отдельными фразами. С перерывами. Удивительная семья. Какой разносторонний Алексей Константинович.

Алина слушала. Молчала. Шла.

Вышли в Царицынский — что-то светлое прямо впереди увидел Воротынцев. Поднял голову: небо было в тёмных тучах, а узнавалось это потому, что образовался в них прорыв, глубокая скважина — с краями чёрно-махровыми, а стенками высветленными,— и виднелась через скважину ещё не сама луна, но забледнённый свет, как бы загадочный фонарь или глубокое окошко в тёмном замке.

Остановился, рукой задержав Алину:

— Посмотри, как!

Всегда бы Алина стала восхищаться, даже и с умилением в голосе — «ой, ой!», и стояла бы долго. А тут посмотрела холодно, ничего не сказала и сделала движение идти.

Пошли. Худо дело.

Ладно, вот уже Пречистенка. К ночной чайной стягивались извозчики, выстраивались вдоль Остоженки. Подсыпали коням в торбы, а сами, кнут в сапог, шли погреться чайком да перемолвиться.

В покое воскресного вечера раздался грохот — сперва дальний, вот нарастающий, тревожный. Это был военный грузовик и, конечно, пустой, с двумя солдатами в кузове. Он появился с площади, на повороте завернул с визгом, перед штабом округа раздирающе затрубил непоспешным пешеходам и извозчику и с тем же грохотом погнал в сторону Интендантства.

Эту теперешнюю московскую и петроградскую манеру гонять порожние грузовики (груженые шли медленно), лихо гонять, как если б успех войны зависел от их пустого подскакивания, уже несколько раз замечал Воротынцев там и тут. Гоняли тыловые солдаты просто по радости — во какие мы, во какая у нас теперь силища, р-расступись! Но начальство почему-то не сдерживало их. А у столичных жителей вызывала эта манера тревогу и раздражение, как будто опасное что-то готовилось.

Алина и головы не повернула, не заметила грузовика. Но головы — не опущенной, а с твёрдой посадкой на нерасслабленной шее.

Вошли во Всеволожский, и как не заметить опять, что впереди стало совсем светло: весь небесный замок как сдунуло, ничего не осталось — и сама открытая луна, уже менее, чем полная, уже стала с правого боку ущербляться,— привольно плыла в лёгких светлых облачках.

Эту самую луну молодым месяцем ему показала Ольда...

— Ну посмотри! — не удержался он, хотя похоже было, как будто он заговаривает погодой.

Но она еле глянула, в этот раз и не остановясь.

Да к концу же Всеволожского наползла когтистая чёрная лапа — и захватила луну.

— И дуэт у них какой милый. Подумай, даже трио.

— А — как я сегодня играла?

Ну да, промахнулся, с этого и надо было начать. Отвык, забыл Георгий, что всегда надо замечать, что́ она играла и как.

Да ещё б ему не нравилась её игра! От первого знакомства что и полюбил он в ней первое! Всегда — безусловно нравилась. А вот сегодня — что-то, что-то царапнуло. Ну, можно сказать «замечательно», можно сказать «как никогда», но давит притворство в мелком, неужели не честней говорить всё, как думаешь. Вот поддержать этот стиль отношений, эту чистую полную откровенность, так внезапно возникшую в пустынном пансионе? Ощущение — как разогнуться. Что-то царапнуло — о том теперь как можно дружественней, девочка моя, ведь обоим будет душевно проще.

— В игре братьев, знаешь, что особенно приятно? Их манера держаться. Они ведь очень недурно играют. Но вместе с тем отдают себе отчёт, что и не гении. И держатся с этакой полушутливой домашностью. Как бы сами над собой посмеиваются и просят извинить их за несовершенство.

Проходили под фонарём и видно было, что Алина прихмурилась.

Не продолжать? Но к чему тогда начато? Только как можно мягче:

— А ты... У тебя вот этой шутливости нет. Ты садишься уже всем видом как мастер, целиком отданный игре, и предполагая, что все погружаются в слушанье.

— Да! — вскинула голову Алина. — Потому что я очень *серьёзно* отношусь к музыке. Потому что это ж и з н ь моя!

Сейчас, от дальнего фонаря, было хуже видно, но голос Алины стал глухо отрывист.

Ещё мягче:

— Всё верно, Линочка. Но требование вкуса заставляет и в серьёзные минуты выказывать свою непритязательность.

Алина сбилась с ноги, заволновалась:

— Это новость! Ты находишь, что у меня не такой *вкус?* До сих пор наши вкусы, кажется, во всём совпадали, на этом мы и жили согласно.— Голос Алины металлизировался.— А теперь у меня уже не такой вкус? Это — после Петербурга?

— Да ни при чём тут Петербург, это бывало и раньше. Ты за собой, Линочка, не всегда замечаешь, а у тебя бывают иногда такие суждения... уверенные... При гостях иногда так неснисходительно что-нибудь...

Ах, сорвался! Языком не закончишь, никак не вытянешь... И зачем затеял, всякие мелочи вспоминать? Оставалось додержаться несколько часов, до телеграммы Свечина.

— Нет, это после Петербурга! — как бы ласково уговаривала Алина, положив ему руку на шинельный отворот. — Сознайся, это *теперь* ты видишь, раньше такого не было.

Они совсем сбились с ходьбы, он подвигал её за руку вперёд.

— Да ни при чём тут Петербург... Ну, сейчас — после Петербурга... А вообще после...

Алина и сама пошла быстро, не влекомая. Заговорила с лёгкой отрывистостью, как бы сеча наискось:

— Слушай, неужели это такая замечательная женщина, чудо-женщина, что в несколько дней переменила тебе все взгляды? Открыла тебе новый вкус?

Георгий не приня́л ответно тона раздражения, но и смолчать не сумел, как же молчать, если в лоб спрашивают:

— Ну, вообще... от всех людей, с которыми мы в жизни встречаемся... Не именно от неё... Но в чём-то и от неё...— (А внутри ток заливал его при всяком воспоминании об Ольде, даже не упоминании.)

— У неё — одни достоинства? Она — высокообразована, гениальна? Кроме истории она легко разбирается и во всём остальном? Но на рояле она всё-таки не играет!

Они уже переходили Остоженку у своего дома. Небо — тёмное. Темнела церковка, задвинутая меж домов. Но газовый фонарь бросал достаточно света и на середину улицы. И видно было, как Алину передёрнуло страданием от подбородка до виска. Боже, что он опять наделал, дурак, олух!

Перед ними перед самыми, обрезая, прокатил с запрокинутой лошадиной головой, с колокольцем, лихач на дутиках, везя важную барыню в огромной шляпе.

— А я — ничтожество, да? — с допытом, срываясь на крик, спрашивала Алина посреди улицы, как будто хотела и требовала подтверждения.

Он уводил её, уводил на тротуар и молчал, теперь уж молчал, а получилось опять хуже. Но не подслуживаться: нет, ты сверкающе талантлива.

Они уже и были у своего парадного. Поднимались по лестнице. Молча. В свой дом, но сами не свои. На второй этаж. Молча. На третий.

Ах, совсем не нужный, глупый разговор.

— Ты прости меня, Линочка. Я этого не хотел. Я, конечно, и близко того не думаю, ты же знаешь. Я только... О-о, телеграмма... Мне. Из Ставки. Неотложный вызов. Непромедлительно прибыть... Вот так-так... Придётся ехать. Вот неожиданно. Ты прости меня, Алочка...

Телеграмму она как и не поняла, как не видела.

Помогал ей снять пальто — вырвалась из него, как если б оно горело.

Через маленькую их столовую кинулась в свою комнату. Но тут же вернулась, зажгла в столовой большой свет, в прихожей подошла к мужу, едва отстегнувшему шашку, ещё с нею в руках. И напряжённо:

— Дай я на тебя посмотрю! Дай я на тебя посмотрю!

Необычайное неизрасходованное пламя рвалось из её глаз. Где была та завороженная покорность, будто не в полном сознании? Где была та ипостась горько-достигнутого духовного свечения?

Зачем — «дай посмотрю»? Он не успевал понять. Она хочет особенное что-то выкинуть, непонятно что.

Смотрела она — смотрел и он. И кроме явленного раскала, пожесточавшего выражения — он видел и горький перекат на её тонкой беззащитной шее. Она была совсем не похожа на саму себя — но он-то знал её саму! и жалость острая этого беспомощного переката уколола его. И хотя уже просил прощения — за что он её обидел, ни с того, ни с сего? — снова протянул руки, взял за локти — повторить уговорчивей, распространённей...

А её лицо — удлинилось, как-то угордилось. И она усмехнулась с презрением:

— Сравнивай, сравнивай! Если она действительно большая личность — не будет она подругой серого офицера, неудачника!

Взяла свои локти назад, повернулась на каблуке, ушла к себе. И слышно заперла дверь.

Задумался, как был, ещё в шинели. Это сказано правдоподобно, да.

Снял, повесил. Задумался: подругой? А что из его взглядов когда-нибудь разделяла или не разделяла вообще Алина?..

Ну, что? Стучать вослед, лебезить? Просил прощения, хватит.
Потушил свет в столовой. Все света.

Ладно, выспаться хоть последнюю ночь, не прислушиваться ко всхлипам, шёпотам, не уговаривать.

В кабинете на диване растянулся. Выкурил папиросу.

Утро вечера мудреней.

И так глубоко спалось, без видений. Так беспробудно, даже при перевёртах.

Проснулся — не рано. Не подскочил сразу, ещё долежал в полной тишине.

Даже удивляясь тишине.

Но уж сегодня — ни за что не оставаться. Какой бы поворот ни придумала. Хоть бы на пороге схватила и кричала. А может, пока она спит,— тихо, не завтракав, выскользнуть, да на первый поезд?

Встал на цыпочках. И — в чувяки, сапогами лишнего не скрипеть.

Но из столовой в спальню Алины дверь была нараспашку. А в столовой — всё, как вечером, ничего не сервировалось.

На середине стола к наклонной фотографической рамке, где Алина снята в широкой шляпе, был прислонён белый лист.

И почерком фигурным, с прихотливыми выбросами, как кометными хвостами, а теперь урезчённым:

«Я презираю себя, что унижалась, терпела и хотела твоей ласки в этом убогом пансионе. Это подобно — кровосмешению!..»

Выходы вверх и вниз — как твёрдые стебли, а на них посажены буквы. Но стебли совсем не тверды, Георгий-то знает, хотят казаться, хотят быть твёрдыми ещё пять минут, а сами еле держат лепестки слов:

«Четыре дня назад, уезжая из нашей квартирки на озеро, я воображала себя единственной и несравненной. И вот—возвратилась *худшей из двух*?.. И ты смеешь нас с р а в н и в а т ь?! И будешь теперь на каждом шагу?»

И как же тихо ушла. Первая. Перехитрила.

Пошло между ними на хитрость.

Да не вечером ли она уехала, когда он только заснул? Не всё:

«Еду в Петербург посмотреть на твою красавицу-интриганку, ещё стоит ли из-за неё кончать с собой? Не догоняй меня и дома не жди — хочу, вернувшись, тебя не видеть!»

Ого! А как же она найдёт?.. А хотя, а хотя... закружился по комнате, не в себе вокруг стола, всей спиной поводя: история... высокообразованная... о, сколько ж он лишнего проговорился... Ещё и найдёт?..

На телеграф? Телеграмму Ольде? Предупредить?

О чём? Что — нарушил, назвал? в первый же день предал имя? и теперь — жди обвала на голову?

Да не найдёт! Да не сразу! Остынет, не пойдёт.

Вереньке? Чтобы перехватила безумную, если сможет?

Но она к Вере и не явится. И что поделает Вера с такой?

Забегал по квартире. Жгло.

У неё в спальне — ящики выдвинуты, переворочены, два платья свалены на нестеленную кровать.

И скомканная крупная бумажка на полу.

Тем же почерком, размашисто набирающим ярость:

«Ты думал, нашёл покорную дурочку, да? Но у меня е с т ь в ы х о д! Ты увидишь меня ещё в таком бле...»

Зачёркнуто. Брошено.

А вот и вторая, скомканная, откинутая к окну:

«А из-за к о г о у меня сорвалась музыкальная карьера?»

О-о-о... Водя Алину вокруг пруда и шейку ей закутывая от ветра, рано же он рассудил, что всё обойдётся...

Гнать опять в Петербург, самому? А Ставка? а полк? Уже сроки перепущены, засюсюкался!

Но: вчера она вряд ли успела уехать, уже не оставалось поездов. А сейчас ещё рано.

Вот что! Вот что: Сусанна Иосифовна сама назвала ему свой телефон, зачем-то.

И, шинель на сорочку, едва ключ не забыв и дверь не захлопнув, он кинулся к лестничному телефону вниз.

Она. Как женские голоса нежнеют по телефону.

— Сусанна Иосифовна! Не удивитесь, пожалуйста, и снисходительно простите мою бесцеремонность. Может случиться так, что Алина Владимировна появится у вас в эти часы...— Догадался: — Или, может быть, уже у вас?..

Там заминка.

Очевидно — там, да.

— ...Тогда я вас очень, очень прошу, хотя безо всякого права... Вы имеете на неё доброе влияние. Если она намеревается ехать в Петербург — помешайте ей, отговорите... Из этого не вышло бы беды... И для неё самой...

На той стороне пауза. Потом — сдержанно, но дружелюбно:

— Хорошо, Георгий Михалыч. Я попытаюсь.

Ну, умница! Ну, прелестная женщина! Хорошо и надо, чтоб она — с Алиной рядом.

Хватит, обабился!

На фронт!

НЕ ВСЯКУ ПРАВДУ ЖЕНЕ СКАЗЫВАЙ

ДОКУМЕНТЫ — 4

29 октября 1916

КН. Г. Е. ЛЬВОВ — М. В. РОДЗЯНКЕ

Председатели губернских земских управ, собравшиеся в Москве 25 октября для обсуждения продовольственного дела... Правительственная политика дала свои роковые плоды... Все распоряжения высшей власти как бы направлены ещё больше запутать тяжёлое положение страны... Созрело сознание, что стоящее у власти правительство не в силах закончить войну с соблюдением истинных интересов России. Мучительные страшные подозрения о предательстве и изменах перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление наших государственных дел... С негодованием отвергая всякую мысль о бесславном мире... Председатели губернских земских управ пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти правительство, открыто подозреваемое в зависимости от тёмных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведёт её по пути гибели и позора...

60

Когда в газетах напечатали указ об очередном призыве ратников 2-го разряда, с 25 октября, Роман Томчак ослаб в своей качалке, и ноги, как подрезанные, потеряли силу толкать её или подняться. Уж е г о-то теперь, тем более, должны были забрать неминуемо.

Ослабла в нём всякая воля к защите. Сгорбясь и с головой, сваленной вперёд, он замер в последнем своём убежище, в качалке.

Так и застала его Ирина: маленького, чёрного, скорченного, пле-

шью вперёд и с газетою на коленях. И не от него, но из газеты — поняла.

Все эти годы Ирина густо стыдилась, что муж её не на войне. Хотя были и другие экономисты такого ж возраста, от тридцати до сорока,— младший Мордоренко, Никанор, или младший молоканин, но те оба были при деле, сами вели большое хозяйство (а молокане освобождались и по убеждениям). Роман же в 38 лет при своём неутомимом крутом отце ни на касание не был допущен к хозяйству — да и не тянулся, высиживал войну в экономии, с редкими поездками в города.

А прошлым летом, в самое тяжёлое время русского отступления, когда изнывало орино сердце от русских потерь и от страха, что́ будет с Россией, ещё и попалось ей в газетах о смертном подвиге медицинской сестры Риммы Ивановой — ставрополки же, что особенно поразило Орю: кончала та Ольгинскую гимназию в Ставрополе, рядом с их пансионом, и даже годами моложе Ори, а вот... Перебиты были все офицеры её 10-й роты, и тогда Римма Иванова сама повела в контратаку нижних чинов, захватила вражеский окоп, убита,— и посмертно награждена Георгием 4-й степени.

Хотя и до этого потрагивала Оря свой винчестер и проверяла неубывшую меткость своей стрельбы, и до этого рисовала в воображении, как бы бесстрашно вела себя на войне, но тут потянуло её вдесятеро. Оря так почитала ту Первую Отечественную, в подробностях по картинкам знала её, никогда и не предполагала сама угодить в такое героическое время,— и вот распростёрлась, грозно тянулась Вторая Отечественная, а не находилось места Ореньке у армейских костров, или с партизанами, или со старостихой Василисой. Все заботы её с цинерариями, цикламенами, японскими хризантемами, с перебором восьми десятков висящих, никому не нужных нарядов,— отбросила б она радостно для неиспытанной бодрой героической жизни на войне! «Ромаша! — говорила,— пойдём на войну!» — «Ты что, хочешь моей смерти?» — «Ну, пусти меня одну.» — «А что ты там будешь делать?» Ирина ясно представляла: стрелять. Живо и нестеснённо видела себя в военной неприхотливости, даже в шароварах, лёжа на земле или сидя на дереве, как её любимый Натаниель Бумпо,— и в ту жизнь без сожаления вырвалась бы из своего надоевшего безделья, даже если бы Россия и не была так угрожаема. (А если бы не угрожаема, так и никогда б ей не вырваться.) Но ужаснуть мужа предполагаемым видом своим она не смела: «Я буду сестрой милосердия.» — «Чтоб ты с офицерами мне изменяла?»

Этого-то он не думал, конечно. Он знал, как прочно она воспитана, из-под руки отца под руку мужа, до того лишена всякой отдельности, что даже билета железнодорожного никогда не брала, не знала, где и как; не отлучится в город без казака или горничной; не наденет платья безрукавного; тотчас покинет компанию за столом, если кто покажется мужу слишком пристален; Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин. Подозренья он не имел, наверно, но как снести двойной позор: жену отпустить без себя, а самому сидеть дома?

Вступила она было в Общество Четырнадцатого Года — тоже звучало трубами и напоминало Двенадцатый. Присылали ей разные билетики и брошюрки, приглашали в Екатеринодар на заседания (Роман ни разу не пустил). Потом определилось, что Общество будет бороться с немецким засилием в России. Доброе дело! Ирина давно страдала от этого немецкого засилия, ещё прежде войны изумлялась она, до каких же пор немцы будут править Россией? Но теперь, как Общество ни боролось с засилием, — всё по-прежнему в иллюстрированных изданиях каждый пятый генерал, офицер, сенатор или член Государственного Совета носил немецкую фамилию, а с этой весны и во главе

России откровенно стал Штюрмер — позор какой! победил-таки Вильгельм с помощью царицы!..

Тогда стало бороться Общество с немецким землевладением. Но никто, разумеется, и пикнуть не смел против их могучего соседа по экономии, богатейшего на всём Северном Кавказе барона фон-Штенгеля. А принялись теснить и цель имели разорить и выселить рядовых немецких колонистов — аккуратных умелых колонистов, тоже их соседей, у кого так много перенимали Томчаки от устройства бычьего хлева и до прачечной: обручные лохани на колёсиках подкатывались под краны, на бортах лоханей крепились валики-выжималки, и бельё сушили никогда не на дворе, а на ровном сквозняке крытого этажа.

За колонистов Ирина заступилась, и из Общества её выключили. Смеялся Роман. Сам он ни в какие такие игрушки не играл. По всей России кипел Городской союз и Земский (впрочем, на Кавказе земства не было) — он над этими деятелями тоже посмеивался, сидя в качалке с газетами. Деятельность серьёзную, а не мелко гавкать о земгоре, предполагал Роман возбудить лишь после войны.

А теперь, подрезанный ещё новым указом о призыве, понял, что просчитался: такой нескончаемой войны не пересидеть, надо было предохраниться в Земгоре. 27 месяцев её уже прошло, но от того она не мягче заглатывала, и даже одного ещё полного месяца не нужно было, чтобы там погибнуть.

Теперь Ирина целовала мужа в лысину и подбодряла: ещё — возьмут ли? а возьмут — не так быстро, можно что-то быстрее сделать кинуться. Конечно, самое бы прямое и простое — войти в хозяйствование экономией. И всё. Будет Ирина просить, умолять,— но отец... отец и для жизни сына не согласится! А несправедливо как, ведь у Романа к хозяйствованию большие способности, просто он не развивает их. Как он метко предсказывал иногда, что́ в этом году будут покупать на отхват, что́ надо сеять, — и сбывалось. А какой это сезон он у Федоса Мордоренки арендовал на Гулькевичах пять тысяч десятин, засеял лён, почти не виданный в здешних краях, и всё угадал: урожай и спрос по осени, ездили экономисты смотреть-удивляться. И ещё повторил год, опять с успехом, — и тут же бросил, и бросил опять-таки вовремя: подражатели уже не продали хорошо. Он — всё может, если бы взялся!

Напоминание об его же успехе со льном влило Роману сил. И правда, он же талантливый человек, что ж он падает духом? (Всегда у него так: от неприятности — полоса чёрного упадка.) Обстоятельства душат — надо изобретать и действовать!

Ирина же подала и мысль: выступить на *совещании*. В воскресенье 30-го октября собиралось в их доме невиданное совещание всех соседей-экономистов. Раньше собирались только на именины да в карты играть, а теперь и тут придумали, как везде по России,— «совещание». Очень смеялся Роман над той затеей — «как у умытых!», говорил, что даже на первый этаж не спустится к ним. Но теперь — схватился. В самом деле, чем глубже хозяйства увязали в военной обстановке, тем больше проблем. Он не хотел в них путаться, его деньги в банке, но сейчас, с его способностями, развитием, языком, да ещё ж по постоянной трезвости среди этих распущенных свиней, были шансы выделиться на первый план. Получить от совещания полномочия на переговоры с другими такими же группами экономистов, с Екатеринодаром, Ростовом, — начнётся бурная деятельность, разъезды, всем нужен, и уже ни о какой мобилизации... Верно, Ирочка, верно, моя золотая, дай я тебя в губки...

С того часа Роман как обновился: тут же побрился, посветлел, вместо халата сюртук, уже вскоре спустился в контору, где давно его не видели, требовал книги, задавал вопросы приказчику, конторщику, это была суббота, а в воскресенье из конторы не вылезал, а в понедельник с мухортеньким управляющим проехался по полям и к сосе-

ду их Третьяку, во вторник сидел у себя на верхней веранде, писал и считал.

Такой необыкновенной деятельности не мог не заметить старый Томчак. И — не поперечил, не гаркнул, не запретил из конторских книг выписывать, да даже — не спросил, зачем? Сам сын объяснил: не в хозяйство вмешивается, готовит *доклад*.

Сроду такого слова Захар Фёдорович языком не вымеливал, разве что доклад портному дают на пошив. Но читал в газетах, что министры царю доклады делают. И ещё — учёные господа на учёных сборищах. И вот, не в своей привычке, не вмешиваясь и не указывая, сел в конторе за пустой стол, о палку опёрся и молча следил, как сын его готовит доклад, о чём у служащих допытывается. Но — в какую сторону доклад пойдёт, не спросил.

И Роман был доволен. Присутствие отца ему не мешало, а пусть видит, что такому сыну всё можно доверить, *у этого не вырвется*.

Именно в эти дни, когда Роман стал такой подвижный и деятельный, а весь двор и дом суетился, готовясь к парадному приёму, старый шумливый Томчак стал тихий совсем. Ни на кого не цыкал, не кричал, распоряжался тихо, коротко, никуда не ездил, а с палкой своей любимой суковатой медленно ходил. Старуха забеспокоилась, не заболел ли. Служащие притихли, боясь особого вида гнева. Но нет, старик — задумался. О задумьи том никому не высказываясь.

Так и в конторе сидел он, из-под мохнатых бровей поглядывая, как сын на удивленье работает. Такого бы сына да с такой работой — ему бы десять лет назад, да десять лет подряд, и тогда б он ему спокойно дело передавал. А — не зараз. Подлащивалась Ирина, понял Томчак, что к чему, и знал про ратников. Да только *дело,* разогнанное аж ещё с Кумы, с Маслова Кута, а на Кубани уже двенадцатый год, на две тысячи десятин, с торговлей до Харькова и до французов, дело было огромадней самого Томчака и не могло соломкою разостлаться, чтоб сыну не хряпнуться больно. Дело это имело свой отдельный ход, катилось уже не по родству и не по семейности, в него были втянуты многие люди, и выходил большой товар для России, оно уже как будто и не было томчаково личное, и отдать его в неверные руки Томчак был просто не волен, скорей удушиться бы. Имея бы сына путёвого, Захару Фёдоровичу в 58 лет отчего б и не польготиться, не поволить с отдыхом? Так, понемногу бы наглядывал, а больше бы читал Жития Святых, може и в монастырь Киево-Печерский съездил бы помолиться, а то и в Палестину. Но с э т и м сыном твёрд был Томчак держаться и не разомкнуть аж ещё хоть двадцать лет. Уступил он невестке Ксенью, або на тот год кончит и Ксенья, тут её и замуж скрутить. Да за двадцать лет вырастить внука, якого трэба. О тогда и Жития Святых читать. А цей сын — нехай хоть и с германом идэ воюе. Усэ ему в руки давалось, крутил поросячий нос.

(Только в самом сокрытьи сердца: а может — пошлёт Бог и ещё поправится сын?..)

Роман горячо готовил свой доклад. А в канун, когда уже все цифры имел, а в доме пыхал самый угар приборки и готовки, никуда уже больше со своего верха не сходил, старому же лакею Илье велел обед принести к себе на веранду, как больше всего любил: бумаги с ломберного стола пока собрать, вот лакей с важностью трепыхнул крахмальной скатертью, вот несёт стекло, серебро,— нигде и ни с кем так хорошо не пообедаешь, как с собой наедине. Никем не подгоняемый, ни на какие беседы не отрываемый, весь во вкусе еды, есть время и повод припомнить подобные же вкусовые сочетания: в ресторане «Европейской», в Баден-Бадене... Наедине можно и выпить рюмочку-две, даже с рюмкой перейти в спальню к большому зеркалу: «Ваше здоровье, господин депутат!» Русские потому гибнут, что пьют с горя, а надо пить — только с радости, и понемногу.

По спальне есть где пройтись под приятным шумком, она же — и зимний кабинет, она же и библиотека. Половина — книги Ирины, половина — Романа. У неё — в переплётах каких придётся; а все свои, несколько сот, Роман велел переплести в одинаковые чёрные, там Пушкин или Гоголь — стоят все как одно собрание сочинений, и золотом вытиснено на всех одинаково: на корешке — Р. Т., а спереди полностью: Р. Томчак. Сильное впечатление, штук шестьсот стоят книги одна в одну.

Да, в Пятой Государственной Думе его радикальная программа ошеломила бы всех. Самодержавие урезать — до игрушки почти. Во-вторых, административными методами довершить философскую работу гиганта Толстого: разгромить Церковь! Отнять у неё все капиталы, все земли, это имущество только дремлет и задерживает общий ход,— обратить церковь в придаток, там крестины, панихиды для желающих, и всё. В-третьих... Да ведь один всего не перевернёшь, надо создавать партию деловых людей, какой в России нет. Вот такая наша дремучая азиатская нерасчленённость, что главной деловой партии — и нет, а колотятся какие-то кадеты, чуть в сторону — уже социалисты.

Вошла Ирина в высоком фартуке, раскраснелая и счастливая:

— Ну, как у тебя дела? Ничего не надо?

— Дела прекрасно. Ты знаешь, я даже говорю: и хорошо, что грянула гроза, я проснулся! Я даже думаю, от этого совещания начать некоторое движение, сперва чисто-хозяйственное и только на Кубани, но потом оно... Поставить властям некоторые жёсткие условия. А поскольку мы их кормим — им придётся принять. Да ты-то обедала?

— Где там! Если в кухне в жаре стоишь, всё пробуешь... Завтра у нас будет, знаешь, не считая закусок, но со сладкими — десять блюд!

— Ну-у-у!

— Нельзя же опозориться. Такое событие. Да и твой дебют.

— А ещё что я думаю — насчёт автомобиля.

Знала она, горело у него, что в прошлом году ни за так, по автомобильной повинности, отобрали у него ролс-ройс, стоивший 18 тысяч, — и попал он к великому князю Николаю Николаевичу, переведённому на Кавказский фронт, а может быть и для генерала просто, не проверишь. Да эти годы Ирина умоляла Романа не заводить автомобиля, не дразнить людей.

— А теперь я думаю, если начнётся деятельность... Не поверить ли торговому дому Борей: продают только английские автомобили и будто с удостоверениями, освобождающими от реквизиции?

— Как хочешь,— улыбалась Ирина — тому, что он энергичен, каким она любила его, и хорош с нею.— Я, ты знаешь, всегда предпочту рысаков. Но тебе, если пойдёт, как ты думаешь, конечно скоро понадобится автомобиль.

— Ты прелесть, — поцеловал её в розовую горячую щеку.

— Я ещё приду с тобой посоветоваться, что надеть завтра.

— Приходи-приходи.

И умна Ирина. И предана. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий — лучшей жены не придумать, — все любуются, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота — а чего-то, чего-то нет нутряного живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б э т и м одним владела ты, голубушка,— не надо бы ни всех твоих мудростей, ни винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года.

А вот общественная деятельность естественно потребует теперь многих отдельных от жены поездок.

Ирина же, после свидания с ласковым мужем ещё счастливее, спешила в ледник — как там поставили пирожные, и в погреб к соленьям, и снова на кухню. Давно она не была так полна обязательной, не самопридуманной деятельностью. В пансионе их всех учили готовить, ибо без этого нет хорошей жены. Но в экономии Томчаков делать

что-то по кухне выглядело бы унизительно для её положения, и обидой для свекрови, и недоверием к прислуге: часто присутствуя, нельзя было не видеть, как все откладывают впрок себе и своим, а те поварихи замечали, что Ирина заметила. Так богатство лишало Ирину простой кухонной женской радости.

Не то — последние дни. Сейчас она готовила весь церемониал, и как будет убрана столовая, где что расставлено, что за чем подаваться, и сама решала и опробовала весь состав меню со всеми подливками и гарнирами. За военные годы несколько поскудели их возможности, иного чего уже не было в запасе и достать нельзя,— но ещё избыток и преизбыток! Была нехватка и в подсобных женских руках — часть женской обслуги заменяла постоянных рабочих, теперь взятых на войну, и экономка оставалась только одна — и по дому, и по двору, и без буфетной девки,— тем напряжённее доставалось сегодня всем, и тем нужней ощущала себя Ирина, особенно при фаршировке птицы.

От обычных сборищ экономистов завтрашнее совещание отличалось тем, что ожидались лишь сами хозяева, без жён, без дочерей, и Ирина со свекровью будут единственными женщинами за столом. Но вдруг возникло у них: а не вздумает ли приехать старуха Дарья? От этого многое изменилось бы, начиная с рассадки.

Хотя старуха Дарья, вдова Фомы Мордоренки, всё хозяйство уже разделила между тремя сыновьями, да и сыновья уже имели взрослых детей, однако власть её так была велика, что сыновья и по сегодня перед ней отчитывались, и могла она захотеть приехать-послушать и даже выразиться. Ещё крепче держала она прислугу: вся та жила без своих комнат, спать ложилась вповалку в мраморном вестибюле, а личная прислуга — у хозяйских порогов, на полу. Старуха Дарья была непреклонимой силы, и даже армавирские власти перед ней заискивали. Как-то пропало у неё в конторе 500 рублей, вызвали из Армавира пристава и двух полицейских с ищейкой. Дворню выставили в круг, вывели ищейку из конторы, все стояли и дрожали. Порыскав, собака подошла к конторщику Аврааму и стала лапами ему на плечи (да ведь чей же запах и мог быть в конторе?). Высокий хилый конторщик побледнел, пристав тут же несколько раз ударил его. Потом нагрузили на него мешок кирпичей и за 18 вёрст послали в Армавир. Там били и допрашивали, а пристав сидел у старухи угощаясь, и по телефону справлялся, как идёт допрос. Сперва дал показание конторщик, что спрятал в амбаре, потом — около сортира, и Дарья гоняла всю прислугу копать. А тем временем конторщик от побоев умер. (Прошло несколько лет, и одна дарьина невестка, рано умирая от чахотки, призналась: «Это мне — за Авраама. Деньги тогда — я взяла.»)

Но где-то и обрывалась дарьина власть. Овдовевший сын привёз себе вместо жены — шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.

Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно, но этим собирательным отвратительным словом «шасонетка» она обозначала и припечатывала всю категорию непорядочных женщин, разбивавших семейные устои. Припечатывала, уничтожала, знать не хотела и даже помнить бы не хотела — но кем-то однажды рассказанная эта сцена, как та встречала гостей, так и въелась, так и держалась в памяти, всё возвращалась и тревожила: одно трико под кружевами шантиль! Мороз...

Ещё надо было решить, что надеть завтра. Женщин не будет, значит строго. Жакет по талии с отделкой из каракульчи.

Ещё надо было в прачечную, где на особом гладильном столе, сбитом под необъятные иринины пододеяльники, сейчас старшая прачка гладила тюлевые занавеси для парадного зала.

Только уже при конце заката Ирина, усталая, вышла на свою обычную вечернюю прогулку — через парк.

Стояла, для позднего октября задержавшаяся, тёплая ласковая погода, как бывает южной осенью — безветренная. Если б не осыпь листьев да не ранний вечер, её даже осенью назвать бы нельзя, почти как лето, шла Ирина в шерстяной блузе, и было даже жарко. И росы не было.

От гледичии стлались по первой кривой аллее широкие крупные фиолетовые стручки.

Ещё не спущенный овальный водоём рябил кругами от упавшей веточки, а потом эти круги, отражённые от бетонной стенки, причудливо накладывались, и верхи деревьев покачивались в них; кое-где ещё не опавшие чрезмерные платановые листья и свешенные длинные жёлто-зелёные как будто странные чьи-то уши.

При начале сумерок быстро меняют окраску серебристые гималайские ели. Мрачнеют. И вдруг мелькает в них крупная какая-то птица.

А если через ели оглядеться на дом — в обоих этажах уже зажигаются огни, разных оттенков от абажуров и занавесей. И вот так, гуляя, можно вообразить, что это — не твой дом, не ваш, такой комфортабельный, но уже и надоевший, где известно о каждом предмете, лежит он или висит, о каждом человеке, что он сейчас делает и скажет, — нет, завлекательный дом неких неизвестных рыцарственных людей высокой души, где течёт жизнь благородная, светлая, достойная, о которой и в редкой книге можно прочесть.

На крайней каштановой аллее было светлей. Крупные каштаны в ёжистых оболочках лежали несобранные под ногами.

Каштановая аллея переходила в сводчатый коридор китайских акаций с цепочками ядовито-зелёных плодов, и там опять было темней.

Здесь, на закатном краю парка, постоянно гуляла Ирина вечерами, переходя из света в сумерки, из сумерок в свет. Она фантазировала о йогах, о теософах, о переселении душ. Она очень даже допускала переселение душ — и из восточных понятий что-то красиво прилегало к христианской истине, и всё вместе воспринимается лишь как разные ипостаси красоты. Оря любила помечтать, кем она была *раньше*, кем будет *потом*. И — дотронется ли до звёзд, прежде чем перевоплотится. Она любила думать о красоте вздрагивающей, несбываемой, суженной не тебе, а душам свободным.

Небо чистое, нигде не порозовлённое ни облачком, переходило в тихую ночь, готовое к проступу звёзд, Млечного Пути, и скорому всходу полной луны, уже на убыве, каждый день забирающей влево.

Убывало света — и заметней пробивали костровые огни из разных мест. То сжигали по всей степи бодылья подсолнуха на поташ. Рук не хватало, и сдвигалась недоделанная работа в осень и в ночь. Благодатная Божья скатерть — степь, и в эту войну нескончаемую, сюда не слышную и не видную, всё так же отдавала неуменьшенные дары человеку и только просила не забывать её руками.

Если сейчас посмотреть с балкона второго этажа — степь увидится в разбросанных этих кострах. И вдруг — так тревожно привидится: будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь.

(Продолжение следует)

Поэты Сербии, Македонии, Черногории

«ПЕСНЯ СОЛУНЬСКОГО ФРОНТА»

...Осенью 1915 г. сербская армия, оставив Белград, отступала на юг под натиском превосходящих австро-германских сил. Вместе с армией уходила и часть гражданского населения. В январе 1916-го через горные перевалы северной Албании они вышли к Адриатическому побережью. Затем остатки сербских войск и беженцев были переправлены на греческий остров Корфу.

...Осенью 1918 г. войска союзников прорвали Салоникский фронт и вступили в Македонию вслед за отступающими армиями центральных держав. В авангарде были сербские части.

Эта песня, навсегда вошедшая в сознание народа как «Песня Солуньского фронта», долгое время была запрещена в новой Югославии как «прославляющая великосербский шовинизм». Недавно она вновь зазвучала на улицах Белграда.

...Осенью 1988 г. в Югославии была выпущена кассета «70 лет со дня прорыва Солуньского фронта».

Там, за горами...

Там, за горами,
От моря в стороне,
Мать и отец ночами
Помнят обо мне.

Там, за горами,
Средь желтого жнивья,
Осталось село родное,
Осталась любовь моя.

Вновь без отчизны далекой
Брожу по Корфу я
И восклицаю снова:
Живела Сербия!

Там, за горами
Снова расцвел пион.
Сербское знамя
Скоро увидит он.

Путь будет долгим,
Может, паду и я,
Станет последним вздохом:
«Живела Сербия!»

Вновь без отчизны далекой
Брожу по Корфу я
И восклицаю снова:
Живела Сербия!

АЛЕК ВУКАДИНОВИЧ

Родился 13 сентября 1938 года в Миловаце возле г. Печ.
С 1959 года живет в Белграде.
Книги поэзии: «Первое безумие», 1965; «Дом и гость», 1969;
«По следу добычи», 1973; «Далекие домочадцы», 1979.
А. Вукадинович выступает также как литературный критик.
С 1972 года принимает участие в работе 3-й программы Белградского радио (актуальные вопросы культуры и искусства).

Безумный дом

Вода, зашипев, обнажила дно.
Благое слово, где же оно!
Упал в бессилье грома раскат,
Огонь отпрянул в страхе назад,
Мир, ставший миром безликих лиц,
Застыл в провалах пустых глазниц.

Ревел Вселенский водоворот,
Безумье сея средь чистых вод,
Снега мечтали забыться сном,
И в гости к гостю ввился дом.
С кромешной тьмою смешался свет...
Покой желанный принес рассвет.

Под крышей дома в то утро пели
Северный ветер и семь свирелей,
Чеканный, тяжкий звон приближался;
А дом безумный лишь пробуждался,
Когда, надежды рассыпав в прах,
Тревожный голос пропал в горах.

В росистых каплях увидя розы,
Знай: это были не наши слезы,
Весь блеск вчерашний один каприз,
С вершин низвергнув, обрушил вниз;
Сладкоголосый смолк соловей,
А луч кружился среди теней.

Пейзажные переливы

Бедный дар печальной тризне —
Трепет неба безответный,
Вечный дом, где в недрах жизни
Скрылся смерти час заветный.
Сон далекий синих пашен —
Капля горькой крови нашей.

Дом: картина празднеств вешних,
Светлый час рожденья мира;
И грядущая опасность,
И равнин пейзаж унылый.
Сизая тропа змеится,
И гостей мелькают лица.

Гости: сумрачные тени,
За безумным домом тает,
Страх при первом приближенье
Замирающего шага.
Жизнь в знаменьях неотвратных,
Вновь пейзаж в лучах закатных.

Бедный дар печальной тризне —
Трепет неба безответный,
Вечный дом, где в недрах жизни
Скрылся смерти час заветный.
Сон далекий синих пашен —
Капля горькой крови нашей.

ЗВОНИМИР КОСТИЧ

Звонимир Костич родился в 1950 г. в гор. Земуне. В 1973 г. окончил филологический факультет университета в Белграде, а в 1978-м защитил диссертацию на тему «Братья Карамазовы» и книга Иова», получив степень магистра. Живет и работает в Белграде.
Книги поэзии: «Родословная», 1970; «Конь с распоротым брюхом», 1974; «Богумильские песни», 1981.

Конь с распоротым брюхом

Может, и ты любовалась конем, вороною красою, —
Злой жеребец, розоватой обрызганный пеной,
Как он по утренним росам прошел к водопою,
Эхо далекого грома прошло по Вселенной, —

Древним конем земледельцев, крылатою статью,
Предком восточных чудовищ, конем меднобрюхим —
Черепом детским украшен и адской печатью,
Вскрыла, как поступь жандармов, зловещи и глухи.

Слушай, о женщина, звездное конское чрево,
В нем беспощадных клинков ледяное дыханье,
Топот набегов и пепел сожженных посевов,
Водоворотов и омутов черных стенанья.

Слушай, о женщина, темные конские недра,
Мчатся наездники, ветер степной обгоняя,
Стелются гривы волной океанскою щедрой,
И в исступленье безумец поводья роняет.

Конь вороной, уходящее черное пламя,
Пил родниковую влагу и пасся на горных отрогах,

Пегий скакун пестрым смерчем промчался над нами —
Гладкая кожа сияла, как месяц двурогий.

Вот он с распоротым брюхом бежит меж вагонов
И, уходя в облака, красный след оставляет,
Конь давно мертвый, давно ставший пищей воронам,
Он исчезает, который уж век исчезает.

МИЛОСАВ ТЕШИЧ

Родился 15 ноября 1947 г. в с. Лештанское (западная Сербия).
Окончил гимназию в Титово Ужице,
филологический факультет Белградского университета (по специальности — сербскохорватский язык и литература Югославии) и аспирантуру.
Живет и работает в Белграде.
Научный сотрудник Института сербского языка АН Сербии.
Печатался в журналах, поэтических сборниках.

В память о посещении Сокол-града

I.

Трещина в сердце башни цветет бузиною,
В прах осыпается фресок пыль золотая;
В тучах серебряный месяц скользит блесною,
Тянется с плеса ворон-рыболовов стая.

В шелесте клевера слышится скрежет стали;
Звон колокольный, секущие ночь копыта.
В каждом осколке мерцают иные дали —
Даль предрассветная мглой ледяной повита.

Звон колокольный в урочище тает диком.
Кельт бородатый поднялся в высоких травах,
И тетива, зазвенев, оборвалась криком.

Тени, опять вы уходите с петухами,
Вот уже поле в пионах, в огнях кровавых...
Лишь очи мертвых как звезды горят над нами.

II.

Знойное лето янтарной слезою стало,
Каплей дождя, что ночами шумит в руинах,
Конница турок спускается с перевала;
Пал молочай по отрогам, камыш — в низинах.

Скрылось солнце — златое исчадье ада,
День умирает, в объятиях змей тоскуя,
А сквозь проломы, сквозь щели бойниц прохлада
Сны навевает, и в снах утопает туя.

Что это! Боль! Гиацинтовый всплеск багряный!
(Факел, погасший в сиреневом страстном стоне.)
Темные бреши зияют смертельной раной.

Шарит по площади ветер клюкой... А нивы —
Тучные пажити черные топчут кони;
Задрал подол у безумной плакучей ивы.

III.

Крыльями перепел сумрак в поле стряхает,
В каменных кольцах змеиных пажит поляна,
Дятел Завет свой в лесную скрижаль врезает,
Вторит лягушек хор с влажной гряды бурьяна.

Вспыхнут ущелья в первых лучах горицветом,
Тьма черным мхом уползет назад в теснины,
И разливается утро свинцовым цветом:
Вижу на жатве горбатые смердов спины.

Может быть, мысли сегодня вспорхнут, как птицы,
Жарким огнем опояшут терновник бедный,
В хрупкий бессмертник сумеют ли воплотиться!

Капало воском. Вновь под орлами плыл трибун...
Смолк обессилевший голос эпохи медной,
Вдоль дороги — Achillea millefolium *.

МИОДРАГ ТРИПКОВИЧ

Черногорский поэт. Родился в с. Быстрица возле Колашина в 1947 году.
Учился на философском факультете Сараевского университета
и филологическом факультете Белградского университета.
Книги стихов: «И в вечность кануть», 1970; «Последний журавль», 1985.
Миодраг Трипкович живет и работает в Титограде.

Вороны

Очнешься, вздрогнув; сон растает —
На проводах воронья стая.

Поднимешь руку для знаменья —
Ан уж исчезло наважденье.

И ни души в ночи не слышно,
Лишь грязный след ведет по крышам.

Куда они сквозь дни пустые
Летят голодные и злые!

В каком теперь возникнут месте,
Кого сразят недоброй вестью!

Ликует черное их племя:
Лихое наступило время.

И в вечность кануть

Помнить далекие земли и страны,
Счастья без грусти оставить,
Пить с губ росу на зеленых полянах
И в вечность кануть.

Глянуть, смеясь, на гуляк захмелевших —
Пусть они в бешенстве встанут,
Вновь разразиться смехом нездешним
И в вечность кануть.

Видеть, как в сумерках по полю мчится
Рыжий табун словно пламя,
Все позабыв, навсегда с миром слиться
И в вечность кануть.

Спящих поднять из холодного склепа,
Тяжкий отбросив камень,
Дать им взглянуть на бескрайнее небо
И в вечность кануть.

Гордо стоять перед жизнью всесильной,
Смех ей даря на память...
Ненавистью захлебнуться бессильной
И в вечность кануть.

---

* Тысячелистник (лат). Поэт обыгрывает символичность названия цветка, вызывающее и ассоциации и слово miles — «воин», «солдат» (ср. mille unit)—(«тысяча», «множество»).

АЛЕКСАНДР ПОПОВСКИ

Македонский поэт. Родился в 1932 г. в Ново Косово (недалеко от Приштины). Образование получил в Скопле и Любляне. Живет и работает в Скопле. Автор ряда стихотворных сборников, детских изданий. Стихи А. Поповски переводились на сербскохорватский, словенский, итальянский, словацкий, русский, румынский, албанский, турецкий языки. Сам он переводит со словенского и русского.

* * *

Набатом звенит сегодня тревожная эта песня,
набатом средь дней бессильных и уходящих,
как смутные виденья, как трепетные тени;
набатом средь дней безумных и доброго не сулящих;
предупрежденьем о мятежах грядущих.

Набатом звенит сегодня тревожная эта песня,
набатом средь дней постыдных и люто-алчных,
когда грабитель не в силах собрать добычу;
собрав же, не знает, куда с ней теперь податься.

Набатом звенит сегодня тревожная эта песня,
набатом средь дней абсурдных, необъяснимых;
и солнца смычок по натянутым светлым струнам,
дрожащим и рвущимся в ветхих оконных рамах,
скользит средь суровых будней.

ВАСИЛ ИКОНОМОВ

Македонский поэт (р. в 1945 г.). Автор нескольких книг поэзии. Живет и работает в Скопле. Публикуемые стихотворения взяты из самых первых сборников В. Икономова: «Журавли в огне» (1967) и «Мертвые ходят босыми» (1969).

Галлюцинация

Акация, море и молния,
Белое, синее, желтое.
Речные глаза в озерах,
Свет лампады в иконе.

Ночь разноцветная.
Кони, ставшие мясом.

След на песке полустертый.
(Мертвые ходят босыми.)

Если ты любишь Скопле

Если ты любишь Скопле,
Подбери с тротуара его пожелтевшие листья,
Выдави из них последнюю каплю уходящей любви —
И увидишь,
Как, превратившись в гранитную дымку утра,
Она обретает под твоими пальцами очертания
каменного цветка.

Если ты любишь Скопле,
Ваятелем стань.
Пусть твой резец в каждом сердце высечет осень.

Если ты любишь его парки и скверы,
Сохрани в своих глазах рассветную свежесть их песен,
Чтобы вечером выткать ее на багряном ковре,
покрывающем дальние склоны.

Если ты любишь Вардар,
Стань гондольером.
Пусть с твоих губ срываются белокрылые чайки,
Челн свой направь в Ее сердце, в цветущую заводь...
А после,
Туманным утром,
Засунув руки в карманы,
Звонкий шаг зарони в просыпающиеся недра кварталов.

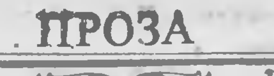
Если ты любишь в сумерки бродить по набережной,
Ты непременно встретишь там печальную девушку
с росистой пыльцой на ресницах.
Утешь ее, подари ей цветок из груди своей
И увлеки в прозрачную бездну осеннего танца...
Следы ваших ног сразу же похитит подметальщик улиц,
Но еще долго эхо будет терзать мостовую.

Если ты любишь Скопле,
Ступай за мной —
Я покажу тебе место, где деревья склонились
над самой оградой,
Мы заберемся в парк и нарвем еще не родившихся хризантем...

Если ты действительно любишь Скопле,
Приходи — я буду ждать тебя у причала.

С сербскохорватского и македонского.
Переводы И. ЧИСЛОВА.





ПРОЗА

ЮРИЙ ЛОЩИЦ



МАРЛЕВАЯ ЗАНАВЕСКА

РАССКАЗЫ

ВОТ И ВСЕ

Они приехали к нам в деревню солнечным утром, вскоре после Петрова дня, человек двадцать веселых разновозрастных мужиков. Тут были, как выяснилось, и наши соседи — нестеровские, и маркинские, и даже симские. Выпрыгнув из кузова грузовика, они первым делом попросили напиться. Я принес от колодца свежей воды, и они, довольно покряхтывая, тут же осушили все ведро. Потом, в течение дня, они еще несколько раз приходили пить, но уже не все сразу, конечно.

Главным у этой ватаги был крупный краснолицый человек с генеральским брюшком. Внешность, впрочем, вполне бригадирская. Попади вот такой человек в любое людское сборище где-нибудь на краю света, тамошнее начальство, вышедшее для знакомства с только что прибывшими, непременно возле него остановится и укажет пальцем:

— А бригадиром у них будешь ты. Ясно?

И он выдавит из себя «да» и чуть наклонит голову в знак согласия, как будто эта договоренность между ним и начальством заранее разыграна. Хотя договоренности, естественно, никакой нет, а просто он знает прекрасно, что от своей внешности, как и от судьбы своей, никуда не деться.

И вот теперь этот главный (потом я познакомлюсь с ним поближе и он, точно, окажется бригадиром в нестеровском отделении совхоза) первым стал разматывать перебинтованное тряпицей полотно косы, первым принялся править ее лезвие, первым ступил с дороги на край луга, и коса его равномерно и сочно зашаркала в сырых подопрелых корнях высоченной травы.

Остальные продолжали весело галдеть, стоя в кучке, как будто им дела нет до его упражнений. Но вот один из них, затолкав тряпку-обмотку в карман, а брусок сунув в парусиновый чехол, болтавшийся сбоку на поясе, ступил на луг. Через четверть минуты то же сделал и третий, так эта кучка раз от разу и убывала, сдвигаясь по дороге правее и правее, зато на лугу полуклин двигавшихся вниз, к реке, косцов вытягивался все стройней, и когда последний, замыкающий, поплевав на ладони и весело кивнув нам, выступил на луг, первый был уже далеко внизу, в темно-зеленом русле пересохшей старицы, на поросшем осокой и волчьей травой кочкарнике, и до реки ему оставалось метров сто, не больше.

Двадцать пышных валков удлинялись у нас на глазах. Косцы действительно напоминали журавлиный полуклин. Мерными взмахами одолевали они сопротивление высокой, по грудь, а то и по плечи каждому, травы, и свободное, вразнобой, мелькание кос с коротенькими остановками, чтобы несколько раз чиркнуть по лезвию бруском, сообщало их движению, их череде ту мгновенно возникающую и тут же исправляемую неправильность, которая так волнует нас в прощальном пролете птиц.

Головной косец уже исчез за прибрежным бугром. Наверное, будут у реки отдыхать, решили мы. Но вдруг он объявился почти там же, где исчез, и за ним шевельнулась над стеною травы голова второго, затем третьего... Клин развернулся и шел теперь на нас, в гору. Вот они поравнялись — вожак и замыкающий, — вот уже и весь клин перестроился, идет безостановочно как раз под наши окна, только кепки взмелькивают над травой. Я взял в сенях пустое ведро, эмалированную кружку и снова отправился к колодцу.

Пробившись к дороге, осунувшиеся, запаренные, тяжело дышащие, они, однако, и теперь не стали отдыхать, а перебредали один за другим мимо колодца — на правый бок широкого коридора, прорубленного поперек луга. И опять потекли вниз, пролиновывая накрененное к реке пространство земли новыми темными валками.

С каждым очередным своим заходом они как бы раздвигали луг все шире, обнажая его волнующе чистую поверхность, трогательные подробности низинок, взгорков, земных складок, кротовьих кочек, — все то, от чего уже отвыкли глаза за месяцы травогона.

День — такие вызревают только в июле — дышит густым печным зноем и засушивает на лету остатки комарья и оводов. В струях марева темные фигурки косцов зыбятся, пропадают. Не проходит и двух часов, а они уже принимаются ворошить самые первые, обсохшие и зоголубевшие сверху валки.

Появляется на лугу конная упряжь с сидящим на высоком железном креслице подростком. Старинные конные грабли, еще, должно быть, довоенного образца, посверкивают дуговидными металлическими зубьями, и когда парень нажимает ногой на педаль, высвобождают вороха подобранного сена. Медвяный дух травных мощей наносит порывами ветра на жадно распахнутые деревенские окна. Может быть, ради одного лишь этого запаха крестьянство и тянет свои дни от лета к лету, от века к веку?

Не помню уже, в котором часу косцы свалили траву на противоположных концах луга, но под вечер, перед тем как они принялись стожить сено, наша немногочисленная деревенская ребятня вдоволь накувыркалась, напрыгалась, наигралась в прятки в пышных, пьяняще-душистых завалах и такой подняла ликующий ор и визг, что, казалось, вся эта тяжелая работа была затеяна с утра лишь для того, чтобы ребятам вдоволь побеситься.

Солнце оседало к западу, но еще припекало изрядно, когда ватага, разделившись поровну, принялась выкладывать два продолговатых стога. Если б я сам не видел этого, ни за что бы не поверил, что с нашим чернокуловским лугом можно управиться всего за один день и что кос-

цы, в пору нашествия всевозможной сельскохозяйственной техники, еще способны сбиваться в такие вот большие и ладные дружины. Но, правду сказать, подобной ватаги после того дня я никогда уже и нигде не видел.

В сумерках они развели костер на дальнем конце луга, над Сухим Вражком. С того взгорка хорошо, должно быть, видны весь прибранный, неузнаваемый теперь луг и два венчающих его новорожденных стога. Они стояли насупленно, напоминая о чем-то древнем, первобытном. Отражали своими боками подрагивающее зарево костра, и к их подножиям уже подкрадывался от реки теплый, сухой, как дым, туман.

Среди ночи от костра доносило на деревню говор, смех, невнятные огненные сполохи, обрывки песен. Грузовик увез их от нас, кажется, только под утро. Темный круг от костра к осени поблек, а на следующее лето затянулся травой.

Вот и всё.

ДЕРГАЧ

С ярославской электрички он сходит в тот самый миг, когда последнему углышку солнца пора пропасть за темным далеким ельником. Но воздух еще светел, и ласковые лица встречающих женщин и детей излучают вечернее тепло.

Он сходит не на платформу, как все, а через левую дверь. Так ему быстрее. Прыжок. Тугой рюкзак больно дергает его за плечи. Свежий неслежавшийся гравий трещит под ногами. Надо переступить через одно полотно, потом другое и третье, вдыхая горячий запах шпал, дразнящий новыми путешествиями, и тогда, подрезав дорогу, оставив в стороне шлагбаум, можно будет скорее дойти до последней избы, где он в прошлый раз кинул велосипед. Лишь бы хозяева-старики не спали, неудобно их будить, если уже легли.

Велосипед скучает в полумраке порожней овечьей хлевушки. Согбенный дед еще ниже кланяется, благодаря за столичную колбасу и свежий белый батон. Ну, нет, какие деньги! Гостинец...

Он сметает с седла и руля сенную труху, с удовольствием выводит подрагивающего, застоявшегося дружка на свет, встряхивает, нажимает сверху, проверяя, не спущены ли шины, потом пробует их пальцами. Все же немного ослабли за две недели, нужно подкачать. Пока, присев на корточки, возится с насосом, руки его, открытые до локтей, и лоб, и шею густо облепляют комары. Он покорно сносит щекотание и щипки: значит, так нужно, пусть поубавят в нем дурной крови, испорченной городским угаром.

На первых метрах езды он с отвычки вихляет рулем. Но вот приноровился к тяжести рюкзака и полетел, врываясь в загустевающие к ночи слои сладких полевых запахов. Дорога самая прекрасная: твердо, сухо, ни единой лужи, и слуху приятен хруст песчинок под тугими шинами. И пыли еще нет. И податливый наклон грейдера — все вниз и вниз, так что три версты до басмановской колокольни можно мчать, почти не нажимая на педали.

Напротив древней шатровой церкви, опутанной серой паутиной полусгнивших реставрационных лесов, начинаются островки недовыбитой еще сельской мостовой, и тут езда медленная, тряская. Село отходит ко сну, тихо на улицах, нежилой печалью отсвечивают стекла, только за чьим-то огородом стреляет и чадит в голубой полыни мотоцикл.

Под мостом между темными скользкими сваями что-то всхлипывает в змеящейся кудели водорослей. И его охватывает легкий озноб, потому что ехать еще далеко и не так теперь быстро, как поначалу. Впереди лес, глухая граница двух областей, кинутые на произвол судьбы, искалеченные, всегда безлюдные дороги. Но и эти жесткие глиняные ко-

леи, пока не свернул проселок в лес, пытаются развеять его тревогу, обдавая снизу теплом и светом, впитанным ими за день.

В лесу ни одна пичуга не пискнет, только поскрипывают раздражающе седло и педали, да еще дыхание его, громкое и запышливое, доносит, кажется, до самых кабаньих лежанок... Странное дело, сто раз ходил он и ездил этим лесом, и зимой, и с мая по сентябрь, и ни разу не выбрел на него зверь, ни разу не повстречался человек. Но лес это лес, пять тебе годков от роду или тридцать пять. Неуютно во влажной этой духоте, в колдовской темени, набрякшей поверх непросыхающих колдобин. И не дают покоя слова старых песен о разбойниках, что караулят добра молодца не за ближним ли кустом; не зря же унылые те песни звучали по соседним деревням испокон веку. И что-то надрывное от их слов шевелится до сих пор в густом настое лесного воздуха.

Но вот, выдоху облегчения подобное, открывается впереди поле. Все шире и шире оно с каждой минутой езды, будто сильная птица несет его в колыбели из залесных чащоб в южнорусскую степь. Полдороги позади, а по настроению, так и больше. Теперь езда ровная, без грязи и кочек, только старайся — дави на педали. И снова заря видна, бледноватая, и сразу заметно, как далеко продвинулась она украдкой к востоку.

Тут, говорят, был когда-то аэродром. И правда, ехать можно прямо по траве, ни единой рытвинки, но по колее все же быстрее, и он предпочитает колею. Минут через десять дорогу с середины поля круто относит к мысу старого соснового бора. Но это лишь на миг и лишь для того, кажется, чтобы ошеломить ночного сторожкого ездока жарким духом созревшей земляники. Одолев песчаный взгорок, он въезжает в овсы и мчится в ангельском шелесте по пробитой грузовиком поперек поля мягкой, устланной коротенькими стеблями колее. И вот оно — далеко внизу воскурилось туманами темное лоно реки, и над ним — смутные купы громадных деревенских ветел. Снова несется он под уклон, не работая совсем ногами, и дышит глубоко и ровно, и поет про себя неведомую миру молитву.

А теперь еще немного поскрипим педалями на склоне горушки, а с нее круто-круто вниз, к лугу, прямо-таки со свистом, лишь под самый конец притормозив слегка, чтобы при повороте на дервенскую дорогу не выкинуло в бурьян. Луг, седой, дремучий от росы, еще некошеный, встречает его монотонным простуженным скрипом дергача, этим нирваническим любовным зовом, который в иные времена его раздражал, а теперь вдруг почти до слез трогает. Если птица поет так самозабвенно, хоронясь где-то в луговой сыри, прямо напротив его избы, значит, у них тут все хорошо, ничего не случилось за эти полмесяца.

Спрыгнув с велосипеда, он поднимается от дороги по крутой тропке к дому. Одно окно распахнуто, комариный табунок, нежно вызванивая, тычется носами в марлю. Он негромко стучит в раму, чтобы не испугать детей, и глухо произносит ее имя. И почти тут же различает, как она, всхлипнув, всполошилась со сна, скрипнула кроватью, пошлепала босыми ногами к двери. Он спешит к порогу, слышит, как она нашаривает в темноте и отодвигает деревянную дверную задвижку. Пригнувшись, входит к ней в сени, и она, — совсем как та дорога, как тот земляничный бор, — обдает его блаженным сонным теплом. Забыв снять рюкзак, он притягивает ее к себе, теряет голову, как будто впервые в жизни прикасается к ее телу — к этим маленьким застенчивым грудям, к этому круглому, как в начале беременности, животу, к ее тонкой, как у девочки, талии, к этим добрым бедрам, к этой ее светлой ночной рубашке, просторной и длинной, до щиколоток, пахнущей липовым цветом. И целует ее в пресные губы, потом в жаркую мочку маленького уха, в невидимую морщинку на шее.

— Ну вот, я и насовсем... в отпуск... Ребята не болели? Погоди, дай сниму рюкзак.

— Ой, слава богу, — шепчет она и крестится в темноте. — Мы так по тебе скучали.

— А я?

Он снова обнимает ее, и они перестают дышать в поцелуе.

— Погоди, — смеется он — Давай посмотрим помидоры. Они все, наверное, помялись. У меня не было твердой коробки.

Она зажигает керосиновую лампу, расшнуровывает рюкзак, вытаскивает свертки, шуршит газетами. Он садится на корточки рядом и целует ее в светлый уголок плеча, выше загара.

— А я слышу: дергач скрипит. Ну, думаю, значит, у них все хорошо.

— Ой, он тут у нас каждую ночь старается. Такой смешной. То сам, то дуэтом, с подружкой... Колбасу в сенях нельзя оставлять, кот соседский опять сожрет.

— Подожди! — поднимает ее под мышки, целует в нос, в скулы, в подбородок. — Нет, скажи, ну почему ты у меня такая трогательная.

И она, как всегда в этой игре, отвечает:

— Не знаю. Почему?

— Потому что... потому что мне всегда хочется тебя трогать, трогать и трогать.

Он стискивает ее в жадных руках, слышит сквозь поцелуй, как она украдкой, тихонечко босою ногой расчесывает комариный укус на другой ноге. И вдруг, смеясь, говорит ей:

— Знаешь что? Накинь пальто, обуй сапоги и пойдем этого дергача искать. А то мы с тобой так и умрем, и никогда его не увидим.

ОБГОН ЛОШАДЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(ШУТКА-ФАНТАЗИЯ)

С моим стародавним знакомым, директором Заозерского семхоза, мы едем осматривать озимые. Предупреждаю сразу, что Федот Федотыч (сам себя он величает: Федот да не тотыч) пользуется в округе славой шутника и неутомимого фантазера.

— Рожь нынче вымахала! — кричит он мне чуть не в ухо. — Петра Великого с головой накроет.

И гогочет самодовольно.

Рожь, что и говорить, высоченная. Колосья то и дело цепляют нас за плечи, хлещут по щекам, хотя сидим высоко, повыше, чем на газике. А кое-где уже и повалились хлеба, вкривь и вкось разметанные ветрами. Зрелище это впечатляет былинной какой-то удалью, напрашивается на язык зачин стихотворения: «Рожь полегла, что пьяная...» Когда-нибудь допишу.

— Самая пора косить! — орет ликующий Федот Федотыч. — За Берсеньками уже начали.

Полюбовавшись при въезде в Берсеньки на целую рощицу ветряных мельниц, дружно сверкающих полупрозрачными стрекозьими крыльями, мы проносимся деревенской улицей. За нами бежит в пыли счастливая босоногая малышня и очумелые дворняги. И вдруг директор заваливается на спину и грозно кричит прыткому Прогрессу:

— Тпр-р-р-у, одержимай!.. Стоять, раскоряка чертова!

И — дивное впереди зрелище. Влекомая полудюжиной рыжих волов, на гребень холма важно выкатывает молотилка. По бокам ее и сзади валом валит ярко-пестро одетый деревенский люд.

— Куда это они? — спрашиваю.

— А вон, видишь, справа, у леса — стан. Уже опахали и паровик доставили. С новенькими солнечными батареями. Сейчас подвезут первую арбу снопов, и начнем освящение жатвы.

Мне страсть как хочется посмотреть этот их обряд освящения жатвы, но мы вкатываем в низинку, и тут лукавый распаляет меня побочным любопытством — относительно какого-то странного знака, прибитого за кюветом к столбушке. Что-то он мне очень и очень напоминает, причем, кажется, недавно виденное. Тьфу ты, да это же самый обыкновенный «кирпич», белый «кирпич» в красном кругу. Только прибит к столбушке как-то диковинно: «кирпичу» лежать положено, а этот зачем-то на попа поставлен.

Мой спутник снова вынужден придержать жеребца.

— Старье, конечно, — объясняет он несколько сконфуженно. — Но пришлось вот приспособить. Потому что, как ты помнишь, дорожные знаки перестали штамповать где-то на исходе Технического Перегрева, в самый канун Возвращения Блудного Сына.

Я, признаться, таких эпохальных событий не знаю и не помню и потому еще шире распахиваю рот от изумления.

— И для чего, ты думаешь, держим? Тут у нас возле Беклемишева проживает на дачах несколько почетных академиков — историки, работают как раз по эпохе Перегрева. Два чудака выхлопотали себе в облисполкоме право держать вместо лошадей личные автомобили. Мол, «чтобы лучше чувствовать колорит изучаемого периода». Ха-ха, ишь хитровань какая! Ну вот, наш местный эколог, Енкевич— да не пялься, знаешь ты его, это у которого домашний крокодильчик теще икру отхватил,— га-га-га! — так вот Енкевич эти автомобили арестовал. Предисполкома наш с трудом уломал его: «Ну что ты,— говорит,—взъелся на старичков, дороги они тебе не разобьют, и ездят ведь не на бензине, на чистой воде, так что и атмосферу не попортят».— «А лошадь? Да при виде таких чудищ у лошади может быть шоковое состояние, а это и на потомстве отражается, и кумыс теряет целебные свойства. Я,— говорит,— соглашусь, если только будут введены самые строгие ограничения для этих реакционеров и консерваторов. А не то пожалуюсь министру экологии Стрижову»... И ведь настоял на своем. Обрыскал всю область, в каком-то краеведческом музее раздобыл дюжину гаишных знаков, приколотил их к столбам. Этот вот, к примеру, означает что бы ты думал? «Обгон лошадей запрещается!» Га-га-га!.. А есть еще такой: «Опасный участок. Возможна миграция автомобилистов». Старички вначале дулись, пробовали жаловаться в Академию наук, но сам Онегов их не поддержал, а на Главпочтамте даже штрафанули их за обременение почтовой связи избыточной перепиской...

— Чудеса! — пожимаю плечами. — Одного не возьму в толк: когда это вы успели такой табунище завести? Я ведь еще помню, твоего последнего мерина, Корреспондента, цыгане умыкнули.

— Ну, Корреспондента мы, положим, отбили, — рубанул воздух кнутовищем Федот Федотыч.— Прямо у ворот мясокомбината настигли перекупщиков. А табун? Медленно, ой как медленно его собирали. Это ведь не осетры, даже не поросята, одно жеребя в год, и баста. Хорошо еще, мой ветеринар Урнов заране смакитрил, года за два до кутерьмы сиганул к терским казачкам, пошарил по станицам и привел мне табунишко племенных лошадок. А теперь вот сами рысаков продаем западным демократиям. Нынче весной сельхозобщине имени Николая Тряпкина, — слыхал, может, есть такая под Флоренцией, — двух славных жеребчиков всего за бочку оливкового масла, можно сказать, почти задаром уступили. А братец вот этого Прогресса, чтоб ты знал, по кличке Прохиндей, подарен все еще туманному в социальном плане Альбиону. Учит политграмоте тамошних аристократических кобылок... га-га-га!.. прости старика за грубый крестьянский юмор.

Между тем мы уже поднялись в горку. Прогресс всхрапнул, учуяв по близости своих породистых подруг, глазам нашим открылась наплывающая, как бы сквозь струи марева, картина предпразднества. Даже не поймешь, на что это больше походило: на какую-то великую ярмарку или на тро́нчное гулянье. Жарким полыханием нарядов обдало наши лица, роились сдержанно-взволнованные голоса. Люди оглядыва-

лись на своего председателя, улыбались, напоследок перешептывались, приосанивались...

Но тогда от полунощной стороны, от неба, будто покрытого мурашками предгрозья, отделился другой звук, низкий, угрюмо-беспокойный, неумолимо прибывающий.

— Но вот мой последний вопрос,— поежился я, дослышав гул состава. — А как вы поступили с железной дорогой? Да-да, с железной дорогой как таковой?

— А очень просто,— хмыкнул председатель, хотя в глазах его я уловил сквознячок растерянности. — Взя...

Ответить мне он уже не успел. Я лежал с открытыми глазами, в полной темноте, разбуженный, должно быть, первым же звуковым толчком только что включенной на ферме электродойки. Лежал, холодея от стыда.

Но почему, за что этот всегдашний стыд, когда просыпаешься и слышишь, что уже начали доить коров? Или когда в городе спросонья услышишь плач детей, которых матери тащат в детсад, а они упираются?.. И если это стыд ложный, в чем я себя стараюсь убедить, то почему же он такой прочный?

СФЕРАГО

Он явился мне во сне. Ни к чему, подумалось. Не к добру. Дух ненасытного умственного вожделения, телом он был дрябл и бессилен, ходячая развалина, но в нем скулила похоть рассудка, вечно боящегося отстать от других. Ему обязательно нужно было поспеть и отметиться во всех точках земли, где люди затеяли какое-нибудь, пусть самое невинное, занятие. Например, меняют жерди в ограде. Или просто легли на траву и говорят: давайте облаками полюбуемся. И он тут как тут. Но, конечно, со всеми не ляжет: любое проявление стадности претит ему, а станет чуть поодаль — так ему больше видно. Он ведь подозревает, что эти лежебоки лишь для отвода глаз любуются, а сами ждут, когда из облаков вывалится какой-нибудь полезный предмет, ну, например, манна небесная в финской упаковке.

— Земля, откройся мне,— говорил он теперь уныло и отирал холодную пену в углах склеротических губ.— Я — дух Сфераго, откройся мне, я-таки хочу знать, что там в тебе, и за это я сделаю из тебя конфетку.

Мне стало неловко: еще подумает, что преследую его. Я кашлянул, но когда он разглядел меня сквозь кустарник, полузакрытые веки оставались, как всегда, недвижны, а мутно-серые зрачки скрыты ими до половины. Я улыбнулся, поклонился ему по-японски и кивнул на корзинку: вот, мол, за лисичками отправился.

— Знаете, я уже выкопал один неолитический топор,— сказал он. И я вспомнил: это же самое мы слышали от него вчера, наяву (впрочем, когда его слушаешь, невозможно сообразить, наяву это или во сне).— У меня отличная идея... надо вашу деревню превратить в заповедную зону. Слушайте, этот обломок топора, что я нашел, разве он вас ни на что не наталкивает? А зря. Надо открыть тут какие-нибудь стоянки русского неолита. Пригласить археологов, ну, там, академика Янина, у меня есть с ним общие знакомые. Знаете, он еще собирает старые пластинки...

— Но с пластинками у нас тут еще хуже, чем с нео...— начал было я, да он перебил:

— Подождите! Итак, устраиваем заповедную зону, откапываем какую-то еще неизвестную письменность, на бересте или там на дубовых дощечках, клинопись или там славянские иероглифы...

...Вчера вечером, когда мы пришли на другой конец деревни навестить больного приятеля, Сфераго сперва не обратил на нас внимания, что-то прятал в рюкзак. Приятелю нашему стало полегче, уже не бредил, уже не пугало его видение какого-то голубого шара, который плавает по комнате (его жена сказала нам в сенях, что это он имеет в виду керогаз, задвинутый в устье русской печи). Но все равно он еще не вставал с постели и если изредка и участвовал в разговоре, то видно было, с каким напряжением это ему дается.

— Вот... прошу... мой коллега... из техникума,— прошептал он, знакомя нас, когда Сфераго, пыхтя, протиснулся в избу и уселся в темном углу, чуть в стороне от всех. Фамилию я совсем уже не дослышал: то ли Рассветов, то ли просто Светов, то ли Зорев, словом, красивая такая и оптимистическая фамилия.

У нас на устах была все та же заунывная песня: деревня-то на глазах иссякает; нынешней зимой избы стояли настежь; даже самая смелая и упорная из наших старух — Нюра, или, как ее здешние между собой зовут, Тутотка,— у дочери жила, за рекой.

— Если б я был директором вашего совхоза,— проворчал Сфераго,— я бы договорился с какой-нибудь приличной богатой фирмой и понастроил здесь коттеджиков, таких, знаете, легких, с участками. Кто сад разводит, кто цветы — но с условием, что каждый за лето поработает в совхозе несколько дней. Это же какая будет выгода!

К счастью, мы сразу догадались, что все произносимое им бесспорно, и потому промолчали.

— А дорогу сюда нужно провести на воздушных подушках, чтобы исчезли эти неприятные уродские колеи. И вообще деревню нужно сделать заповедной зоной. Надо поднять вокруг нее здоровый шум в прессе. Что-нибудь вроде того, что отсюда пошла Русь. Открыть какие-нибудь стоянки русского неолита... Я уже нашел сегодня обломок каменного топора.

У меня от всего услышанного пошли какие-то двоящиеся круги перед глазами. Оцепенело молчим, как будто каждый из слушателей, как и я, приказал себе: только бы не попросить, чтоб он принес этот обломок. А то ведь в ту же секунду, без помощи Сфераго, топор прилетит к нам через открытую дверь на воздушной подушке...

А нынче он заглянул на наш конец села. Уж не несет ли тот самый обломок напоказ, заробел я. Или нашел еще что-нибудь неолитическое. Но у него, оказывается, кончился чай. Я отсыпал чаю, но ему еще не хотелось уходить, и он небрежно скользнул глазами по кучке инструментов, лежавших в углу чулана.

— Так-так. Это — фуганок. А это — рубанок. Шерхебель, и так вижу, не годится... А зензубеля нет у вас? Надо иметь свой зензубель.

Этот зловещий своей непонятностью зензубель так и впился мне щепкой под ноготь, но и тут я не стал спорить.

— Так не надо рисовать,— показал он на одну из детских акварелей, прикнопленных к стене.— И так не надо... А вот в такой манере можно продолжать. Это перспективно. Вообще, нужно осваивать графику. Сейчас есть очень хорошие немецкие учебники по графике.

И сел за стол.

От стамесок и графики он непринужденно перешел к экологии, к лечению голодом, к приятелю экстрасенсу, который его, в порядке исключения, лечит бесплатно, но не голодом, а биомассажем на расстоянии; затем предложил возрождать нашу деревню не только с помощью каменных топоров, но и минеральных вод, которые тут наверняка имеются. Если хорошенько поковыряться в земле... Затем взгляд его скользнул на русскую печь, и он сказал, что это нерациональное сооружение, что лучше мне разобрать ее и сложить два камина и в одном из них оборудовать устройство для приготовления шашлыков... Его мысль двигалась от предмета к предмету какими-то чудесными ассоциативными ходами, даже прыжками... От своего каменного топора он вдруг пе-

репрыгнул в фильму «Преступление и наказание», впрочем, об авторе романа мрачно буркнул: «реакционер».

— Совсем другое дело — Стасов. Вы знаете, у Стасова есть просто изумительная работа об орнаменте.

Тут у меня перед глазами заслоились какие-то смутные орнаменты, голова сделалась подозрительно легковесной, мне захотелось напомнить ему, что у него там, наверное, уже выкипает вода для чая, за которым он заглянул на минутку. Но он сидел так невозмутимо, так непоколебимо, что было ясно: уйдет, когда сам того захочет.

— Кстати, а как вы относитесь к Сталину?

Я чуть было не поперхнулся. Ничего себе — «кстати»! Может быть, в его сознании сработала какая-то звуковая ассоциация между Стасовым и Сталиным? Или орнаменты помогли ему перепрыгнуть так далеко?

— Ну... как я отношусь,— тяжело вздохнул я.— Слишком мало я пожил при нем, чтобы как-то онтоситься. Слишком мало о нем знаю. О нем самом. Каким он был на самом деле... А эти два мифа о Сталине, старый и новый, меня оба не устраивают. Мы же не дети малые, чтобы поверить, когда все плохое валят на одного Сталина... Вот, к примеру, нету чая в сельском магазине — и все Сталин до сих пор виноват?

Пожалуй, мой намек на чай оказался слишком тонок — он сидел как вкопанный.

— А я считаю Сталина выдающимся человеком.

Я решил молчать до упора: давай, давай...

— Наша дивизия начала войну под Брестом. За всю войну она не потеряла ни одного человека. А немцам нанесла урон в полтысячи душ... У Эренбурга был тогда лозунг: «Убей немца!» Сталин слегка пожурил его за это. Но только слегка. Он высоко ценил Илью и всегда выпускал за границу.

«Давай, давай! — уже орал я про себя.— Не потеряла ни одного человека!!»

Чтобы успокоиться и проверить, не сон ли это, я резко повернул голову: за окном в теплой тени от облака мрела ветла, ни единый из ее листьев не желал шевельнуться.

— А еще я служил в частях НКВД...

— Простите, — не выдержал я.— Мы тоже хотели попить чаю, и мне нужно сходить за дровами.

— Пожалуйста, идите. Я подожду.

— Нет. Мне нужно в лес сходить за дровами. Понимаете, в лес.

— Гм... у меня тоже дрова на исходе,— шевельнулся он.— Может, и мне с вами пойти?

— Но я пойду в другой лес. В другую совсем сторону.

— О,— начал он приподниматься.— Я еще ни разу не ходил в ту сторону.

— Но я в лесу люблю побыть один.

Что такое? Его пожухлые, водянисто-серые под тяжелыми веками глаза на миг преобразились. Он глянул на меня с таким укором, так цепко и пронзительно, что повеяло полюсом, вечными льдами. И разом взгляд его потух.

— Так вы подумайте на досуге насчет заповедной воны,— проворчал он, тяжело ступив к порогу.

— Чай!.. Вот ваш чай.

Во мне все еще клокотало. Ишь, в НКВД служил! Мне хотелось кричать ему в спину: «А в Лиге Наций вы не участвовали?.. Или в Тегеранской конференции?.. А на полюсе с Папаниным не работали?.. А двуглавых орлов с кремлевских башен не спиливали? Или Днепрогэс! Разве не вы строили его... на воздушных подушках? Да не стесняйтесь, выкладывайте все. Я всему теперь поверю. И тому, что вы стояли на баррикадах Парижской коммуны... И Америку открывали с Колумбом... И сидели в троянском коне или хотя бы раскапывали Трою со Шлиманом... Кстати, а коттеджиков вы там не строили? С помощью этого... зензубеля?..»

Но потом, уже в лесу, стало мне стыдно за себя. Он стар, одинок и несчастен, у него нет своего угла и никогда уже не будет. И вот он фантазирует как ребенок, придумывает какие-то картонные коттеджики для совхоза — самого убыточного в районе. Находит какие-то истоки Руси в местах, где испокон веку жили финские племена, наша тихая и широкоскулая ростовская меря... Может, его даже лечили от подобных фантазий? Ведь любой врач, услышав про дивизию, которая не потеряла за войну ни одного человека, мог бы поставить напротив его фамилии твердую галочку.

И вечером я отчитал наших деревенских сорванцов, когда узнал нечаянно, что они, оказывается, подложили под его палатку целлофановый пакет с муравьями, а из-под подушки у него вытащили какие-то каменные осколки и пошвыряли их в огородные лопухи.

ДЯДЬКА И ВОЛЫ
(БАСНЯ)

Много лет назад, отвечая по долгу службы на письма в литературном отделе одной московской газеты, я не переставал удивляться занятному обстоятельству: почему-то почти половина писем со стихами, баснями, рассказами, даже повестями поступала с юга страны, точнее сказать, из Краснодарского и Ставропольского краев. То ли климат там удивительно благоприятен для литературной производительности, строил я догадки, то ли блуждающее над нашей землей облако вдохновения накрыло ныне своей благодатной сенью именно эти пределы. Одно из писем, верней, копию с него, я нашел недавно, роясь в переполненных бумажным старьем ящиках своего письменного стола. Видимо, я ответил тогда его автору, как принято было у нас отвечать в подобных случаях: тема интересная... но, к сожалению... специфика нашей газеты... ждем от вас новых материалов... и т. д. Не буду проводить здесь начальную часть письма, носящую сугубо личный характер, но хочу процитировать полностью часть собственно литературную. Не подвергаю ее никакой правке, ни стилистической, ни смысловой. Первая не нужна вовсе по причине завидной непринужденности, с которой автор, кажется, сельский учитель, излагает свои мысли. Вторая, думаю, также излишня. Уверен, что горечь некоторых его суждений выстрадана, а не надумана, и хотя бы потому достойна внимания.

Итак вот оно, это письмо:

«...Жалко коней, жалко исчезающих лошадок, последних жеребят, их жалко было еще Сергею Есенину, жалко их было и маршалу Семену Буденному, жалко их любому современному хлопчику, мечтающему проехать вдоль по сельской улице хоть на смирном полусонном мерине. О горечи расставания с конем написано и сказано так много, так много, а все на ветер улетело. Видно, слова, как и деньги, тоже подвержены девальвации. Еще старик Вергилий кажется, писал, что кобылица, когда приспеет ее пора, так переполнена жаждой материнства, что способна зачать даже от порыва ветра. От наших же слов, самых трогательных или самых гневных, кобылы, увы, не жеребятся. Может быть, когда-то и появится на земле количество конезаводов, достаточное, чтобы мировой лошадиный табун возрос до размеров, допустим, начала нынешнего века. Может быть, но, судя по всему, вряд ли. Для этого ведь надо, чтобы выцедили из-под земли всю нефть, выпустили оттуда весь газ, а там, глядишь, придумают еще какие-то новые виды топлива, и тогда надобность в телегах да бричках, нужда в верховых наездниках опять отодвинется на весьма неопределенный срок. К тому же в лошадиной нашей ностальгии, подозреваю, много фальши, а уж сентимен-

тальности просто невпроворот. Если вы услышите от владельца «Жигулей», что он тоскует по коняжке, то скажите ему, что он врет, как сивый мерин, потому что на самом деле он сейчас тоскует по «Мерседесу». Он не высидит в седле и часа, да и зачем так долго сидеть, если сфотографироваться можно за минуту.

Но, впрочем, я хотел написать Вам вовсе не о лошадях. Бог с ними, по крайней мере, какую-то малую часть из них будут держать еще долго, пока будут сниматься ковбойские, приключенческие и исторические фильмы, в которых ведь невозможно без падающих в песок наездников и без кувыркающихся жеребцов.

Я хочу написать Вам о существах, которые исчезли уже полностью и насовсем, хотя еще несколько десятилетий назад их было, по крайней мере в нашей стране, полным-полно, и они тоже, под стать лошадкам, исправно несли тягловую службу, очень тяжелую и необходимую. Не буду томить загадками, к тому же раз Вы сами родом из Малороссии, да еще с довоенным стажем, то вполне могли этих существ видеть и даже хорошо запомнить. Словом, я имею в виду в о л о в. Только не подумайте, что я пытаюсь затеять целую кампанию в поддержку этого вымершего, точнее, вырезанного, да так и не занесенного в экологические святцы животного племени. Поезд, как теперь шутят, ушел, пусть и совсем недавно. Просто я захотел написать немножко о волах, потому что если бы Вы ими занялись, то это могло бы иметь исторический или этнографический интерес. Ведь были же на земле эти трудяги, сколько миллионов гектар земли на них вспахано, сколько миллионов пудов пшеницы и ржи на них перевезено, сколько, наконец, тысяч тонн тушенки из их мускулистого мяса сварено!

Что такое вол? Внукам и правнукам нашим, которым я, в отличие от Виссариона Григорьевича Белинского, не всегда и не во всем завидую, можно так объяснить: вол — это холощеный бык. Когда коровы телятся, то бычков, понятно, рождается примерно столько же, сколько и телочек. Телочки вырастают и поступают на молочную ферму. Бычки вырастают и поступают либо в племенное хозяйство, либо на мясозаготовку. Раньше, когда с мясом было несколько попроще, большую часть бычков, не попавших в элиту производителей, холостили, то есть превращали в тягловую рабочую скотину. Утратив свою родительскую мощь, двурогая животина смиряется, словно навсегда задумывается над новыми для себя условиями существования. Вол не буен, не строптив, у него поистине стоическое терпение, и если мы хотим чему-то поучиться у животных, то именно у вола надо бы учиться недюжинной выносливости, умению расходовать силы равномерно, с расчетом на то, что бо́льшая часть трудов всегда еще впереди.

С детства я помню эту картину: в тяжелый южнороссийский плуг (это вам не легкая соверная сошка) впряжена пара волов. Они переступают важно, умно, ровно; глядя на них, не скажешь, что они надрываются, но и не подумаешь, что их занятие — послеобеденная прогулка краснобаев. Кажется, что изумительное чувство меры будто подарено им в возмещение производительной страсти. Буйство и похоть обратились в ровное трудовое рвение, свирепость нрава — в какую-то философическую невозмутимость. Ей-ей, всякая живая тварь дана нам в научение и в назидание, а уж мои-то волы, и без всякого сюжета,— живая басня и притча.

Или вижу, как пара этих трудяг с ярмом на шеях влекут по дороге арбу, доверху заложенную пшеничными снопами. Возница где-то там, на снопах, надвинув на глаза соломенный капелюх, спит, сморенный полуденным жаром. А волы, не слыша его привычного «гей!» или «цоб-цобе!», все равно и без команды вышагивают и никогда не заблудятся, дотянут золотой свой груз прямо к хозяйскому подворью. Им бы сейчас к какому-нибудь ставку выбрести да забраться по грудь в воду, пить, пить и пить мутноватую, тепловатую воду, все глубже погружая копыта в прохладное илистое дно. Но нет, надо идти. И плетутся покорные волы, густая слюна длинными, чуть не до земли, нитями свисает с губ, ветерок относит ее в сторону, она падает в пыль, длинные обрывки серебрятся на боках.

В этом неспешном ленивом воловьем шаге есть вековечная приспособленность к жаркому климату, к самому укладу сельской жизни, не терпящей скоропалительности, чрезмерной натуги, вылезанья из собственной кожи. Недаром именно в этом укладе появился когда-то анекдот не анекдот, а грубоватая простонародная байка, которую еще и сегодня помнят отдаленные потомки запорожских да кубанских казаков. Пересказом оной я и закончу свое послание, а то, пожалуй, надоел уже, слишком медленно плетусь.

Так вот, некий усатый дядька, боясь опоздать с поля домой к сварливой своей жинке, то и дело покрикивал на волов «гей!» да «гей!», но они нисколько его понуканиям не внимали. Тогда какой-то лукавый мимохожий человек подсказал дядьке: «А вы помажьте, дядю, им горчицею пид хвостамы». Тот внял совету и видит, что волы рысью понеслись по дороге. Что делать, надо догонять свое добро. Он и себе намазал горчицей как раз под тем самым местом, где у наших отдаленных прародителей, как наукой доказано, хвосты росли. Добежали волы с хозяином до хаты, дядько и кричит: «Жинко, привязуй волы!» — «А ты куды?» — «А я ще трошки побигаю».

Вот мы, наподобие того дядьки, подмазавшего себя горчицей, и носимся, и носимся неустанно, хотя волы наши давно уже, так сказать, на привязи. Извините, если юмор не очень изящный, но чем богаты, тем и рады».

ВЕТЛО

В лес высовываться не имело смысла — откуда быть грибу в такую сушь? Говорят, кто-то прошел утром мимо нас в малинник? Но и по малину не сманишь нас теперь никаким калачом. При одной лишь мысли о малине слюна во рту становится приторной, а на лбу проступает испарина. Даже на речку, хотя и рукой до нее подать, идти не хочется: больно тепла вода, нисколько не освежает, и пока от берега поднимешься к избе, голова снова сделается тяжелой как чугун. Июль и до приезда Володи стоял жаркий, в считанные дни подсушил и выбелил полегшие в полях ржаные гривы. А нынче и ветерок иссяк, и какой-то чадной духотой заполнилась с утра долина Нерли. Даже иволга, хозяйка наших старых ветел, не желает освежить воздух своей влажной, будто из узкого кувшинного горлышка, попевкой. Даже кузнечики, уж на что огнеупорная тварь, и те враз умолкли, оборвав нудный сухой стрекот.

Удивительно, как это еще у нас с Володей хватило сил и разумения доползти из-под ветел в плотную избяную тень. До полудня валялись на лужайке под ветлами, но лиственная тень вскоре показалась нам слишком зыбким, неверным укрытием. И хотя перед избой было так же душно, зато в глазах, когда прикроешь веки, не плавали ослепительные круги. Володя разлегся картинно: длинные руки-ноги врозь, а светлокудрые, как у греческого полубога, шевелюра и борода — под сенью лопуха.

— Эй,— разлепил я глаза и с трудом отодрал затылок от земли,— не спишь?

— Ну,— пробурчал Володя и уставился куда-то мимо меня мутным серо-голубым глазом.

— Помнишь, у Брейгеля есть картина: пьяные гуляки валяются на земле под столом в самых живописных позах... спят себе на солнцепеке и в ус не дуют. Прямо как мы теперь с тобой.

— Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой,— процитировал Володя хриплым голосом провин-

циального актера, с утра пораньше подлечившего горло. И опять голова его закатилась под лопух.

— Нет, право, ну кто мы такие? Не сеем, не жнем, в житницы не собираем... Ты веришь, что когда-нибудь так жили или будут жить люди, трудясь и бездельничая по единой своей прихоти?..

— Пр-раль-на! — Володя все более входил во вкус пьяной роли.— По пр-рихоти своей скитаясь здесь и там, дивясь божественным природы красотам...

Студент-филолог, поэт-гитарист, он весь был переполнен «созданьями искусств и вдохновенья». Он только что вывалился из университетских стен и, перед тем как отправиться на побывку к волжской родне, сделал из Москвы крюка на наш северо-восток. Как дальний воркующий гром с ясного неба, он нагрянул к нам вчера утром, с гитарой в тощем рюкзачке, с дюжиной новых песен — на собственные стихи, а также на слова Бериса, Пушкина, Полонского и Тряпкина. Беспечный малый баскетбольного роста, с внешностью то ли Ван Клиберна, то ли натурщика, позирующего для сюжетов с апостолами. Глаза у него продолговатые, как у серны, и в них, когда взгрустнется ему, различишь голубизну волжской дали, любезных его сердцу Жигулей. Думаю, наши окрестные леса и поля отродясь не принимали у себя таких вот свыше вдохновенных существ.

Полушепотом я позову,
По луженому горлышку щелкну,
Я и сам по лужайкам живу,
По лесам, по проселкам...

А еще Володя привез нам кучу всяких университетских новостей, состоящих по преимуществу в том, что там все вполне по-старому. И хотя мы уже, можно сказать, за три моря от тех благословенных стен, а все же забавно узнать, к примеру, что по-прежнему жив и деятелен профессор Петька, неугомонный борец с «патриархальщиной», «достоевщиной» и «обломовщиной» и что недавно его прокатили в академики, после чего студенты послали ему телеграмму соболезнования «в связи с непроходимостью». Или что по-прежнему варит свой пресный лекционный кулеш профессор Васька, другой наш выдающийся столп филологической неподвижности.

Ну что ж, у профессоров всегда одно и то же: принюхивание к конъюнктуре, «желание быть испанцем», то бишь академиком, скучное, но сытное жречество. А студент — птаха счастливая: отбарабанил зачеты и тут же выблевал, как столовский прокисший винегрет, зазубренную вчера «методологию». И — гитарку в руку. И — на поезд. И — на станции иужной спрыгнул, приглянул в спутники, ну хотя бы вон то с лиловым поддоном облачко. И — айда... Воля!

Одуванчики летят
Из-за поля, из-за речки
С легким трепетом в сердечке,
Как летают на парад,
Так они на смерть парят.

Пухом, пухом полон рот!
Не скажу прямого слова,
Ибо с неба, ибо снова,
Как из отпертых ворот,
Жизни легкая основа —
Одуванчиков народ...

Мы слушали его, подпевали ему, восхищались им весь день, весь вечер, почти всю ночь. Мы выпили то немногое, что у нас было. Но мы были совершенно и насквозь пьяны — от радости, что есть у нас на Руси такой вот Володя и что он приехал к нам, почти неизвестной ему

семье, разыскал нас за пятнадцать верст от станции по лоскутку бумажки с полустершимися карандашными именами деревень, мимо которых надо идти.

— Вот видишь, а еще хотел сегодня на станцию возвращаться,— говорю Володе, не открывая глаз.— Мыслимое ли дело? Не горюй, разбудим тебя в три утра. Знаешь, как по холодку быстро пойдешь! В шесть будешь на станции. Точно к поезду.

Тут я забылся, и привиделся мне громадный Володя, перешагивающий через леса и мелкие речки, с сияющей под облаками головою-одуванчиком,— свободная стихия в человеческой плоти, спешащая на побывку к маменьке в Жигулевск...

После обеда в душной избе, после жареной картошки, которая не лезла в горло, мы едва выползли на крыльцо. Тут и уселись, прислонясь спинами к теплым старым бревнам.

У нас на глазах приречная обкошенная луговина загустевала сизым чадом, он поднимался отовсюду вверх, так что уже и солнца не стало видно. Ветлы замерли в изнеможении, каждый листик будто пришпилен к пепельному небу. На южной стороне, за холмом оно наливалось мутью.

Я понюхал горячий воздух.

— Не начали бы гореть леса, как прошлым летом.

Дети играли перед домом, иаш старший и Колька. Но не носились, не кричали, как обычно, и не дразнили младшего. Томила и их духота. Изба, казалось, тоже хватала воздух темными щелями потрескавшихся бревеи.

— Слышите, поезд?

— Ну да, поезд!.. Откуда?

Но что-то летело.

Как будто тяжкий, груженный антрацитом и нефтью товарняк, соскочив со шпал Северной дороги в пятнадцати километрах от деревни, мчал теперь прямо на нас, в бешенстве расшвыривая перелески, шипя в болотах, подскакивая на пнях, грохоча все угрюмей. Тугой металлический вой его нутра нарастал с каждой секундой.

Мы вскочили на ноги, жалко улыбаясь.

Сомнений не было: что-то непонятное несется прямо на нас и вот-вот выскочит из-за холма.

Первый страшный толчок горячего воздуха обрушился на наши старые ветлы, посаженные, говорят, еще в прошлом веке. Самая ближняя к нам, о трех громадных стволах, стояла шагах в двадцати от угла сарая. Еще четыре великанши уходили от этой гуськом вверх, в сторону холма.

Я не успел разглядеть, какая из ветел затрещала первой. Туча пыльной листвы полетела на нас, и в огороде земля сотряслась от удара рухнувшего ствола.

— Дети, домой! — завопила жена, прижимая к груди младшего. Старший сын с приятелем выскочили из-за угла избы с каким-то веселым ужасом в глазах. Когда Колька запрыгивал на крыльцо, в нескольких сантиметрах от его головы белым, похожим на острие копья надломом ударилась о стену двухметровая ветка.

С усилием закрывая упирающуюся дверь, я слышал: что-то еще громадное рухнуло поперек огорода.

В избе было темно, как в подполье. Крыша над нами ходила ходуном, вот-вот собираясь сдвинуться с места. Бревна скрипели, из потолочных щелей шелестела труха.

— Господи, господи, война,— шептала жена, непослушными пальцами пытаясь зажечь огарок свечи перед хозяйской иконкой.

— Полно, какая война! — прикрикнул я. Но мне хотелось кричать совсем о другом: зачем?! зачем угораздило нас вбежать в дом? еще секунда-другая, и нас тут всех придавит...

Но и за окнами уже ничего не было видно. Жилье походило на ковчег, погружающийся на дно.

Вдруг за угловым окном из мглы выступила в белом сиянии самая прекрасная наша ветла, самая, может быть, красивая ветла в мире. Она росла отдельно от других посредине луга, ее великолепная крона была удивительно круглой; не ветла, а божья копна. На такие деревья, наверное, молились древние люди, стекаясь к ним из дальних селений, чтобы войти в благодатную тень шатра упокоения, где зеленые большие иволги играют на своих влажных флейтах.

Теперь с ней творилось что-то такое, чего я и в нелепых снах не чаял увидеть. На наших глазах невидимый исполин-насильник, многорукий и неистовый, рвал с нее зеленые одежды, выламывал руки-стволы, они лопались по швам молнийными зигзагами, и белая кричащая плоть ослепительно сверкала в погибельных корчах. В этом зрелище было что-то одновременно великое и бесстыжее, как будто бесноватый надругатель ломал ее только для того, чтобы мы и наши дети увидели: вот вам, жалкие душонки, глядите, я оставил вас жить, но смотрите, что я за это с ней делаю.

Тут хлынул стеной темно-зеленый, как бутылочное стекло, ливень, и обесчещенная ветла потухла, исчезла из виду.

Ливень был такого напора, что мгновенно вниз по печной трубе поплыли грязные глинистые струи. Наш ковчег все стремительней падал на дно.

Но это была вода спасения...

Когда стена ливня повалилась за реку, мы увидели на дороге под домом жалкую кучку босых мужчин и женщин, в прилипших к телу одеждах. Они возвращались из лесу с пустыми корзинками в руках. Они были до такой степени возбуждены, что неприлично громко смеялись, глазея на избы и поваленные деревья.

— А тут-то дров сколько будет! — показывали они в нашу сторону.— Крышу-то, глянь, будто медведь задрал.

Нам тоже не терпелось поглядеть на все снаружи. Весь огородишко, с грядками и картофельными бороздами, был завален древесным ломом — стволами, сучьями, кипами ветвей. Большой, метра в два квадратных, кусок драночной крыши, отхваченный, видимо, первым же толчком ветра, чернел поверх мокрой крапивы. Остро пахло сырой рваной древесиной, вымытыми из земли корнями трав.

— Хо-хо! Еще легко отделались,— прихохатывал бледный Володя.— Посмотрите на соседскую избу.

Крыша Лизаветиного дома чернела дырами сразу в нескольких местах. Оставив возле дома все как есть, мы пошли по селу — посмотреть, живы ли, невредимы ли чернокуловцы и что где натворил ураган.

Все, кого мы ни встречали, были вне себя, как бы слегка пьяные. Старухи, размахивая руками, громко рассказывали о том, каких натерпелись страхов за минувший час, о том, что отродясь тут такого не знавали, и чуть ли не с удовольствием показывали на рваные дыры в крышах.

— Мое-то ветло́, гля, пополам развалило! — кричала глуховатая Лизавета.— Ужасты!.. А его ведь наш папаня сажал. Вот наказание-то господне.

На противоположном конце села мы с Володей помогли тетке Наталье и ее внукам оттащить с дороги часть ствола, уже перепиленного ими. Копошился народ и у других изб. Дети и собаки носились с визгом в сырых темных травах, будто разыскивая что-то. На тропах там и сям валялись клочья дранки. В закатном холодном подсвете я читал на лицах сильнейшее волнение людей, будто воскресших только что в какой-то новой плоти, более легкой от соприкосновения с предвестием судных событий.

На другой день мы узнали, что в соседнем селе во время бури

умерла от разрыва сердца одинокая стару́ха. Нашли ее в хлевушке, куда она выско́чила, может быть, на визг поросенка.

Когда Володя уехал, мы начали потихоньку наводить порядок в огороде. Ветви с пожухлой листвой стаскивали в кучу, сучья рубили на дрова, пустили под пилу большие стволы, которые ни вдвоем, ни втроем сдвинуть с места было невозможно.

Из всех сельских ветел уцелело только одно дерево. Оно стоит возле Сухого Вражка, недалеко от крохотной избенки Ксении Викторовны. Сельская детвора облюбовала это дерево для своих вечерних сходок, потому что взрослые не дергают их тут каждую минуту и к тому же можно покачаться на качелях, прилаженных к нижнему толстому суку ветлы.

Вот это именно дерево озадачило на следующую весну бульдозериста, которого совхозное начальство прислало расчищать приречный чернокуловский луг под сплошную распашку.

Сначала он ткнул разок-другой ножом бульдозера в основание ствола. Ветла ответила только мелкой дрожью в кроне. Смекнув, что так можно тыкаться без проку до тех пор, пока горючее не кончится в баке и не заноют шейные позвонки, механизатор решил орудовать с помощью троса. Тогда-то и подошел к нему от избы Ксении Викторовны охотник, бывший чернокуловский житель, который каждую весну останавливался у старушки на недельный отдых. Положив руку на гусеницу, он дал отмашку трактористу. Тот высунул из кабины юное злое лицо:

— Ну, чё надо?

— Эй, парень,— крикнул охотник,— не трожь ветло! — И показал рукой на качели: — Видишь, на нем дети качаются.

— А пошел ты с качелями,— выматерил его механизатор.— У меня приказ: выкорчевать все деревья на лугу. Понял?

— Нет, парень, не трожь ветло! — побагровел охотник.

Но корчеватель больше не глядел на него. Подал машину чуть назад и, разогнавшись, снова дернул тросом дерево. Трос задрожал, как струна, ветла заметно мотнула кроной.

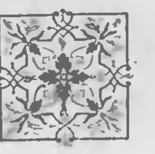
Через минуту охотник, бледный, будто от приступа тошноты, подошел с ружьем к дереву, торжественно-медленно стал поднимать дуло. Свинцовая пуля звонко шлепнулась о гусеницу. Он тут же принялся перезаряжать одностволку.

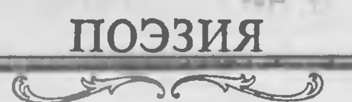
Тракторист, изогнувшись в три погибели, вывалился из кабины и с неимоверным проворством выдернул штырь, державший трос в прицепном гнезде. Затем, с той же обезьяньей проворностью, вспрыгнул на сиденье, вобрал шею в плечи и так газанул в сторону дороги, что целое облако солярочного дыма округлилось за ним подобием завесы.

Разбирать этот инцидент ни в тот день, ни позже никто из совхоза не приезжал.

Ветла с качелями осталась в покое.

Она и сейчас там стоит, но уже без качелей. Стоит первым,— а может быть, последним? — предупреждением селу, что дни его сочтены.





ПОЭЗИЯ

ЛЕВ КОТЮКОВ



ВЫЙДУ В ПОЛЕ — В ИНЫЕ ГОДА...

На свободе

За бараками в бросовом поле
Лебеда, да пырей, да осот.
Кто там бродит в потемках
на воле?..
Не понять — человек иль сексот?..

Стол в объедках под лампою
тусклой,
Кто-то бродит на воле — и пусть...
На окурках в помаде французской
Увядает российская грусть.

Скрип барачный и шорох мышиный
Затаились, предчувствуя ночь,
И кому-то сигналит машина
С большака — и уносится прочь.

Что там в поле —
пятно или платье?
Здесь, в бараках пустых, — никого...
И в сознании, будто заклятье, —
Все — везде и нигде — ничего.

Сквозь посадки, сквозь темные
ветки
Выйду в поле — в иные года...
Выйду в поле — исчезну навеки!..
Выйду в поле — вернусь навсегда!..

Философ. 1920 год

Он слюнявыми пальцами гасит свечу на столе,
Он все судьбы прозрел, но об этом в России не знают.
Брат, расстрелянный братом, коченеет на белой земле,
Спит вполглаза предместье, а в городе снова стреляют.

И свобода от страха забыла о братстве навек,
Он-то думал, философ: «Свобода — отсутствие страха!..».
Он пальто надевает. Тупо смотрит на утренний снег.
Тает утро в снегах, будто грязный подмоченный сахар.

Разум Бога постиг. Нет к незримому граду пути.
Богом стал человек. Но терновник не стал виноградом.
Впору сдохнуть в снегах!.. Сколько можно сидеть взаперти?..
Сотворенное время садит в мерзлые двери прикладом.

Друг на друга глядят зеркала, затаившись в углах,
Он по комнате ходит. Отраженье скользит, как обмылок.
Отразившись затылком, он лицо свое видит в слезах,
Отразившись лицом, видит пулей пробитый затылок.

Горбун

Горбун, поймавший майского жука,
Глядит на мир с улыбкою
счастливой.
И лунная пустынная река
Сливается в саду с цветущей сливой.

Жука в ладони накрепко зажав,
Как в детстве шоколадную конфету,
Горбун стоит, весь мир в себя
вобрав,
Лицо подставив неземному свету.

О, как он ласков — неземной огонь!
Горбун стоит, забыв земную долю.
И разжимает узкую ладонь,
И жук воздушный обретает волю.

* * *

Лезут морды в глаза, как дурные грибы,
Старикашки гнилые играются в юность,
За прорабов себя выдают прарабы
Или про..., да прости меня, Боже, за грубость!

И пора, и пора всем себя осознать,
А не лезть сатанело в сознанье России.
Но не хочет, не может с собой совладать
Упоенное славой и водкой бессилье.

Загнивает забытая рожь на корню,
Треск словесный летит за околицу мира.
Боже правый, уйми, наконец, трескотню,
Дай услышать свободную душу эфира!

Пусть восстанут властители в сонме рабов,
Пусть завоют рабы от грядущей свободы!
Пусть не ведает время ни дней, ни годов!
Пусть не ведают времени вечные годы!

* * *

Усни с улыбкой на устах,
Ты славно прожил день —
ты выжил.
И пусть в компьютерных мозгах
Струится муравейник чисел.

Усни!.. Живые муравьи
Затихли в черепе планетном...
Забудься сном, дитя Земли!..
Забудь себя на свете этом.

И пусть живой душе твоей
В ночи колючей,
как репейник,
Приснится древний муравей,
Путь позабывший в муравейник...

КРИТИКА



Отечественный архив

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

Об исключении В. В. Розанова из Религиозно-Философского общества

Совершившееся более семидесяти пяти лет назад исключение русского мыслителя и публициста В. В. Розанова из петербургского Религиозно-Философского общества, казалось бы, давно должно отойти в область «преданий старины глубокой» и представляться современному читателю чем-то занимательным только для зануд-литературоведов. Тем более что происходило оно в преддверии мощных исторических потрясений, которые многое изменили как в жизни самого Розанова, так и его гонителей. Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции — эти циклоны не только полностью разрушили уклад жизни, в котором могли происходить события, подобные исключению Розанова, но и заставили вчерашних антагонистов посмотреть друг на друга новыми глазами. И вот уже в 1922 году одна из активнейших участниц, едва ли не инициатор всей этой кампании — З. Н. Гиппиус, выпустила воспоминания о нем «Задумчивый странник», где с не свойственными для нее покаянными чувствами характеризовала Розанова в самых лестных выражениях, писала и о том, что умом его не понять и аршином общим не измерить, а об истории с исключением отзывалась как о каком-то глубоко ошибочном, но совершенно пустяковом эпизоде — бес попутал...

Но в биографии Розанова это событие сыграло далеко не пустяковую роль. Прежде всего Розанов был одним из основателей, наряду с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус-Мережковской, Религиозно-философских собраний, из которых потом возникло Религиозно-Философское общество (в дальнейшем везде РФО. — Е. И.). И хотя Розанов к 1913 году уже совсем не так был привязан к нему, как в момент зарождения, когда он был одним из активных посетителей и постоянных докладчиков, хотя заседания Общества он посещал больше по инерции, исключение из числа его членов имело важное последствие в его жизни: писатель очутился как бы в духовном вакууме, потому что с исключением порвались многие общественные и личные связи. На это обращала внимание Т. В. Розанова в своих воспоминаниях.

Поэтому история с исключением В. В. Розанова должна показаться важной всем, кто интересуется его судьбой. Но поучительность сюжета этим не исчерпывается, особенную остроту он обретает сегодня, когда новые публикации выявляют некоторые подспудные силы и рычаги, двигавшие общественной жизнью России, которые неожиданно оказались «задействованными» и в том, что происходило в эти годы с Розановым. Я имею в виду прежде всего публикации по истории русской масонской ложи «Великий Восток народов России» [1], которая проливает новый свет и на историю с исключением Розанова.

В этой истории была одна интригующая деталь: дочь Розанова — Надежда Васильевна Розанова-Верещагина в воспоминаниях об отце среди прочего упоминала, что один из участников исключения — Владимир Васильевич Гиппиус, поэт, троюродный брат Зинаиды Николаевны, — каялся вскоре после смерти В. В. Розанова в том, что приложил руку к этой скверной истории, и признавался, сверх того, что сделано это было не по инициативе членов Общества, а якобы по распоряжению масонской ложи. Эта выдержка из воспоминаний Н. В. Розановой-Верещагиной была опубликована в некоторых западных изданиях, но поскольку мы не располагаем ни письменным признанием В. В. Гиппиуса, ни показаниями других свидетелей его беседы с дочерью, это свидетельство нельзя было брать сколько-нибудь серьезно в расчет: мало ли какие версии придумывают дети, чтобы восстановить доброе имя родителей! И хотя слишком многое в том, как происходило исключение Розанова, наводило на мысль о слишком хорошей «заорганизованности», из ста подозрений, как известно, составить одного доказательства нельзя.

И все-таки версия о том, что исключение было каким-то образом связано с масонством, обрела право на существование. Вот как Н. В. Розанова записала в дневнике свой разговор с В. В. Гиппиусом: «Когда решили Мережковские исключить Вашего отца из Религиозно-Философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходок исключать таких членов, как Розанов. Пусть все, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остался как писатель. Я им прямо сказал: «Если бы это сделал Толстой, Соловьев, Достоевский, — исключили бы его как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей». Мережковские требовали, чтобы я подписался, но я не соглашался. Когда настал день — я не пошел на собрание и послал записку: «Примыкаю к мнению большинства». В этом была моя подлость. Как мог я это сделать? Но, понимаете, я был страшно связан с Мережковскими. Я ходил к ним не как родственник, а как человек, близкий их идеям. Они играли роковую роль в моей жизни. Я не мог порвать с ними, связь была такая, что, порвав ее, я как бы убил часть своей души. Мне надо было выбирать — Розанов или Мережковские? И я выбрал Мережковских. Но, уходя, я сказал: «Я вам этого никогда не прощу». С этого времени я перестал ходить в Религиозно-Философское общество, и в корне подорвалось мое отношение к Мережковским. Знали ли Вы о существовании в Религиозно-Философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковским. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова. Они звали меня вступить в него, ко мне приходил один человек, но я наотрез отказался» [2].

Такие версии, как правило, не поддаются документальной проверке, потому что закулисную сторону подобных акций не принято фиксировать в протоколах и документах. Но благодаря публикации В. И. Старцева мы можем провести некоторые сопоставления и под новым углом зрения проследить и эту историю.

Увертюрой к исключению Розанова следует назвать заседание РФО 19 октября, на котором Д. С. Мережковский читал свой доклад «Об отношении Ветхого и Нового Завета». К этому времени были опубликованы две статьи Розанова, которые позднее инкриминировались ему как недопустимый общественный шаг. Статья «Не надо давать амнистию эмигрантам» появилась в журнале «Богословский вестник» (1913, № 3), а 13 октября в газете «Земщина» была опубликована одна из самых известных статей Розанова, написанная в связи с делом Бейлиса, — «Андрюша Ющинский». Напомним, что дело Бейлиса слушалось с 26 сентября по 29 октября, и, таким образом, статья Розанова появилась в самый разгар процесса.

На этом фоне и произошло заседание РФО 19 октября. Доклад Мережковского носил далеко не академический характер и был непосредственно связан с процессом Бейлиса. Приводим отчет о заседании (с некоторыми сокращениями) из либеральной газеты «Русское слово»: «Зал переполнен. Налицо все представители петербургской интеллигенции. Обращает на себя внимание присутствие сотрудника «Нового времени» В. В. Розанова, которому пришлось сегодня выслушать немало горьких истин. На повестке дня доклад Д. С. Мережковского «Об отношении Ветхого Завета к христианству».

По существу, это доклад по делу Бейлиса. Д. С. Мережковский говорит, что получил из-за границы запрос, почему молчит русское общество о деле Бейлиса, набрасывая тем на себя тень (...)». Далее в отчете излагается выступление председателя совета РФО А. В. Карташева: «Он подошел к вопросу с чисто религиозно-церковной точки зрения (...). Тот самый Розанов, который находил в иудействе огромные религиозные ценности, который призывал мир к изучению и углублению иудейства, теперь служит хулиганам религиозного сознания». Далее излагалось выступление философа и публициста А. А. Мейера. Появился на собрании будущий глава Временного правительства, а тогда член Государственной думы А. Ф. Керенский, который «произнес слово от имени тех групп, которые не идут под знаменем религиозных исканий, которых интересуют исключительно общественно-культурные идеалы братства, равенства и свободы, но и эти группы сейчас объединены с элементами религиозного сознания в глубоком протесте против кошмарных и позорящих приемов борьбы». Еще в газетном отчете назван в числе выступавших известный тогда адвокат Н. Д. Соколов, который «произвел юридический анализ дела и допущенных в нем нарушений элементарного правосознания». Наконец собрание приняло резолюцию, составленную В. Я. Богучарским (Яковлевым).

[1] См.: Русское политическое масонство. 1906—1918. Документы из архива Гуверского института войны, революции и мира. Комментарии В. И. Старцева. В нашей публикации используется главным образом документ № 4 — запись беседы историка В. И. Николаевского с А. Я. Галперном — «История СССР», 1990, № 1, с. 139—155. Но немало дополнительных сведений читатель найдет и в первой части этой публикации («История СССР», 1989, № 6), а также в книге Н. Берберовой «Люди и ложи» («Вопросы литературы», 1990, №№ 1—4).

[2] Вас. Розанов. Избранное. Изд-во А. Неймана. 1970, с. 441.

В другом газетном отчете мы находим более содержательный пересказ выступления Мережковского. В газете сказано, что он утверждал в своем выступлении, «что Россия вообще связана с еврейством. С ним связана и прошлая революция, с ним будет связана и грядущая, и пока Россия не искупит своего греха перед еврейством и перед Израилем — она не получит прощения». В этом отчете несколько иронически охарактеризовано выступление А. Ф. Керенского: «Под занавес выступал типичный митинговый оратор «товарищ эсдек» депутат Керенский». А вот в газете «День» это же выступление охарактеризовано даже с некоторым пафосом: «В яркой речи депутат указал на то, что сейчас поднято знамя бунта против всей культуры и решается судьба не только наших духовных ценностей, но всего нашего бытия».

В отчетах обращают на себя внимание три основных момента. Во-первых, заседание РФО было посвящено проблеме сугубо политической, что не было в традициях Общества, в соответствии со своим названием призванного обсуждать вопросы религиозные и философские, далекие от злобы дня. Во-вторых, заседание было построено по принципу «кошку бьют — на невестку поглядывают», и на нем в адрес Розанова были произведены как бы предупредительные выстрелы в воздух, а над головой стали сгущаться тучки. Но самое любопытное в этом собрании другое. Прежде всего, конечно, загадочно звучат попавшие даже в отчет слова Мережковского о том, что он получил из-за границы запрос, почему РФО не реагирует на дело Бейлиса. Для всякого, кто представляет себе общественную жизнь предреволюционных лет, такое признание покажется по меньшей мере странным: общение как с зарубежными писателями, так и с общественными деятелями в те времена осуществлялось на уровне контактов между отдельными личностями, а не на уровне групп и объединений. Невозможно себе представить, что, например, Блок мог получить запрос, почему он не пишет о тех или иных общественных явлениях, хотя поэт он был неизмеримо более известный, чем Мережковский. Чтобы получать такие запросы, надо входить в определенные обоймы. По видимой стороне своей деятельности Мережковский ни в какие такие обоймы не входил и неоднократно подчеркивал свой независимый статус в литературе. Так что смысл этих слов неясен. Но самое поразительное заключается, безусловно, в другом. Сегодня, когда мы располагаем опубликованным списком масонской ложи «Великий Восток народов России», мы не без изумления обнаруживаем, что все выступавшие на этом заседании были членами ложи: председатель собрания А. В. Карташев был даже членом совета, Д. С. Мережковский также входил в нее (в цитированных выше воспоминаниях В. В. Гиппиуса назван даже основателем ложи). Входили в ложу и все ораторы: А. А. Мейер (в списке В. И. Старцевым его фамилия неточно названа Майер), А. Ф. Керенский, Н. Д. Соколов и В. Я. Богучарский, — все не только входили в эту ложу, но и в разное время играли в ней видную роль. Неслучайность этого совпадения подчеркивается еще одним фактом — дело в том, что А. Ф. Керенский не был членом РФО и на этом собрании появился впервые, что было с удивлением отмечено во всех отчетах. Как политический деятель, он был слишком далек как от проблем философии, так и от проблем религии. Но понимая, что могло объединять всех этих разных людей, упоминание о запросе из-за границы перестает удивлять, получает рациональное объяснение, если увидеть в собравшихся тех, кто ринулся выполнять полученное задание и от лица русского общества выступить по делу Бейлиса в РФО, тем самым заставляя это объединение выполнять несвойственные ему функции. Наконец, показательно и то, что никто из постоянных и активных участников РФО, среди членов которого было немало выдающихся мыслителей, философов, писателей, не выступал на этом собрании, и не потому, что не сочувствовал Бейлису, а потому, что обсуждение политических вопросов было не в традициях Общества.

Теперь о том, как отреагировал В. В. Розанов на это заседание. Он съязвил в газетном отчете для «Нового времени» по поводу появления «смехотворного» Керенского, и не только не внял предупредительным залпам, а пустился во все тяжкие и опубликовал в «Земщине» еще одну статью по делу Бейлиса — «Наша кошерная печать», где совершенно издевательски отзывался о позиции либеральной прессы в деле Бейлиса, сумев задеть почти всех влиятельных журналистов, что называется, одним махом, обвиняя их в продажности.

Прошло еще несколько заседаний, не имевших отношения к интересующему нас сюжету, прежде чем тучки над головой Розанова окончательно сгустились. Примечательным в истекших собраниях было, пожалуй, одно: в действительные члены (а значит, с правом голоса) были избраны будущая жена А. А. Мейера К. А. Половцева и В. П. Соколов, которым предстояло играть немаловажную роль в исключении.

Поскольку Розанов не унимался, 11 декабря 1913 года состоялось то самое заседание совета РФО, о котором упоминал В. В. Гиппиус в своих покаянных признаниях. На нем было решено вынести вопрос об исключении Розанова на общее собрание совета. Протокол этого заседания сохранился, в нем решения, касающиеся Розанова, представлены в следующем виде: председатель А. В. Карташев «ознакомил присутствующих с ходом событий в возникшем в совете вопросе об исключении В. В. Розанова из числа членов РФО». Содержание прений по этому вопросу отражено в протоколе туманно и расплывчато: «Во время прений были высказаны различные предложения. Вначале Д. В. Философов предложил довести до сведения общего собрания о состоявшейся переписке и этим ограничиться. Предложение это встретило возражения. Некоторые из присутствующих находили,

не входя даже в существо вопроса, что логика вещей требует дальнейшего шага по избранному пути, а именно постановки вопроса об исключении В. В. Розанова из членов Общества. Эту точку зрения поддерживали А. В. Карташев и Д. С. Мережковский. Д. В. Философов соглашался с ними». В протоколе ничего не сказано о возражениях против такой постановки вопроса (а они были, и ниже мы приведем протесты несогласных). Важно другое: протокол в целом подтверждает версию В. В. Гиппиуса, что именно Мережковский и Карташев выступали инициаторами в деле об исключении. В этом заседании интересна и еще одна подробность: к этому времени состав совета РФО был уже таков, что большинство в нем составляли практически члены семьи Мережковских, на долю которых из шести присутствовавших членов совета приходилось четыре голоса: А. В. Карташев (поклонник Т. Н. Гиппиус, сестры З. Н. Гиппиус, и свой человек в доме Мережковских), Д. В. Философов (с ним Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус в течение ряда лет жили одной семьей), наконец, сам Д. С. Мережковский и Н. Н. Гиппиус, родная сестра З. Н. Гиппиус. Кроме этого, на том же заседании присутствовали действительные члены с правом совещательного голоса: З. Н. Гиппиус, В. В. Гиппиус, И. В. Жилкин, С. С. Кондурушкин, С. П. Каблуков (бывший секретарь РФО, очень тесно связанный с Мережковскими), К. А. Половцева и В. Я. Богучарский (об особом характере связи последних с Мережковскими выше уже говорилось). Итак, гегемония Мережковских на этом заседании налицо, и едва ли она носила случайный характер.

Но даже при этом перевесе нашлись свои «диссиденты», своими действиями перечеркнувшие его. Двух «незаорганизованных» членов совета — А. Н. Чеботаревскую и П. Б. Струве — настойчивость Мережковских и их окружения не просто возмутила, но заставила выразить протест, потому что методы их действий показались прямо-таки бандитскими: в отчетах для газет было сказано, что совет принял резолюцию об исключении «единогласно», а подпись под протоколом за Чеботаревскую Д. В. Философов, ведший протокол, поставил сам.

Возмущенная А. Н. Чеботаревская написала протест на имя А. В. Карташева, где напоминала ему о том, что на заседании совета она была против вынесения вопроса об исключении, и о том, что с этим не соглашался и Струве. Карташев, уже получивший аналогичный протест и от П. Б. Струве, пытался сначала изобразить историю с газетным отчетом как стечение случайных обстоятельств, как неточность ведения протокола Д. В. Философовым, по рассеянности записавшим, что решение было принято «единогласно». Вот текст его объяснений, направленных А. Н. Чеботаревской в письме 23 января: «...Внесенное в редакцию советского (от слова «совет». — Е. И.) извещения Д. В. Философова слово «единогласно» и мне показалось странным, но я забыл спросить, почему оно поставлено, но для себя решил, что это ради П. Б. Струве, который на совете формально не был против постановления (...). Каюсь, я лично не воспринял и Вашего отношения как совершенно отрицательного. Я понял так, что Вы сомневаетесь и лично не пошли бы на это, но что особого мнения не подаете и, по обычаю, сливаетесь с конечным голосованием. Наконец, голосования не произвели просто по обычной невнимательности к юридическим обрядностям (в данном случае, конечно, непредусмотрительно), ибо вообще всегда делалось все без баллотировки». Когда же стало очевидно, что А. Н. Чеботаревская не собирается оставлять дело так и смотреть на него как на издержки профессорской рассеянности Философова, ее стали убеждать отстраниться от принятого решения другим способом: тихо выйти из игры, без публичных протестов. 24 января А. В. Карташев писал ей: «Д. В. Философов, помимо спешки, потому подписался за Вас и потому замолчал Ваше имя в газете при перечислении состава совета, что, зная Ваше отношение к трудному вопросу и вместе фактический отказ от секретарства, он не хотел Вас впутывать. И благодаря этому Вы и теперь можете официально (по бумагам, для архива и истории) совершенно отстраниться от советского постановления (как раз в отличие от Петра Бернгардовича, который уже никак не может, ибо свое отношение к протоколу 11 декабря он выразил вполне точно). Ваш выход такой. Подайте в совет заявление об отказе от секретарства и пометьте его, например, 25 ноября. Тогда Вы протокол подписывать будете никак не обязаны. «За секретаря» там будет Д. В. Философов (как и на повестке действительным членам). А Ваше фактическое присутствие на заседании 11 декабря пусть считается в качестве равном Гиппиус, Жилкину и др. действительным членам. Хуже для совета, что у него будет только 4 подписи. Но Вы будете совсем свободны юридически».

Но Карташев напрасно рассчитывал так просто провести и замирить А. Н. Чеботаревскую: она не собиралась отделываться от соучастия юридическими увертками и, как будет видно из публикуемого ниже протокола, заявила публичный протест против действий членов совета. Не оправдались и расчеты на то, что П. Б. Струве удастся заставить как либерала, осуждавшего Розанова за статьи о Бейлисе, не протестовать против действий совета: он также выразил публичный протест, попросив А. Н. Чеботаревскую огласить на заседании свое письмо. Заявление Струве нанесло особенно чувствительный удар по планам тех, кто добивался исключения Розанова, поскольку лишал их поддержки весьма уважаемого и авторитетного члена РФО, с которым Гиппиус и Мережковского связывали многолетние идейные контакты. Сильно вредил этот протест и в том отношении, что как бы усугублял и подчеркивал «семейственность» принятого на совете решения: из четырех «не своих» два заявили протест против действий совета. При этом не исключено, что никому не известный И. В.

Жилкин каким-то образом был связан с Мережковским или Карташевым, точно так же, как и С. С. Кондурушкин. Итак, в тщательно продуманной комбинации появились первые сбои. Тем не менее членам РФО были разосланы повестки с приглашением явиться на заседание 19 января 1914 года, где предполагалось заслушать следующие вопросы: «1. Доклад совета Общества об исключении согласно § 26 устава В. В. Розанова из числа членов; 2. Слушание и обсуждение доклада Г. И. Чулкова «Оправдание символизма».»

И опять, как с заседанием совета, планы сорвались, о чем достаточно подробно записано в дневнике присутствовавшего на нем М. М. Пришвина. Его записи мы приводим с некоторыми сокращениями, предлагая интересующимся обратиться к полному тексту, опубликованному в сборнике «Контекст — 1990». — М., «Наука», 1990, с. 165 — 168. «Собрание РФО для исключения Розанова (...), — записывает Пришвин. — Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой: всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского (...) Гиппиус щурится, изображая кошечку. Карташев заводит очи горе. Мережковский негодует. Вяч. Иванов настроился на скандал(...) Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы, возражает баптист, попы, восточный человек, увесистые хайки и честнейшие ученые жиды. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос. Вот и все, что вышло из общественной затеи Мережковского».

Заседание описано и в воспоминаниях Лазаря Розенталя, которые, несмотря на хлестаковский общий тон, имеют некоторую фактическую ценность. «Открывая собрание, — пишет Л. Розенталь, — Карташев предложил на этот раз избрать другого председателя. Назвал Евгения Васильевича Аничкова. Известен как историк литературы, для Общества не то чтобы свой, но и не посторонний. Согласились — человек подходящий. Розанову инкриминировались его выступления в печати во время процесса Бейлиса (...). И вот началось обсуждение на общем собрании. Тотчас же кое-кто встал на защиту изгоняемого. Розоволицый, в золотом пенсне, в нимбе никак не подобающих солидному человеку пушистых светлых кудрей, весь какой-то неправдоподобный, до ужаса похожий на свои портреты, Вячеслав Иванов оказался подлинно, по шутливому прозвищу, придуманному для него Александром Блоком, «Языкавом Чесаловым». Чего только он не наговорил! Говорил спокойно, веско, убежденно. Его доводы могли бы сойти за математические формулы. Моральной сути он не касался, и, казалось, это понятие не имеет никакого отношения к писателю столь высокого ранга, чуть ли не «сверхписателю», наподобие «сверхчеловека» Ницше, как Розанов. Раздавались и другие голоса не то чтобы в защиту, но и не против. Аничков, человек как будто и самоуверенный, и все же очень уж деликатный, даже растерялся. Спохватились, что для вынесения какого-либо решения действительных членов на собрании маловато. Стало быть, лучше отложить до следующего раза. Перешли к слушанию чулковского доклада» [3].

Итак, при всей разности отношения М. Пришвина и Л. Розенталя к идее исключения Розанова как таковой они говорят, по существу, об одном и том же — что на первом заседании затея Мережковских провалилась и пришлось отказаться от нее, сославшись на отсутствие кворума. Как и в случае с заседанием совета, где неожиданно взбунтовались А. Н. Чеботаревская и П. Б. Струве, открытое заседание РФО также преподнесло сюрприз, против идеи исключения восстал такой давний и влиятельный член РФО, с безупречной общественной репутацией, как поэт-символист Вячеслав Иванов, который, хотя и не сочувствовал статьям Розанова, написанным в связи с делом Бейлиса, все-таки не одобрял и методы общественного и публичного «воспитания», которые пытались применить к Розанову, — свободное выражение собственных мыслей Вяч. Иванов считал непременным условием существования писателя.

Из всего этого видно, как нелегко давался Мережковским затеянный ими общественный урок. Тем интересней настойчивость, с которой они добивались его проведения. Ниже публикуется с большими сокращениями стенограмма заседания 26 января 1914 г., где этот вопрос был поставлен еще раз. Остается сказать несколько слов о том, как было организовано это заседание. Накануне всем действительным членам РФО были разосланы повестки с просьбой не просто обязательно явиться на заседание, но и с требованием в случае, если по каким-либо причинам он явиться не может, поставить совет в известность. Это было необходимо для обеспечения кворума. Но не только о присутствии всех членов РФО позаботились устроители заседания. На этот раз они гораздо более тщательно подошли к вопросу о составе выступающих и присутствующих. Любопытные подробности на этот счет содержатся в воспоминаниях Л. Розенталя. «...Народу привалило видимо-невидимо, — пишет он о заседании 26 января. — Предусмотрев столпотворение, Императорское Географическое общество предоставило ютящейся у нее «религиозке» не малый зал, как обычно, а большой, парадный, на верхнем этаже. Похоже было не то на концерт заезжей знаменитости, не то на театральную премьеру или вернисаж выставки. Завсегдатаи собраний растворились в шумливой разномастной толпе». То есть состав присутствовавших был сильно пополнен за счет нечленов общества, которые, хотя и не имели права голоса, имели право выступления, создавали «общественное мнение», «глас народа», могли выкрикивать, аплодировать, подобным образом участвуя в разгоревшихся прениях. Но самым любопытным в воспоминаниях Розенталя является упоминание не об этой «массовке», а об одном человеке, скромном и незаметном на первый взгляд: «...Среди всей этой пестряди лиц, обличий, одежд совершенно неожиданно передо мною предстала фигура человека не то чтобы хорошо, но все же достаточно знакомого. Он был здесь вчуже, стоял как бы одиноко, хотя был даже в сопровождении двух дам. Но его спутницы, типичные, стандартно некрасивые перезрелые курсистки, были, так же как и он, из совсем другого мира, из мира ассимилирующейся еврейской интеллигенции. Фамилия — Гальперин, отчество — Рудольфович, такая славная бородка, очки, сдержанная речь, а также ореол прикосновенности к подпольным революционным кругам. И даже то, что, будучи человеком женатым, он был принужден временно пробавляться частными уроками, вызывало во мне симпатию. На мой недоуменный вопрос, как он попал сюда, ответил своим милым приглушенным баском: «По гостевой повестке. Надо же посмотреть, как турнут Розанова».

[3] Розенталь Лазарь. Как изгоняли Розанова. — «Ленинградская панорама», 1989, № 11, с. 33.

Убежденность этого человека, никакого отношения к РФО не имевшего, в том, что Розанова «турнут», любопытна сама по себе. Но подробность эта приобретет еще большую выразительность и смысл, если мы поймем, что перед нами известный адвокат, меньшевик, действительно причастный к подпольным революционным кругам, а после Февральской революции игравший видную роль во Временном правительстве, куда он был привлечен по инициативе А. Ф. Керенского, Александр Яковлевич Гальперин (отчество мемуарист перепутал, воспоминания писались в 60-е годы. — Е. И.). И вот, думается, его появление на заседании РФО, куда он не был вхож, в сочетании с убежденностью в исходе заседания, — вот это, пожалуй, наиболее интересная для нас подробность, «работающая» на версию В. В. Гиппиуса, что называется, впрямую. Если к тому же мы обратимся к воспоминаниям самого А. Я. Гальперина, которые и составляют основу цитированной выше публикации В. И. Старцева, то мы будем иметь возможность убедиться, что А. Я. Гальперин (в публикации его фамилия выступает так, как она звучала на американский лад, — Гальперн) не только стоял во главе масонской ложи «Великий Восток народов России», но и являлся секретарем ее верховного совета и поэтому находился в масонском контакте как с зарубежными «братьями», так и со всеми, кому предстояло на этом заседании выступить в роли обличителей Розанова. Из десяти выступавших на заседании шесть человек входили в эту ложу. Седьмым был не выступавший непосредственно, но предложивший резолюцию, спасавшую затею с исключением от полного провала, — В. А. Степанов. Вот это уже едва ли можно отнести за счет простого совпадения.

Самое же, пожалуй, удивительное и самое, может быть, лестное как для Розанова, так и для РФО в целом, заключалось в том, что без всякого предварительного сговора со стороны тех, кто был против исключения, им удалось добиться того, что на заседании 26 января Розанов исключен не был. Затея в очередной раз блистательно провалилась, и только уловка с осудительной резолюцией, неожиданно предложенной под занавес, когда все были достаточно утомлены, спасла организаторов этого заседания от полного провала. Как представляется, это было свидетельство независимости членов РФО и их умения самостоятельно ориентироваться в ситуациях, где ведется интеллигентская «кампания» по вразумлению тех, кто шагает не в ногу. В этом отношении лучше всех объяснили мотивы своего несогласия философ С. А. Алексеев (Аскольдов) и Вяч. Иванов. И все усилия Мережковских пропали бы втуне, если бы не следующий шаг Розанова, по существу, добровольно вышедшего из Общества, причем своим выходом поставившего себя в смешное положение, перепутав профессора Петербургского университета С. О. Грузенберга с его братом, выступавшим адвокатом на процессе Бейлиса, О. О. Грузенбергом.

Заманчиво увидеть в этой ошибке проявление розановского антисемитизма, но едва ли дело только в этом. Как это часто случалось с ним, Розанов бывал весьма неточен в фактах, но общий смысл явления он понимал, как правило, верно. Розанов неверно назвал имя того, кем укреплялось РФО после заседания 26 января. Но, получая повестки на заседания, он не мог не почувствовать, что РФО систематически пополняется именно за счет лиц, выступивших его противниками на заседании 26 января. На том же заседании 13 февраля, где в действительные члены должен был выбираться С. О. Грузенберг, в совет РФО баллотировались К. А. Половцева, М. И. Туган-Барановский, В. А. Степанов, а в действительные члены помимо С. О. Грузенберга баллотировались еще В. Я. Богучарский и Т. В. Гредескул. То есть Мережковские явно стремились укрепить свои позиции во всех направлениях, превращая РФО в послушное орудие в своих руках.

Следствием скандала с исключением Розанова было не только это пополнение, но и выход ряда лиц, фамилии которых мы просто перечислим: П. Б. Струве, А. Н. Чеботаревская, А. Д. Скалдин, А. Г. Горнфельдт, Коноплянцев, Кудрявцев. Итого шесть человек покинули Общество.

Центральный момент всей этой истории отражен в протоколе, который не теряет своей остроты и сегодня, поскольку приемы демагогии оказываются поразительно живучими, разница лишь в том, что тот, кто в те годы обличался как враг прогресса, сегодня бы угодил во враги перестройки. И самое, пожалуй, поучительное среди выступлений — это не голоса тех, кто так или иначе поддерживал Розанова, разделял его убеждения. Наиболее интересными оказываются речи тех, кто отстаивал в первую очередь право писателя мыслить независимо от партийных шаблонов, кто как раз, не являясь единомышленниками Розанова, отстаивали на заседании его право свободного выражения своих политических мне-

ний. Эта борьба за духовную свободу писателя от партийных и групповых прессингов, за возможность «идти дорогою свободной, куда влечет тебя твой своенравный ум», и служит в этой истории, может быть, наиболее поучительным уроком в наши дни, когда групповщина все больше становится единственным средством существования в литературе, все более похожей на пионерский отряд имени Павлика Морозова, где всех, кто шагает не в ногу, с позором изгоняют, а отстающих пристреливают.

Эпилогом же к нашей истории может послужить отрывок из воспоминаний З. Н. Гиппиус, где она как бы подводила итог этой своей затеи. Гиппиус ни словом не обмолвилась ни о каких скрытых пружинах, заставлявших их с таким упорством добиваться изгнания Розанова, но о своем участии во всем этом шумном деле явно сожалела, хотя сожаление это сопровождала рядом оговорок, пытаясь представить его как случайный и малозначительный эпизод. Несмотря на то, что лукавые оговорки во многом обесценивают ее в целом замечательные воспоминания о Розанове, поверим, по крайней мере, в искренность ее раскаяния: «...Статьи в «Земщине», такие, в такой момент — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться. Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение из числа членов РФО. Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его как явление исключительной ценности, понимали, что ему-то от себя «все дозволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда лично не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно. Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова; в данном случае — за необходимость исключения его из членов РФО. Хочу сознаться, увы, что, на мой тогдашний взгляд, Розанов был еще слишком «человек», и предельная безответственность его как человека мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, — и как я о них теперь жалею!» [4]

Сожаления эти были высказаны с большим запозданием, когда самого Василия Васильевича уже не было в живых. В жизни Гиппиус была еще одна история с Розановым, когда она выступала в роли его гонителя, но эта тема заслуживает особого разговора. Наше введение к протоколу заседания 26 января на этом хотелось бы кончить, еще раз отметив, что исключение тогда так и не состоялось, при всей невероятной настойчивости Мережковских. В приложении к протоколу приводится переписка, в результате которой 15 февраля 1914 года Розанов подал заявление о выходе из РФО. Протокол публикуется с некоторыми сокращениями ввиду его большого объема, но в скором времени он, по всей видимости, будет издан, вместе с другими протоколами заседания РФО, в полном виде в одном из московских издательств.

[4] Гиппиус З. Н. Живые лица. Мюнхен, 1972. с. 77—78.

Доклад Совета и прения по вопросу об отношении Общества к деятельности В. В. Розанова

А. В. Карташев[1]. Не для действительных членов, уже посвященных отчасти в дело, но, главным образом, для всего собрания членов-сотрудников я должен прочитать следующую переписку, бывшую у Совета с В. В. Розановым. В заседании Совета от 14 ноября 1913 г. постановлено следующее: «Находя недавние выступления В. В. Розанова в печати несовместимыми с общественной порядочностью и считая невозможной совместную работу с ним в одном и том же общественном деле, Совет постановил обратиться к В. В. Розанову с просьбой поступить на основании параграфа 8 Устава Общества. Данный параграф гласит: «Желающие выбыть из числа членов объявляют об этом Совету». В исполнение этого постановления председателем Общества послано было Розанову следующее письмо: «Милостивый Государь, Василий Васильевич. Исполняя поручение Совета РФО, извещаю Вас о следующем постановлении Совета, принятом на его заседании от 14 ноября 1913 г.». Далее следует буквально то, что прочитано мной. «Сообщая, — продолжается текст письма, — вышеизложенное, я надеюсь, что Вы пойдете навстречу желаниям Совета и не принудите меня огласить настоящее постановление в общем собрании Общества».

В ответ на это председателем Общества получено было от Розанова 26 ноября

совершенно частное письмо, начинающееся так: «Я предпочел бы, чтобы меня исключили из Общества формально и по такому-то параграфу, так как это представляет свой интерес». В конце письма Розанов просит действовать — «как бы я ничего не писал Вам и не подавал голоса».

Тогда председатель Общества обратился к Розанову со вторым письмом, от 30 ноября 1913 г., такого содержания: «Милостивый Государь, Василий Васильевич. В ответ на Ваше письмо ко мне от 26 ноября, уведомляю Вас, что я не довел его до сведения Совета РФО исключительно ввиду Вашей просьбы считать его частным. Но так как я обратился к Вам официально и на основании постановления Совета, то покорнейше прошу и Вас ответить мне, не позже 10 декабря, официальным же письмом, которое я мог бы доложить в ближайшем заседании Совета. В противном случае я буду считать себя вправе огласить в Совете и в общем собрании членов упомянутое письмо Ваше».

Ответа на это письмо не последовало, и на заседании Совета РФО 11 декабря 1913 г. было постановлено: предложить ближайшему общему собранию действительных членов Общества исключить В. В. Розанова на основании § 26 Устава из числа членов(...).

Далее следует проект резолюции. Она имеет в виду не произнесение какого-либо юридического вердикта, а лишь заявление морального характера. Именно, — предлагает выяснить мнение Общества по вопросу об уместности или неуместности пребывания В. В. Розанова в РФО в качестве его члена. Совет, присоединяясь к подобной постановке вопроса, предлагает настоящему собранию приступить к обсуждению вопроса по существу, в указанном направлении(...).

Д. В. Философов[2] (...). Поставив на повестку предложение об исключении В. В. Розанова, Совет отнюдь не изменил своим прежним взглядам, и находит, что суд над личностью, над ее частной жизнью, для таких организаций, как РФО, — есть вещь совершенно недопустимая. Но речь идет не о Василии Васильевиче Розанове, а об известном публицисте и замечательном писателе Розанове, о его многочисленных, совершенно публичных выступлениях, причем особенно существенными являются в данном случае не столько даже общественные идеи г-на Розанова, сколько те приемы общественной борьбы, к которым он прибегает.

Среди некоторых членов Общества существует взгляд, что РФО, поскольку оно занимается чисто теоретической разработкой религиозных и философских вопросов, — должно отличаться абсолютною терпимостью, придерживаться совершенной свободы мнений.

Теоретически это положение правильно, но, как все отвлеченные принципы, оно не легко воплощается в жизни. Да, наше Общество — Религиозно-Философское, а поэтому оно и теоретическое, занимающееся обменом мнений, но оно есть вместе с тем и общество, т. е. известная общественная организация, имеющая свое лицо. И как бы ни отстаивали полную терпимость, все равно до конца ее провести нельзя, не жертвуя лицом общества, его особенностью, его отличием от других аналогичных организаций. Существуют границы терпимости, переступив которые Общество теряет лицо, становится случайным сборищем людей, а сама терпимость переходит в цинизм, в полное равнодушие к слову; свобода мнений переходит в блудословие, в чем обвинял наше Общество еще так недавно один из видных публицистов, против чего Совет энергично восстал(...). Действительно, религия и философия требуют свободы. Но такой свободы в России нет (...). Закрывать на это глаза — значит быть или лицемером, или недальновидным. Именно потому, что в России нет ни свободы мысли, ни свободы совести, ни свободы общественной жизни, безразличная ко всему терпимость есть величайший цинизм. И если мы желаем освободить Общество от одного из самых ярких представителей темных и злых общественных сил, представителей насилия, нетерпимости, кощунственного злоупотребления религиозными ценностями, — то потому, что мы уважаем слово, знаем, что слово имеет свою цену, что оно не звук пустой, и чем оно талантливее, тем оно ответственнее, особенно в России, где искони существует страшный окрик: «Слово и Дело».

Для нас религиозные ценности тесно связаны со свободой, и те, которые пользуются ими в целях насилия над совестью и даже жизнью, — для нас нетерпимы. Относиться к Розанову только эстетически, любоваться его талантливостью, — это значит презирать Розанова, не считать его реальной силой. Те, кто во имя отвлеченного начала не хотят сделать выбора между Розановым и нами, те, кто во имя ложно понимаемой культурности находят, что писания и общественные выступления Розанова только талантливая литература — не больше, не хотят видеть, что за этой литературой скрывается страшное влияние на жизнь, что для миллионов людей, которые стонут от насилий, чинимых розановским лагерем, решительно все равно — будут ли их мучить талантливо или бездарно. Культурным воздержанием вопроса не решишь. Надо сделать выбор. Жизнь этого требует. Воздерживаться в данном случае от выбора — не значит воздерживаться от политики. Безучастное созерцание, величественное молчание есть уже громадное действие. За этим молчанием скрываются очень громкие слова, оправдывающие то, что есть, оправдывающие связь религии с застоем и смертью.

Вся деятельность нынешнего Совета была направлена на то, чтобы разорвать эту связь, чтобы показать, что религиозные темы — суть темы жизненные. На этой почве происходил обмен мнений, иногда очень страстный. Благодаря такому обмену мнений постепенно выяснялось лицо Общества, образовывался подбор участников в наших работах, на-

мечались те пределы терпимости и свободы, за которыми начинается или беспросветный цинизм, или величайшее насилие. Происходил этот процесс естественно, и, конечно, Совету в голову не приходило насильственно удалять инакомыслящих. Просто сторонники застоя, несвободы, использования религии как политического средства для замораживания России и оправдания вещей оправданию не подлежащих, сами себя устраняли от деятельного участия в работах Общества. Этих лиц и по сю пору довольно много в списке действительных членов. Розанов по этому пути самоустранения не пошел. Вместе с тем он человек настолько сильный и яркий, что, конечно, не может числиться «в мертвых душах». И в Обществе постепенно нарастало недомогание. Лицо его оставалось искаженным, его деятельность не могла развернуться. Слова начинали терять свою цену, потому что не только противоречили друг другу, а как бы уничтожали друг друга. Обществу стал грозить распад, потеря лица, потеря всякого общественного значения, превращение его в столь любезную г-ну Скворцову говорильню. Конфликт назревал давно и, наконец, обострился до крайности. Для Совета получилась полная невозможность дальнейшей планомерной работы, и Совету пришлось перед лицом Общества поставить ребром вопрос: с кем оно желает идти дальше — с Розановым или с Советом. Выбор сделать необходимо. Общество должно исключить или нас, или Розанова. Именно так мы вопрос и ставим. В этом смысле мы нисколько не посягаем на свободу господ членов Общества. Если большинству религиозно-общественные взгляды и действия Розанова кажутся приемлемыми, — оно имеет полную возможность оказать ему доверие своими голосами и тем самым исключить нас из Общества. Но совершенно невозможно, не презирая само Общество, как организацию, борющуюся за свое определенное лицо, не презирая Совета и самого Розанова, воздерживаться от всякого выбора и во имя отвлеченного начала впадать в полное равнодушие. Совет этот выбор сделал. И раз навсегда. Сделал его и Розанов. О совершенно неприличных и нетерпимых среди уважающих себя людей выступлениях Розанова в печати можно было бы написать целые томы. Но мы ограничимся только двумя примерами. Сперва возьмем его выступление в органе Московской Духовной Академии («Богословский Вестник». Март, 1913 г.). Там появилась статья Розанова под названием: «Не надо амнистии»(...).

С точки зрения «свободы слова» нельзя бороться с Розановым. Он проявляет свое святое право на свободу мнений.

Но такая свобода — нам кажется мерзостью из мерзостей, потому что это издевательство насильника, потому что эти слова ежедневно переходят в дело, потому что во имя насилия здесь привлечено имя Христа, который будто бы миловать не указал.

И заметьте. Статья помещена в «Богословском Вестнике», органе Московской Духовной Академии; ей как бы дана санкция церкви. Конечно, богословский журнал не есть голос церкви, но, разрешаемый духовной цензурой, он впредь, до дальнейших опровержений, все-таки выражает этот голос, и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе, как руководственное мнение правящих кругов церкви, как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности(...).

Но Розанов не остановился на своем призыве. Он пошел дальше. Я говорю о его выступлении по делу Бейлиса 22 октября 1913 г., он помещает обширную статью: «Наша кошерная печать». Здесь уже полный и самый отвратительный цинизм.

Не мы выдумали Розанова и самое «дело» о нем. Его выдумала русская жизнь, условия русской общественной деятельности. И нам кажется, что дальнейшая терпимость по отношению к Розанову была бы именно тем цинизмом, который нарушает меру допустимой терпимости.

Мы не стоим за формальный путь юридического исключения Розанова. Все эти споры о кворуме и параграфах нам глубоко чужды. Мы хотим услышать живой голос Общества, увидеть его лик. Мы слишком его уважаем, чтобы думать, что состояние двоедушия — естественное его состояние...

Председатель[3]. Господа, тут не принято аплодировать, и я бы покорнейше просил воздерживаться от знаков одобрения и порицания. Из того, что вы заслушали, следует, что раньше, чем решить вопрос об исключении В. В. Розанова, необходимо решить предварительный вопрос, — признает ли собрание себя правомочным этот вопрос поставить на разрешение. Я бы покорнейше просил членов собрания высказываться и по этому вопросу.

С. А. Алексеев[4]. По докладу, который мы только что выслушали, можно думать, что Совет РФО вовсе не имел в виду производить суд над В. В. Розановым. Д. В. Философов в самом начале своей речи подчеркнул, что Совет не имел в виду судить его. Я не могу согласиться с таким заявлением. Я здесь нахожу какое-то вопиющее противоречие.

Нам было прочтено письмо г. председателем Общества. Из этого письма видно, что В. В. Розанов обвиняется в общественной непорядочности. Что же — это обвинение не есть суд? Или слово непорядочность не имеет смысла? Что за противоречие? Засим, если нам предлагают исключить члена Общества, очевидно, за какую-то вину, то нельзя же исключать, не установив виновности. Преступление оглашено, и логически ясно, что суд над Розановым нужно сделать. Какая-то странная робость чувствовалась в словах докладчика, когда он сказал то, что является самым существенным.

Я протестую не по поводу исключения В. В. Розанова, а именно по поводу суда над В. В. Розановым. Ибо для меня ясно, и я утверждаю, что Совет призывает нас к суду(...).

Здесь не случайный суд в беседе, а торжественный, в зале Географического Общества. Это не мелкий бес.

И вот, я считаю, что суд для РФО недопустим по принципу, по идее самого Общества. Из доклада Д. В. Философова выходило, что РФО будто бы принуждено к этому суду над Розановым. Я тщетно старался услышать какие-нибудь доводы в этом отношении; я слышал только голословные утверждения.

Кто следил за деятельностью РФО, прекрасно знает, что участие Розанова в то время, когда он стоял более близко к центральному ядру Общества, заключалось в том, что он читал рефераты, сидел и слушал. Розанов давно уже не выступает, и вообще не приспособлен выступать в публичных собраниях, так что общая работа Общества, по существу, с ним почти невозможна, тем более она невозможна теперь.

Я думаю, что, после всего происшедшего, Розанов не только не пойдет сюда говорить, на что он физически не способен, но не придет сюда и слушать. (Голос: это фактически неверно!) И потому заявление о невозможности совместной работы не имеет смысла; давно уже никакой совместной работы здесь не было и не может быть. Да и вообще совместной работы, в практическом смысле, как сказал Д. В. Философов, не может быть между членами Общества. Д. В. Философов говорил, что лицо нашего Общества вынуждает нас к категорическому выбору. Я опять не могу с этим согласиться. У РФО нет никакого лица: достаточно прочесть список 45 членов его, чтобы убедиться, какая это разнородная компания; если же брать с точки зрения политических партий, то здесь можно насчитать 5—6 партий. Какое же это лицо, о каком лице мы здесь заботимся?

Затем, я не могу не сказать нескольких слов о преступлении Розанова. Хотя я считаю, что судить его мы не имеем основания, так как цель нашего Общества только теоретическое обсуждение вопросов, и ничего практического наше Общество не должно иметь и по заданиям своим не имело; значит, при этих теоретических спорах необходима максимальная терпимость, — но я все-таки вынужден тем огромным обвинительным актом, который был прочитан и который так красноречиво и ярко обрисовал перед нами преступление Розанова, коснуться самого преступления.

Я начну с того, что преступление Розанова стародавнее. Мы все прекрасно знаем Розанова. Разве он когда-нибудь был осторожен в своих словах, разве было время, когда он не был ядовит и зол? Мы это прекрасно знали, и когда ядовитость Розанова распространялась на церковь, ядовитость иногда злобная, мы только благодушно говорили: Василий Васильевич, по обыкновению, нам сегодня наврал, — и больше ничего. Теперь мы вознегодовали, когда злое слово Розанова направилось в ту сторону, которая, по убеждению Совета нашего Общества, является противоположной Розанову. Итак, преступление Розанова, его злоязычие, старо.

Здесь многие приводили жестокие слова Розанова и говорили: «доколе же мы будем терпеть, «quousque tandem Catilina» — слышали мы от Совета.

Но как будто только один В. В. Розанов жесток в словах. Господа, нужно быть немножко искренними и признать, что партийные страсти, которые неизбежны во всяком обществе, приводят к злобе и жестокости. Неужели только один Розанов говорил нам жестокие вещи? Что же, мы стали бы изгонять из нашего Общества и Константина Леонтьева, который тоже говорил жестокие вещи? Неужели ужасные жестокости говорит только Розанов, неужели все, особенно крайние партии, не неизбежно жестоки, и не столько в словах, но и в делах?

Розанов до сих пор был жесток только на словах, но ведь мы знаем, что то, что находится на крайних полюсах, жестоко и в делах. Что же мы тут начинаем восклицать??

Господа, Совет РФО предлагает нам судить Розанова, предлагает обвинить его в непорядочности. По этому поводу я только хочу напомнить чрезвычайное обстоятельство, на которое очень мало обращают внимание, а именно, что из всех категорий людей-злодеев, к каким бы партиям они ни принадлежали, Иисусу Христу были наиболее враждебны те, которые с уверенностью говорили: я хорош, а этот нехорош.

Господа, нам, членам РФО, предлагают сказать: мы порядочны, а В. В. Розанов непорядочен. Ибо нельзя обвинять в непорядочности других, не будучи твердо убежденным в своей порядочности.

Свящ. П. В. Раевский. Для РФО наступает момент, когда должно выясниться лицо его. Что это за Общество?

Я помню очень шумное заседание Общества по поводу интересной книги «Вехи». Помню доклад Мережковского по поводу этой книги. Опять-таки, можно соглашаться или не соглашаться с авторами этой книги, но, во всяком случае, говорить о том, что эти господа поступают, как мужики Достоевского, которые хлестали свою лошаденку по глазам, — я этому удивляюсь.

Хотя я маленький человек и ничего не сделал ни для философии, ни, может быть, для религии, кроме того, что я священник, и служу службу Божию, — я все-таки не понимаю, как можно религию и философию приносить в жертву общественности... Как Христос относился к людям, которые к Нему приходили, — были ли то иудеи, ревнители или зилоты и фарисеи? Он ведь не спрашивал их, кто вы такие, как смотрите на еврейский вопрос или как вы смотрите на Мережковского или Философова, если бы они в то время существовали? Подобного рода вопросы едва ли приходили Ему в голову, и теперь едва ли могут приходить в голову всякому христианину.

Слушая рассуждения по поводу «Вех», или теперь рассуждения по поводу Ро-

занова, я хочу задать вопрос словами В. Соловьева: «что это, — словесность или истина?» Когда Белинский писал известное письмо против Гоголя, то это была истина, но в то же время и словесность, потому что Белинский, как не религиозный человек, не мог серьезно относиться к тому, что сделал Гоголь в конце жизни, когда начал «Переписку с друзьями». Он не мог оценить этой метаморфозы Гоголя, и поэтому в нем, с одной стороны, было много словесности — с точки зрения религии и философии, но с точки зрения общественности в нем было много истины.

Вот было выступление Сикорского на процессе в Киеве. Представьте себе, что университет Св. Владимира поднял бы вопрос об исключении этого профессора из состава университета. Можно смотреть на заслуги Сикорского как угодно, но мешать одно с другим нельзя. Я также удивился бы исключению Сикорского из Киевского университета, как удивляюсь вопросу об исключении Розанова(...).

Или, например, Мечников, ныне здравствующий, или умерший Менделеев? Я слышал, что эти люди в делах общественных мало понимают, или, выражаясь нашим жаргоном, люди правые. Представьте, что в Пастеровском институте в Париже поднялся бы вопрос об исключении Мечникова потому, что он правых убеждений, или известного ученого химика Менделеева — уволить из академии за правые убеждения? Я этого не понимаю(...).

<Карташев оглашает заявление П. Б. Струве[5].>

(...)Во-первых, поведение Розанова — и именно это я высказал совершенно категорически в своих последних статьях о Розанове, после которых я сознательно и последовательно не возвращался к суждениям о личности и поведении этого писателя — по моему глубокому убеждению, совершенно устраняет применимость к нему начала вменения. Я вполне определенно считаю Розанова морально невменяемым. Поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует основное, субъективное условие разумного суда над человеком.

Во-вторых, РФО само по своим задачам не может притязать на функции суда, хотя бы морального, над отдельными лицами. Таким образом, исключение из Общества, как действие дисциплинарно-судебное, есть действие, не соответствующее природе такого общества, как Религиозно-Философское. В силу этого, в данном случае отсутствует и основное объективное условие разумного суда.

По этим двум соображениям я решительно высказываюсь против внесения в Общее Собрание предложения об исключении В. В. Розанова».

В письме к председателю Общества, сопровождающем текст прочитанного сейчас особого мнения, П. Б. Струве делает заявление об одновременном с подачей этого мнения выходе своем из состава Совета Общества, о чем и просит сообщить сегодняшнему Собранию.

Почти одновременно с этим, в тот же час, получено особое мнение от члена Совета А. Н. Чеботаревской(...)[6].

Президиум Общества считает нужным присоединить к прочитанному заявлению П. Б. Струве свои разъяснения. Во-первых, данное мнение неправильно освещает точку зрения Совета, толкуя ее в смысле морального суда над отдельной личностью. Это — чистое недоразумение. Совет настойчиво просит членов Общества понять, что он предлагает судить Розанова не как отдельную личность, а как общественное явление, как общественного работника, действующего посредством печатного слова. И этим судом над Розановым за его общественную деятельность советское большинство со всей силой утверждает в нем достоинство вменяемой и ответственной за свои поступки личности. Наоборот, снимающее всякий суд отрицание в нем человеческой личности советское большинство считает для себя актом религиозно недопустимым(...).

Священник К. М. Аггеев(...). Исключать из Общества по мотивам, уже сказанным, РФО не должно, но Общество должно непременно выставить такую декларацию, которой могло бы отгородиться от него, чтобы те невероятные, несоответствующие действительности слова Кассия и многих других лиц в Петербурге, по которым будто бы Розанов есть все для нашего Общества, есть душа нашего Общества, — чтобы эти утверждения не имели во всяком случае никакого влияния и не вредили ни обществу, ни христианству, ни православию, что особенно важно. На вопрос, поставленный моим предшественником, и отвечают: во 1) кворум совершенно правомочен для решения «дела» Розанова, и во 2) Совет должен определенно вслух высказаться перед всей Россией по поводу деятельности Общества, должен высказаться в определенной резолюции.

С. С. Гарт[7]. Господа, тут было сказано, что нельзя вообще осуждать, что не следует никого судить, что это не похристиански(...).

Если вы, господа, читали впечатления иностранцев о России за последние 500 — 600 лет, начиная с XIII — XIV века, то вы знаете, что они согласны все в одном, — что русский народ слишком терпим ко злу. У меня есть официальная книга, которая распространяется по всем сельским правлениям, — эта книга одного генерала. Там сказано, что иностранцы, которые приезжают в Россию, говорят, что русские не понимают, что хорошо и что дурно. Генералу это нравится, и он говорит: «вот какие мы, русские».

Я думаю, господа, что это большой недостаток, большое несчастье — эта терпимость ко злу. Относительно дела Розанова я думаю, что тут не политический, не партийный суд над Розановым. Розанов судится за нарушение элементарных основ всякой морали, именно за то, что он позволил себе открыто лгать.

Он говорит, что для него вся еврейская письменность есть тайнопись, а если тайнопись, то он не имеет права о ней ничего говорить, а он говорит: если тайнопись, то там преступление, то там требуется ритуальное убийство. Этот недобросовестный способ суждения есть издевательство над правдой. И то, что в России это терпится, — это большой грех перед самой Россией(...).

А. А. Майер[8]. (...)Здесь Общество осудит себя, а не Розанова, свое лицо. Лицо у него все же есть. Если в Обществе насчитывается 5 — 6 разнородных партий, это еще не значит, что у него нет лица, потому что лицо — не партия. Общество — это явление, занимающее какое-то место в обще-русской жизни, — и, следовательно, Общество должно иметь физиономию(...).

Розанов не просто один из членов Общества. С Розановым входит в Общество определенная струя, дающая себя знать достаточно сильно в современном русском обществе. Мы должны, чтобы оставаться со своим лицом, высказать свое отношение к этой струе. И только потому, что Розанов стал неотделимым от этой струи, наше отношение к ней должно отразиться на отношении к Розанову(...). Когда мы предлагаем сказать Розанову: или мы, или вы, — то это не значит, что мы говорим ему: мы хороши, а ты плох. Тут не кто-то хороший отрицает кого-то плохого. Мы, может быть, плохие служители своей собственной правды, мы, может быть, насквозь грешны, но то, чему мы отдаем свое служение, — правда, и от лица этой правды мы судим зло, представляемое другими лицами. Эти другие могут быть очень хороши, искренни и честны, но то, чему они служат, — есть зло. Мы пользуемся ярким проявлением зла и хотим на него указать.

Я не знаю, можно ли по формальным основаниям говорить об «осуждении» или «исключении», — это спор о словах. Для нас важен один факт: Общество должно сказать, может ли оно потерпеть, чтобы в его органическую жизнь входили идеи, представляемые в настоящее время тем лагерем, в котором определенно и открыто стоит Розанов(...).

Свящ. Н. Р. Антонов. Уже два вечера посвящены обсуждению этого дела, но горизонт, однако, не прояснился. Я лично не усматриваю достаточно мотивов, которые определяли бы постановку этого вопроса. Прежде всего, какая исходная точка, с чего сыр-бор загорелся, в чем недоразумение? Совет Общества пишет письмо Розанову и уже заранее бросает ему обвинение в общественной непорядочности. Г. г., такая постановка вопроса не философская и противоречит задачам РФО, это есть petitio principii. Основания, по которым предлагают исключить Розанова, надо, прежде всего, доказать путем общественного обсуждения. Здесь была речь, что не судят личность Розанова, но разве не помои были вылиты на личность писателя?

Председатель. Прошу воздержаться от таких выражений.

Свящ. Н. Р. Антонов. Когда публично и печатно было высказано, что Розанов погрешил против общественной порядочности, то я невольным образом искал и вслушивался, где же материал, где документы? Здесь много говорилось в докладе Философова и о Скворцове, и о татарщине, и о «Земщине», но из идей и из миросозерцания Розанова были приведены только две фразы, которые всех нас ставят на скользкий путь, не на путь философии и религии, а на путь политики. Особенно это ясно было выражено в речи Мейера. Он желает произвести разделение между тем, что есть, и тем, что должно быть. Мы не должны идти по этому пути и должны ярче высказаться. В самом деле, если взять статью Розанова относительно амнистии и возвращения эмигрантов, то здесь может быть поднят вопрос: с какой целью возвращать? Неужели с той, чтобы снова поднять зарю революции... (Голоса: — Довольно!.. Просим продолжать)...

Во второй статье Розанова, где говорится, что Андрюша Ющинский был замучен, мы опять наталкиваемся на факт, который может подлежать обсуждению... (Голоса: Довольно! Председатель останавливает...) Мы, наоборот, должны не устранять Розанова, а должны отдать дань его миросозерцанию(...). Розанов — автор книги «О понимании», автор исследования о «Великом Инквизиторе» и т. д., — уже то великое дело сделал, что тяжелое слово «незаконнорожденный» заменил словом «внебрачный». Если судить Розанова, то надо судить вне политики, надо возвыситься над мелкими интересами дня и момента, преследуя одну правду религиозно-философскую.

Протоиерей М. А. Лисицын. Я хочу сказать относительно кворума; мне думается, что ссылка на устав немножко неудобна, потому что, когда составляли устав, то не имели в виду такого печального случая, какой обсуждается сегодня. Затем, если сегодня судят Розанова, то для этого надлежало бы проверить права присутствующих лиц, потому что, я думаю, среди молодых участников собрания едва ли много тех, которые обладали бы таким правом.

Председатель. Тут присутствуют только члены-соревнователи и действительные члены Общества. Огромное большинство присутствующих, кроме 58 действительных членов, не будет принимать участия в голосовании.

А. В. Карташев. Как председатель Общества, я мог бы оскорбиться замечанием прот. Лисицына, если бы оно не было плодом глубокого недоразумения. Правда, мы физически не можем проверить права присутствующих лиц по паспортам, но по отношению к формальностям мы совершенно корректны. У нас здесь все — члены Общества, вошедшие по именным повесткам, но из них голосуют только 53 человека. Остальные члены-соревнователи, которых теперь в Обществе около 1000, по закону имеют право участвовать в общем собрании с совещательным голосом.

Прот. М. А. Лисицын. Мне кажется,

что у Розанова нет националистической вражды. Он всех зовет в дом в Россию, всем рад: и Айвазовскому, и Антокольскому, и Рубинштейну, так что с этой стороны упрек напрасен(...).

Затем я спрашиваю Д. С. Мережковского: с каким чувством и сознанием он положит в урну листок с осуждением Розанова, Д. С. Мережковский, который 10 лет тому назад трактовал о третьем завете — о завете любви? Или учение его, как взятое напрокат из Гюисманса, — не свое, выдохлось уже?(...).

Вы хотите Розанова отставить от РФО, как некогда и Ломоносова хотели отставить от Академии, но как Ломоносова нельзя было отставить от Академии, так и Розанов неотделим по своей деятельности от РФО(...).

Затем, где же свобода, терпимость? Если уж становиться на этот путь, то Совет, может быть, будет настолько любезен составить катехизис: что могут и чего не могут делать члены РФО(...).

Н. А. Гредескул. Г. г. Перед нами, членами РФО, поставлен собственно вопрос совести и, я бы сказал, чрезвычайно тяжелый вопрос. Когда я обдумывал, в чем он заключается, я не мог не увидеть, что здесь идет речь об элементарной добропорядочности.

Г. г., есть ли в этом отношении какая-нибудь граница или нет? Иначе говоря, я, как член РФО или как человек, перед которым происходят известные явления, — вправе ли я как-нибудь реагировать на эти явления или нет? Тут указывали, что будто бы, вводя точку зрения порядочности или непорядочности, мы разделяемся на хороших и дурных, что мы, одни, превозносимся над другими. Г. г., может быть, это и так, но я считаю, что из-за этого от точки зрения элементарной порядочности отрешаться все-таки нельзя.

В самом деле, из деятельности Розанова нам были приведены две выдержки, и одна из них касается вопроса об амнистии. Я понимаю, что вопрос этот возможно обсуждать с различных партийных точек зрения. Я понимаю человека, который отрицательно к этому относится и доказывает, что не надо амнистии, — но как доказывает? Неужели не издевательство над человеком, над немощью его, над его стремлениями, не издевательство трактовать вопрос об амнистии так, как трактует его в своей статье Розанов? Судите как угодно, но я считаю, что так относиться к живому вопросу, затрагивающему других людей, как бы вы к нему ни относились, — невозможно. Это отношение, мимо которого я пройти равнодушно не могу.

Затем, статья относительно Ющинского. Я понимаю, что тут возможны различные взгляды, и совершенно допускаю, что тут могут быть добросовестные противники, но обвинять всех в продажности — это недопустимо. Если мы — Общество, которое дорожит какими-нибудь общественными нравами, — мы не можем не реагировать, мы должны стремиться искоренить это разбрасывание обвинений в продажности. Сегодня вы меня обвините, завтра я вас, — что же это за смешение языков, где из этого выход?

Здесь указывали, что будто бы против Розанова РФО не реагировало или президиум не реагировал (это подчеркивалось) до тех пор, пока дело не коснулось Д. С. Мережковского и Д. В. Философова. Да, так оно и есть. Для нас не безразлично, что обвинение в продажности коснулось Д. С. Мережковского и Д. В. Философова, так как это коснулось нашего президиума, это коснулось нас всех, ибо это наши ставленники. Бросьте в сторону все мудрствования, представьте себе, что человек бросил вам обвинение в продажности, так как бросили это обвинение Д. С. Мережковскому и Д. В. Философову — нашему президиуму, — это обвинение брошено каждому из нас, кто дорожит человеческими убеждениями, совестью(...). Можно ли безразлично пройти мимо Розанова? Я не вижу возможности, не могу психологически. Я должен признаться, что я когда-то, хотя мало, был знаком с Розановым, беседовал с ним, даже с большим удовольствием. Нельзя не признать, — некоторые даже очень подчеркивали, — что Розанов в своем роде выдающийся человек, но перед каждым из нас не может не возникнуть вопроса прежде всего личного: как мне к нему относиться?

Я, господа, не знаю, может быть, это невозможно, не согласно с высокой моралью, но я не могу не желать для себя возможности не встречаться с В. В. Розановым и не ставить себя в такое положение, в котором будет вопрос, дать ему руку или нет. Так что, с личной точки зрения, это есть только потребность прямо и открыто высказать человеку желание оградить себя от встреч, чрезвычайно тягостных для обеих сторон.

Мне кажется, что мы имеем полное основание не исключать В. В. Розанова, потому что эта мера внешняя. Поэтому я предложил бы этой меры не принимать, а прямо и открыто сказать, что, во-первых, мы действиям В. В. Розанова, о которых доложено в докладе, произносим общественно осуждение, мы, каждый в отдельности, и, во-вторых, адресовать к В. В. Розанову ту самую просьбу, которая была адресована ему нашим Советом, чтобы он дал нам возможность не встречаться с ним в стенах этого Общества(...).

Л. И. Логвинович. Задачи РФО заключаются в том, чтобы, как говорится в Уставе, разрабатывать систематически и всесторонне религиозно-философские проблемы. Когда нам ставят вопрос о личных симпатиях, то ведь это лежит совершенно вне всяких религиозно-философских мотивов(...).

Ф. Р. Дунаевский. Я не являюсь действительным членом Общества, даже членом-соревнователем состою здесь не очень давно. Я не знаю традиций РФО настолько, чтобы вмешиваться в его внутренние дела; я не знаю его деятельности настолько, чтобы судить, кто прав, — президиум или Розанов, и поэтому я вовсе не хотел говорить. Я вообще не хотел выступать здесь; может быть, буду мучиться потом, что я здесь выступал, но я выслушал ряд речей, и никто не сказал того, что, по-моему, является главным в этом вопросе и чего не сказать я не могу, не как член РФО, а потому, что религия и философия для меня не чуждые вещи(...).

Личность Розанова достаточно известна. С одной стороны — противно, мерзко, хочется плюнуть. Я это понимаю. Странным кажется, что Общество не отмахнется от Розанова, который так себя запятнал. А с другой стороны, что-то мешает. Суд — может быть, это не хорошо. И Совет Общества тоже чувствует: может быть, это — суд, а если суд, то, может быть, не хорошо. И вот от этого, чего-то мешающего, создающего двоедушие, Совет Общества отмахивается формальными доводами. Да, судить, может быть, действительно не хорошо, хотя все-таки нужно судить, потому что мы не только РФО, но и люди общества(...). И если кто внушает нам мерзкое чувство, так это именно Розанов, как личность, личность талантливая, высоко одаренная, но, к сожалению, разлагающаяся. Важно не то, что он литератор, — литератора судить нельзя, это противоречит элементарному праву свободы слова, — вопрос идет о суде над Розановым.

И вот я хочу поставить вопрос, что нам мешает сказать: — да, мы будем судить; пусть Христос говорил что угодно, но совершена мерзость, и мы не можем подписаться под этой мерзостью. Что нам мешает сказать так, что мешает поступить так, как обыкновенно поступает всякое общество? — спрашивает Левин в сегодняшнем № «Речи», не касаясь существа дела. В том-то и дело, что РФО должно поступать совершенно иначе, чем все другие общества. РФО не может и не смеет отказаться от тех высоких традиций духа религиозного, духа философского, которые почиют в нем, хотя бы оно этого и не сознавало. Ведь заповедь — это еще не все. Если человек сознает, что он должен непременно что-нибудь сделать, заповедь его не смутит: он может принять грех на свою душу, и он будет по-своему прав.

Вспомните Великого Инквизитора у Достоевского: он берет грех на свою душу. Сказано: «нет больше любви, кто душу свою положит за други своя», но там же сказано и «не убий». и он выбирает то, чего требует его искренняя, настоящая душа. Если душа Совета РФО и душа РФО, ставящая себе определенную, из самых недр этой души выходящую задачу, нашли бы когда-либо, что нужно совершить преступление, то пред лицом высоких заповедей Христа это был бы грех, но этот грех был бы принят, и этот грех нужно было бы оправдать.

Но разве есть здесь такое деяние, разве вы тем, что росчерком пера вычеркнете Розанова из числа членов, совершите политическое, религиозное или философское действие? Об этом нечего и говорить. Конечно, это не будет таким действием(...).

Поймите Розанова, изучите его, и тогда вы сможете знать, как с ним бороться. Тем, что вы вычеркнете его из членов Общества, ничего не изменится. Он будет продолжать писать, а Россия будет его слушать. Христос сказал, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Это и есть центр, это и есть основная заповедь. Не судит тот, кто возвышается так высоко, как Христос; кто читает в сердцах, — знает, что неверующий уже осужден, уже отрешен, лишен того высшего блага, которое доступно только верующим. А дела Розанова не от веры, и поскольку не от веры, постольку он уже осужден. То, что скажет РФО, ничего не может ни убавить ни прибавить...

Д. А. Крючков[9]. Я хочу провести аналогию. Мне кажется, что раз проф. Гредескулом был поставлен вопрос так, что он не хочет встречаться с Розановым потому, что ему тяжело это, может быть, некоторым членам Совета неприятно было бы встретиться с автором «Бесов», если бы он был жив и находился в периоде создания этого произведения, — и вот, некоторые люди, в увлечении, не захотели бы подать ему руки. Что же, было бы это правильно?

Вы сказали бы: мы боремся, тут два лагеря, и потому мы заграждаем вам уста.

Розанов говорит резкие вещи. Я был на нескольких заседаниях Общества и слышал очень резкие вещи, направленные против Православия. Господа, если Вы оскорбляетесь нападками и резкими словами Розанова по отношению к Обществу, то ведь православных оскорбляют резкие слова по адресу Православия. Однако сам Мережковский сказал: «когда я говорил, кто-то назвал меня антихристом, и я был рад, потому что видел, что тут действительно горячо борются».

Борьба, мне кажется, возможна действительно словом, а не заграждением уст(...).

Е. В. Аничков[10]. Я думаю, что я выскажу мнение, которое разделяют очень многие. В прошлый раз, когда я председательствовал здесь, в собрании, мы некоторое время переживали чрезвычайно тяжелое настроение. Я думаю, что для всех и то, что происходит сейчас, чрезвычайно тяжело(...).

Я один из молодых, даже очень молодых членов Общества, следовательно, я не могу апеллировать к тому, как Общество действовало раньше. Я извиняюсь за то, что скажу два слова pro domo sua. Меня привели в это общество не книги Розанова, хорошим знанием которых я и сейчас не могу похвастаться, а совершенно другие обстоятельства, мои долгие научные и литературные занятия, — и я в отношении к Розанову нахожусь в особом положении. Он для меня, как писатель, незначителен и не важен, т. е. я не говорю, что он незначительный писатель, но для меня лично,

для моей души, он никогда значителен не был. Мы сейчас не судим Розанова; происходит нечто другое. Люди, для которых Розанов всегда был очень значителен, которые с ним с самого начала здесь работали и которые очень высокого мнения о Розанове, как мыслителе и писателе, и которые с ним были дружны, — в настоящее время чувствуют огромное затруднение от его последних общественных выступлений. Я его не осужу, если скажу, что эти выступления стоят ниже границы общественно возможного и позволительного. Я искренно и прямо говорю, и это мое мнение, а не суд: — то, что пишет Розанов в последнее время, очень низко, безгранично низко.

Итак, положение вещей таково: Розанов этим людям был чрезвычайно дорог, как мыслитель и писатель; теперь же он пишет такие вещи, которые оскорбляют все их чувства и помыслы, оскорбляют их и как граждан и как людей религиозных.

Правильно или неправильно возник вопрос, которым мы занимаемся теперь в РФО, я этим совершенно заниматься не буду, но вопрос возник, и надо понять всю его важность. Когда такие безобразия, как то, что пишет Розанов, говорятся людьми, за которыми стоит власть (это нужно помнить, что власть, да, власть стоит за теми словами, которые пишет Розанов!), тогда отношение к этим словам должно быть другим, чем если бы власть за ними не стояла.

Тут говорили: разве можно за убеждения исключать людей из той среды, из той деятельности, которая им принадлежит по праву, как людям в этой деятельности сильным?

Я Вас спрашиваю, разве это не фраза, которая звучит совершенно попусту? Слова Розанова об амнистии — не литература, а удар по живым людям. Среди нас есть лица, которые не на почве преступления в области своей науки или своего знания, а по совершенно посторонним обстоятельствам вдруг куда-то вылетают самым спокойным образом, и никто за них не заступится.

То, что я говорю, самая ежедневная правда.

Что же делать нам, когда наши чувства оскорблены до самой последней глубины. Очень просто сказать: «терпите!».

Да, мы и терпим, всю жизнь терпим. Но, господа, когда мы терпим, не пристегивайте к нашему долготерпению евангельские тексты, философские рассуждения, высоту философии и т. п. вещи, это — совершенное кощунство, как в религиозном, так и философском смысле.

Есть такое простое чувство, как сказал проф. Гредескул, — когда хочется не встречаться с человеком-насильником; мы, гонимые, так и старались делать — не встречаться, зная, что люди властные, сильные, хотя бы и близкие нам по связям житейским, нас оскорбляют.

Мы не ходили к этим людям, которые нас оскорбляют, держались в своем углу. Сейчас мы принуждены слушать и читать в печати оскорбительнейшие вещи от сочлена нашего Общества; принуждены слушать и читать это его ближайшие друзья, которые руководят РФО. Вот и судите: правильно ли они поступают?(...).

Вяч. И. Иванов[11]. Господа, я не хотел бы в своей очень краткой речи останавливаться на религиозных мотивах. Развивать этого я не буду. Я скажу только, что если РФО действительно хочет носить имя религии, то вопрос о суде невозможен принципиально; исключение Розанова для нас невозможно, несмотря на то отношение, которое он вызывает в нашей психологии и наших этических чувствах, несмотря на все и quand même, исключение его все же невозможно по религиозным мотивам.

В какой мере РФО признает эти мотивы, остается невыясненным, и потому настаивать на этом я не считаю плодотворным, но я с особенной энергией хотел обратить ваше внимание на то, что писатель вообще несудим и суду не подлежит. Писатель и потомство посмеются над таким судом, если бы он мог состояться; писатель презирает этот суд. Я теперь говорю только о писателе. Что касается Розанова, мы видим в нем человека; но все, выступавшие с попытками обвинения, выступали, я бы сказал, с робостью, даже с нравственною трусостью: говорили, что не человека судят, что не смеют судить человека.

Хорошо, итак человека мы не судим. Кто же остается, кто же осуждается — писатель? Многие говорили: мы судим Розанова-писателя. Вот я и хотел указать, что писатель несудим. Однако остается что-то, и по моему мнению, подлежащее суду. В Розанове это осталось бы, если бы он был в тесном и настоящем смысле общественным деятелем. Тогда это было бы просто и грубо.

Если бы Розанов устно или письменно высказался буквально так: господа, поднимайте погромы, — если бы он призывал к кровопролитию, тогда подобные призывы выпадали бы из сферы писательской деятельности и подлежали бы суду, как заявления, манифестации общественного деятеля, и я тогда первый стоял бы за всевозможное опозорение Розанова.

Но здесь дело иное. Я встречаю с его стороны заявления, может быть, мне непонятные по своей психологической и этической связи, заявления парадоксальные, больше того, отвратительные, внушающие глубокое омерзение, — но если это омерзительное стоит в связи с писательской деятельностью, то здесь мой суд умолкает; писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключать и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху «Переписки с друзьями» и проч., и всякий раз поступали бы смешно и неплодотворно.

Розанов, несомненно, писатель крупный, громадного содержания, писатель, переживающий ту роковую для всякого писателя эпоху, которая проводит его через всевозможные чистилища и унижает иногда до последних унижений. «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Да, он писатель, и потому в моих глазах не подлежит суду. Но, кроме того, он не только писатель, это ответственный голос в стране, где имеется величайшая общественная опасность, и мы ее пережили в 1905 году. Когда торжествовало правительство, то оно, пожалуй, проявляло меньше нетерпимости, чем можно было прочесть в обещаниях партий, готовивших себе торжество. Эти партии обещали нам одну страшную нетерпимость, жестокую цензуру, сыск над писателем и т. д. Принципиально нельзя становиться на эту дорогу. Может быть, пройдет немного лет, и мы увидим, что это была слабость, а не истина, — этот вопрос о Розанове. Может быть, дело будет идти не о том, чтобы исключить из литературного общества какого-то одного литератора, чтобы сделать демонстрацию, чтобы подчеркнуть то, что было 30 раз подчеркнуто и в чем никто не сомневается. Может быть, через короткое время это будет действительно, и тогда посмотрим, что будут говорить. Тогда, может быть, вспомнят и мои слова те люди, которым в настоящее время это непонятно.

Писателя не должно судить и писателя вовсе не нужно исследовать. Дайте ему амнистию раз навсегда, проявите к нему великодушие или благодарность — как хотите.

Затем, как Розанов исключается? Как Розанов, т. е. разом — и как человек, и как писатель, и как общественный деятель? Мне хотелось только сказать, что общественное мнение, сила его в стране, — это, конечно, залог свободы, но сила общественного мнения обратно пропорциональна принудительности.

Итак, если Розанов вас возмущает, проявите общественное мнение именно в том, в чем оно естественно проявляется, т. е. в формах, которые лишены принудительности. Вы скажете: мы общество, и, значит, наш вотум — общественное мнение. Но это софизм.

Это будет вотум большинства или это будет показатель того, как разделились не только умы, но сердца, и психологии, и совести по вопросу о Розанове...

Нет, общественное мнение покоится на том, о чем говорил проф. Гредескул. Каждый отлично знает, как ему относиться к Розанову, каждый свободен поступать, как ему подсказывает совесть. К чему непременно эта принудительность, непременно подчеркивание, исключение по такой-то статье? Затем внесение отвратительных полицейских и судейских навыков в эту свободную сферу, где, казалось бы, мы должны так свободно дышать?

Убеждаю Вас не исключать Розанова...

А что касается до неодобрения Розанова, то, мне кажется, это было бы риторическим заявлением. Нам говорят: РФО должно выявить одно лицо, не быть двуликим и двоедушным.

Господа, я боюсь пожелания, чтобы Общество получило одно лицо и одну душу. Я уверен за себя, что у меня есть лицо и душа, также уверен за другого и третьего, кого я люблю, кто мне дорог, знаю колеблющихся, знаю, что они переживают, — но знаю также, что у каждого из них есть свое решение. Однако если давать Обществу одно лицо и подводить всех под одну линию, это не значит, что Общество получит одно лицо, это значит, что оно обезличится.

Что же будет? Будет нивелировка, какой требуют Мережковский и Совет, и только. Это неладно.

РФО должно быть многоголосым и многодушным, и, если из этой какофонии голосов, из этого многодушия будет создаваться гармония, при которой хоть и будут различия, но будет торжествовать одна нота господствующая, как, например, ясно слышалось у всех без исключения ораторов осуждение Розанова за эти гнусные выходки и по поводу амнистии и по поводу Ющинского, — тогда родится мнение без принуждения; это будет гораздо полнозвучнее, полнодейственнее, и, главное, будет цветистее. А мы будем иметь спокойную совесть, и нам не будет казаться, что мы жертвы какой-то искусно ведомой, с хорошими целями, но все же тиранической демагогии.

Н. А. Макшеева. Исключение Розанова... Как больно ударяют эти слова в самое сердце тех, кто бывал еще в первых Религиозно-Философских собраниях, кто чутко следил за выступлениями этого особенного, проникновенного до гениальности, парадоксального до безумия человека. Сколько он поднял вопросов, самых жизненно насущных, как он умел их поднимать!.. «Не я интересен, а моя тема», говорил он, и, поистине, его темы были животрепещущи. Чего стоил один семейный вопрос, которого он был поэтом, рыцарем: ведь его усилиями было улучшено положение внебрачных детей.

Да, этот человек будил, толкал, сам толкался в двери церкви, готовый целовать каменные плиты, под которые сам же подкладывал динамит. Все в нем переплетено из противоречия, из дерзости и самоуничижения, из возвышенного и смешного. И с этим считались, и это нравилось, пленяя и друзей, и врагов, потому что было своеобразно, потому что вносило поток свежего воздуха под своды, закопченные схоластикой. Но из-под налета копоти открывались дивные фрески, способные зачаровать дерзновенного борца. Застрельщик вызывал отпор, заставлял вооружаться тех, кто ранее бездействовал, — гонения естественно вдохновляют апологетов.

Этого человека приветствовали, превозносили до небес, называли русским Лютером, доходили до крайностей, которыми так изобилует русская жизнь. И теперь его же, В. В. Розанова, хотят исключать из РФО, которое он питал

своими вдохновениями, которое развилось под толчками его искрометной мысли.

Почему же теперь Религиозно-Философскому Обществу расходиться с Розановым из-за политики, когда оно прежде терпело его кощунственные речи (вспомним слова о злом Боге, стоившие закрытия первых Религиозно-Философских собраний)? Иррациональный по природе, Розанов способен на всякие крайности, в нем настроение не знает узды, но таково его внутреннее существо, отсюда проистекают и его очарование и слабость.

Мне лично представляется странным, каким образом он, поэт Ветхого Завета, восстает теперь против еврейства, подрубает корни дерева, на котором он сидит. Но непоследовательностью он себя обессиливает, при разномыслии же существует полемика, а не отлучение. РФО не политическая партия, требующая от своих членов идти в ногу. Тем пышнее оно расцветает, чем разнообразнее выражены его мысли, включая в себя и славянофильское настроение, и призывы к новой общественности. К. Леонтьев мог бы сидеть рядом с Вл. Соловьевым.

Розанова надо сохранить в интересах самого Общества, как большую двигательную силу. Он говорит, что поэт носит музыку в душе, а у него она звучит. Ради этой музыки прощались ему самые его уклонения от христианства, особенно после того, что он плакал горькими слезами в «Уединенном» и «Опавших листьях» — «Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и Кресте?». Начинает прозревать он — «Тогда все объясняется. Тогда Осанна. — Но так ли это? Не знаю»...

«Если он утешитель, то как хочу я утешения, и тогда Он — Бог мой. Неужели? Какая то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать — встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все объяснится».

Розанов идет ко Христу, идет, как и все мы, спотыкаясь. Но нам ли его отвергать?(...)

Председатель. От действительных членов В. А. Степанова [12], А. Я. Ефименко [13], А. А. Мейера, Н. А. Гредескула, А. Г. Волочковой и Е. В. Аничкова поступило в Совет РФО следующее предложение. «Ввиду неясности устава при решении вопроса об исключении из общества кого-либо из членов обществв и ввиду необходимости обсуждать вопрос по существу, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем вам вместо голосования вопроса об исключении Розанова из общества на основании ст. 26 Устава обсудить и голосовать следующую резолюцию: «выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле».

Ввиду того, что совет отказывается от первоначального предложения внести на решение Общества вопрос об исключении Розанова, я предлагаю голосовать прочитанную резолюцию. Разумеется, в голосовании могут принять участие только действительные члены Общества(...).

Свящ. П. Е. Раевский. Я бы просил поставить на голосование вопрос об исключении.

Председатель. Совет отказался от своего первоначального предложения.

Д. В. Философов. От имени совета делаю внеочередное заявление. Мы не отказывались ни от чего. Мы присоединились к внесенному предложению для того, чтобы доказать, что вовсе не желаем заниматься формальными вопросами, судейскими обязанностями. Мы присоединяемся к мнению шести уважаемых членов общества для того, чтобы не порождать лишних разговоров и покончить ясно и определенно с вопросом. Меня крайне удивляет, что действительный член общества, свящ. Раевский, считает возможным указывать нам, какие мы должны от своего имени предлагать резолюции. Если говорить откровенно, сегодня судили не только Розанова, сегодня четыре часа судили нас и, следовательно, от нас зависит, что мы предложим на обсуждение Общества, тем более что вопрос стоит так: и если резолюция не встретит большинства, мы слагаем с себя обязанности(...).

Д. С. Мережковский[14]. Есть известный минимум, на который совет может идти, и этот минимум выражен в предложенной резолюции. В случае, если етот минимум не будет принят, то совет уходит, ибо все время так и ставился вопрос — или мы, или Розанов. Резолюции можно предлагать до бесконечности и смягчать, но мы не можем пойти дальше известного предела. Этот предел и указан внесенной резолюцией. Ни от чего мы не отказываемся. Для нас эта резолюция имеет, разумеется, значение не юридическое; но с самого начала мы не хотели стоять на юридической почве. Если Обществу не угодно будет принять эту минимальную формулу, то нам здесь больше делать нечего.

Свящ. К. М. Аггеев. Изменения могут быть не по пути смягчения, а по пути усиления, что будет более соответствовать настроению присутствующих лиц. Я ету резолюцию оставляю, но только предлагаю прибавить «признав теперешнее миросозерцание В. В. Розанова глубоко противоречащим христианству и осуждая» и т. д.

Д. С. Мережковский. Нет, тут суд заключается в общественности. Мы не имеем права иначе судить: это будет уже инквизиционный суд.

Председатель. Теперь без четверти час. Вопрос достаточно обсуждался, и, очевидно, должен быть предел. Я прошу подавать резолюции, которые и проголосую. Пока у меня имеются две резолюции. Прения прекращены. (Читает одно дополнение к резолюции): «Общество считает, что присутствие Розанова в его среде будет явным насилием над обществом».

Я сначала проголосую предложение Совета, а затем дополнение. Ставлю на голосование резолюцию: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле». Голосование будет происходить записками. Форма принятия — плюс, форма неприятия — минус. Форма воздержания — пустая записка. (Производится голосование записками.)

Председатель. За принятие резолюции высказалось 41 лицо, за непринятие — 10, при 2-х воздержавшихся. Всего голосовало 53 лица. (Аплодисменты). Затем ставлю на голосование поправку к резолюции: «и полагает, что дальнейшее пребывание В. В. Розанова в среде общества явится явным насилием над большинством общества». Ставлю на голосование это дополнение в том же порядке. Поправка отклоняется 24 голосами против 9.

Председатель. Объявляю заседание закрытым.

Дополнительное сообщение от Совета

После заседания 20 января Совет уведомил В. В. Розанова о принятой на этом заседании резолюции и послал ему в обычном порядке, как не исключенному юридически члену Общества, повестку на следующее очередное собрание. На повестке данного заседания, между прочим, в числе лиц, предназначенных к баллотировке в действительные члены Общества, стояло имя С. О. Грузенберга, автора книги о Шопенгауэре и многих других философских трактатов, отчасти сопредельных с теологией.

По получении советского уведомления и рядовой повестки, В. В. Розанов прислал председателю Общества следующее письмо, которое и было доложено ближайшему общему собранию без всяких комментариев.

Господину Председателю
Религиозно-Философского Общества
в Петербурге

Милостивый Государь
Антон Владимирович!

Благодарю Вас за присылку повестки и официальной бумаги от имени Совета Общества, — я из первого документа усмотрел, что между прочими лицами баллотируется «в действительные члены» нашего Общества г. С. О. Грузенберг. Не находя никакой возможности находиться в одном Обществе с г. Грузенбергом, по моральным причинам, существо коих после Киевского процесса должно быть Вам ясно, честь имею покорно просить Вас одновременно с принятием в действительные члены названного выше лица, исключить меня из действительных членов Религиозно-Философского Общества, о чем прошу Вас официально доложить Совету Общества.

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении.

В. Розанов.

С.-Петербург, 15 февраля 1914 г.

Сознательно или нет, в данном письме В. В. Розанов смешал имя С. О. Грузенберга с представлением об известном защитнике Бейлиса — О. О. Грузенберге. Существа дела того законного вывода, какой сделал из этого Совет, вычеркнув имя Розанова из списков членов Общества и прекратив ему с того момента посылку повесток, — это конечно нисколько не меняет. Если О. О. Грузенберг и не состоит в настоящее время членом нашего Общества, то, конечно, во всякий момент он может войти в него, если только пожелает.

Приведенной мотивировкой своего выхода из Общества В. В. Розанов встал на совершенно тождественную с Советом и большинством Общества точку зрения и открыто подписался под принципиальной правильностью всей постановки его дела в РФО. В. В. Розанов с некоторым запозданием признал и для себя обязательным то элементарное правило общежития, по которому не только сидение рядом, но даже зачисление в списки какой-либо организации, не есть факт безразличный для характеристики и общественной деятельности любого члена общества, все равно правого или левого направления.

Оправдав, таким образом, действия Совета и изобличив себя самого, В. В. Розанов лучше чем кто-либо изобличил несостоятельность и всех своих защитников.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Карташев А. В. (1875—1960) — профессор Петербургской Духовной Академии. Начав с благословения владыки Антония сотрудничать в Религиозно-философских собраниях, сблизился с Мережковскими и оставил духовную карьеру. Поступил в Публичную библиотеку, где работал вместе с Философовым и А. И. Браудо, видным масоном. Входил во Временное правительство. Об участии в ложе «Великий Восток народов России» см. в публикации В. И. Старцева.

[2] Философов Д. В. (1872—1940) — критик, публицист. О принадлежности его к масонской ложе см. в публикации В. И. Старцева.

[3] Председателем на собрании был ученый-экономист М. И. Туган-Барановский (1865—1919).

[4] Алексеев С. А (псевд Аскольдов, 1871—1945) — русский религиозный философ.

[5] Струве П. Б. (1870—1944) — известный економист, вместе с М. И. Туган-Барановским принадлежал к так называемым легальным марксистам, редактор либерального журнала «Русская мысль».

[6] Чеботаревская Александра Николаевна (1869—1945) — сестра жены Ф. Сологуба Анастасии, переводчица

[7] Гарт С. С. (Зусмая С. С., 1913—?) — публицист, одно время играл активную роль в партии октябристов. Как сотрудник Публичной библиотеки, возможно, был связан с Карташевым, Браудо и Философовым.

[8] Мейер А. А. (1874—1939) — философ. О членстве в масонской ложе см. в публ. В. И. Старцева, где он ошибочно назван Майером.

[9] Крючков Д. А. (1887—1938) — поэт-эгофутурист, литератор.

[10] Аничков Е. В. (1866—1937) — критик, историк литературы. О принадлежности к масонам см. в публикации В. И. Старцева.

[11] Иванов Вяч. И. (1866—1933) — поэт, теоретик символизма, критик.

[12] Степанов В. А. — о его принадлежности к масонам см. в публикации В. И. Старцева.

[13] Ефименко А. Я. (1848—1919) — историк и этнограф.

[14] Мережковский Д. С. (1865—1941) — поэт-символист, прозаик, критик. О его принадлежности к масонству см. в публикации В. И. Старцева.

Острые скобки

В. В. Розанов. «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ. КОРОБ ВТОРОЙ»

(ФРАГМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ КНИГИ «МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ», М., 1989)

В 1989 г. вышел сборник произведений В. В. Розанова «Мысли о литературе» под редакцией А. Н. Николюкина. Помещенный в сборнике второй короб «Опавших листьев» был опубликован с цензурными изъятиями. Всего в тексте сделано 17 купюр: 13 мелких (объемом в 3—30 строк) и 4 достаточно крупные (от 120 до 1100 строк). Мелкие изъятия носят чисто идеологический характер. Это «листья», или фрагменты «листьев», Розанова, посвященные социалистической революции и «еврейскому вопросу». Что касается крупных изъятий (на стр. 390, 485, 491 и 495 сборника), то очевидно, что сокращения в розановском тексте сделаны по техническим причинам, хотя, конечно, удар, в общем, пришелся и здесь на те места, где наиболее густо гнездились «идеологически вредные» розановские мысли.

Ниже мы публикуем полностью 13 мелких изъятий и соответственно те места из крупных пропусков, которые не попали в текст сборника явно не по техническим, а по идеологическим соображениям. В начале каждого отрывка указана страница «Мыслей о литературе», где купированное место обозначено многоточием в острых скобках. Текст печатается по прижизненному изданию «Опавших листьев».

с. 362

Евреи слишком стары, слишком культурны, чтобы не понимать, что лаской возьмешь больше, чем силой. И что гений в торговле — это призвать Бога в расчет (честно рассчитаться).

Они вовремя и полным рублем рассчитываются[1]; и все предложили им кредит. Они со всеми предупредительны; и все обратились к ним за помощью.

И через век вежливости, ласки и «Бога в торговле» — они овладели всем.

А кто обманывал — сидит в тюрьме; и кто был со всеми груб, жесток, отталкивающ — сидит в рубище одиночества.

(ночью в постели, читая письмо еврея Р-чко).

[1] Статья в законах Моисея, которую полезно бы переплести в «Правила Св. Апостол» и в «Кормчую»: «не задерживай до завтра-утра плату, которую ты должен уплатить работающему вечером сегодня». (Прим. Розанова).

с. 370

Что это было бы за Государство «с историческим призванием», если бы оно не могло справиться с какою-то революциешкой; куда же бы ему «бороться с тевтонами» etc., если б оно не справлялось с шумом улиц, говором общества и нервами «высших женских курсов».

И оно превратило ее в Polizien-Pevolution, *«в свое явление»:* положило в карман и выбросило за забор, как сифилитического неудачного ребенка.

Вот и все. Вся «история» ее от Герцена до «Московского вооруженного восстания», где уже было больше полицейских, чем революционеров, и где вообще полицейские рядились в рабочие блузы, как в свою очередь и со своей стороны революционеры рядились в полицейские мундиры (взрыв дачи Столыпина, убийство Сипягина).

«Ряженая революция»: и она кончилась. *Только с окончанием революции, чистосердечным и всеобщим с нею распрощанием,* — можно подумать о прогрессе, о здоровье, о работе «вперед».

Эта «глиста» все истощила, все сожрала в кишках России. Ее и надо было убить. Просто убить.

«Верю в Царя Самодержавного»: *до этого* ни шагу «вперед».

(за другими занятиями).

с. 371

Да жидов оттого и колотят, что они — *бабы:* как русские мужики своих *баб.* Жиды — не *они,* а оне. Лапсердаки их суть бабьи *капоты:* а на такого кулак сам лезет. Сказано — «будешь *биен*», «*язвлен* будешь». Тут — не экономика, а мистика; и жиды почти притворяются, что сердятся на это.

(выпустил из коррект. «Уедин.»).

с. 386

Сила евреев в их липкости. Пальцы их — точно с клеем. «И не оторвешь».

(засыпая).

Все к ним прилипает и они ко всему прилипают. «Нация с клеем».

(утром завтра).

с. 399

Революция русская вся свернулась в тип *заговора;* но когда же заговор был мощен против государства, а не против лица? Революция русская и мучит лиц, государство же русское даже не чувствует ее.

«На нашей Звенигородской улице все стоит после 1 марта, как до 1 марта». И ни один лавочник не чихнул.

(в саду вечером).

*с. 400**

Правду предсказывал Горький (в очень милом, любящем письме): «Ваше *Уед.* — разорвут».

<Особенно стараются какие-то жидки из Киева — Колтановский или Полтановский. Раз 6 ругелся.>

Но я довольно стоек. Цв. пишет — «вы затравлены». Ни малейше не чувствую, т. е. ни малейше не больно. Засяду за нумизматику, и «хоть ты тут тресни». *Я сам собрал* коллекцию богаче (порознь), чем в киевском и чем в московском университетах. И которые собирались *сто лет.*

* Этот «лист» в сборнике под ред. А. Н. Николюкина опубликован, но без фразы в острых скобках.

с. 402

Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»...

* *
*

Паук один, а десять мух у него в паутине.

А были у них крылья, полет. Он же только ползает.

И зрение у них шире, горизонт. Но они мертвы, а он жив.

Вот русские и евреи. 100 миллионов русских и 7 миллионов евреев.

(засыпая).

* *
*

Погром — это конвульсия в ответ на муку.

Паук сосет муху. Муха жужжит. Крылья конвульсивно трепещут, — и задевают паука, рвут бессильно и в одном месте паутину. Но уже ножка мухи захвачена в петельку.

И паук это знает. Крики на погромы — риторическая фигура страдания того, кто господин положения.

* *
*

Погром — грех, жестокость. Погром — всегда убийство и представляет собою ужас. Как убийство при самозащите есть все-таки убийство. И его нельзя делать и можно избежать, — прямою физическою защитою евреев. Но сделав это — надо подрезать паутину по краям, и бросить ее, и растоптать. Еще нужно освободиться от паука и вымести из комнаты все паутины.

с. 407

Сижу у Рцы. Жена (оч. милая, — уж мало зубов) и говорит:

— Не выношу жидов, я всех бы истребила...

Смех. Она прекрасная хозяйка, семьянинка и безукоризненно честная и искренняя женщина; по плодородию и семейности — в самой есть что-то библейское.

— Когда родилась у меня последняя девочка, то соседка наша, еврейка, — в Гатчине, — вбегает и спрашивает:

— Кто?

— Девочка.

Она (еврейка) опустилась. И, поднявшись, сказала:

— Если бы мальчик, то вся Гатчина закричала бы (радуясь, сочувствуя).

— Вот! вот! — сказал Рцы. — Ругайте евреев, кляните, но признайте же и у них достоинство.

Р. (талантливый еврей в Москве), написав мне 3-е письмо (незнакомы лично), приписал: «Моей сестре вот-вот родить».

Да. Их нельзя ни порицать, ни отрицать. Только они сами (*теперешние* выродки, интеллигенция) не знают, *«за что»*. Но вернемся к «Гатчине».

Отчего же Гатчина бы так радовалась «мальчику»? С девочкой — такой же *дух*. Да: но *орган* — не тот. Что же, собственно, сказала еврейка, не подозревая сама того?

— Если бы вы произвели, моя русская соседка, новый *мужской орган* от себя, вдобавок к сущим в мире, — вся бы Гатчина закричала от восторга.

Но ведь это совпадает с церемонией «несение фаллов» жрицами греческими, а еще ранее — египетскими. «Нести в процессии» или «воскликнуть городом» — все одно. И кто же смеет отрицать, что в юдаизме скрыто то, что историки немо и мертво именуют «фаллическим культом», и что есть целокупное народное обожание, целокупное народное влечение «к этим... маленьким вещам»...

Религия выразила «этнос».

с. 414

Только русская свободушка и подышала до евреев.
Которые ей сказали «цыц»:
И свободушка завиляла хвостом.

с. 426

Смазали хвастунишку по морде — вот вся «История социализма в России».

(на прогулке в лесу).

с. 459

Как раковая опухоль растет и все прорывает собою, все разрушает, — и сосет силы организма, и нет силы ее остановить: так социализм. Это изнурительная мечта, — неосуществимая, безнадежная, но которая вбирает все живые силы в себя, у молодежи, у гимназиста, у гимназистки. Она завораживает самое идеальное в их составе: и тащит несчастных на виселицу — в то время как они убеждены, что она им принесла счастье.

И в одном поколении, и в другом, и в третьем. Сколько она уже утащила на виселицу, и все ее любят. «Мечта общего счастья посреди общего несчастья». Да: но именно *мечта* о счастье, а не работа для счастья. И она даже противоположна медленной, инженерной работе над счастьем.

— Нужно копать арык и орошать голодную степь.

— Нет, зачем: мы будем сидеть в голодной степи и мечтать о том, как дети правнуков наших полетят по воздуху на крыльях, — и тогда и будет легко летать даже на далекий водопой.

(за «Современником»).

*с. 463**

3) *«Юдаизм»*. Вначале — «Замечательная еврейская песнь», потом «Жид на Мойке» (из «Нов. Пути»), «Чувство солнца и растений у древних евреев» и последним — «Юдаизм». Это в I том. Во II том, с подзаголовком «Материалы», толстая тетрадь у меня в библиотеке, еврея Цинхенштейна; и затем бы — но этого никто не сумеет выбрать — отмеченные места из «Талмуда» и из «Ветхозав. храма».

с. 485

Обрезание — конечно новобрачие. Обрезание — медовый месяц человечества. Отсюда — привет «молодой луне» (у евреев праздник) и «луна» магометан (т. е. тоже обрезанцев); и все «обрезанные» *оттого*, что *обрезаны*, — чувствуют себя новобрачными.

Ну, а «новобрачные» и в хибарке веселы (оптимизм евреев).

Все это, когда больна жена, — просто ненужно. Неинтересно. «Не хочу смотреть». Не *думаю*.

Христос и вошел и это «не думаю». Это — еще вера: в той печали, когда всякая вера темна.

Вот как *здесь* надо молиться...
Научил.
Так ли?

* * *

Революции происходят не тогда, когда народу тяжело. Тогда он молится. А когда он переходит «в облегчение»... В «облегчении» он преобразуется из человека в свинью, и тогда «бьет посуду», «гадит хлев», «зажигает дом». Это революция.

Умиравшие от голоду крестьяне (где-то в Вятке) просили отслужить молебен. Но студенты на казенной стипендии естественно волнуются.

А всего больше «были возмущены» осыпанные золотом приближенные Павла I, совершившие над ним известный акт. Эти — прямо негодовали. Как и гвардейцы-богачи, высыпавшие на Исаакиевскую площадь 14-го декабря. Прямо страдальцы за русскую землю.

Какая пошлость. И какой ужасный исторический пессимизм.

Как объясняется роковое, черное, всемирное: «нужно несчастье».

Оно объясняется из какого-то врожденно-сущего — в «закваске» мира — неблагородства.

Страдаем — и лучше.
Счастливы — и хуже.
О, какой это *Рок*.

* *
*

21 ноября

Оттуда и пошел этот тон самодовольства, самонадеянности, самомнения и «всех победим», даже «завтра же». Но с миллионом в кармане и вне досягаемости для «III-го отделения» отчего же и не быть в самомнении. С миллионом и кроме того с 1.000 способностей, если и не глубоких, то очень видных. За этот «гуж», однако, «по примеру» ухватились и студенты с 5-ю рублями в кармане и нищие курсистки с одною готовностью «любить» и «все отдать» (без дурного намека), и вот им пришлось очень тяжко. Да и способностей таких нет, хотя, может быть, более глубока душа. Пришлось очень тяжко. Русская революция или скорее «русский протест» взял в Герцене неверную ноту, слишком высокую ноту, — фистулой и поднявшись на цыпочки пальцев. Но уже нельзя в середине «спустить тон»; получится какофония и невозможное. Так в Герцене, собственно, не зародилась, а *погибла* русская революция, с тех пор кричащая петушком и топчущаяся на одном месте, с его франтовским лозунгом: «ни пяди назад»! «Мы, русские, *на меньшем* не помиримся».

И едят, бедные, селедочку, запивая водочкой, ночуя с «курсихой» и завтра надеясь проснуться в заре торжествующего социализма.

Общественная политика, роль *общества* в политике, его *сила и значительность* в политике — начнутся тогда только, когда оно почувствует мужество отречься от Герцена и прежде всего не уважать в нем *литератора* (отвратительный тон).

Сказать ли наконец истину (которую едва сознают через сто лет), что *общественная* роль в политике начнется только с момента, когда общество, сняв шапку, поклонится Государю и скажет:

— Ты первенец Земли Русской, а мы — десятые и сотые. Но и сотые, и десятые имеют свой час, свой урок, свою задачу, свою судьбу, свое указание от Бога. Иди и да будут благословенны пути твои. Но и ты, оглядясь на своих деток, — благослови тоже наши шаги.

Вот путь Розанова, а не Желябова. Розанов написал книгу «О понимании», и ему можно поверить больше, чем мужичонке, все качества которого заключались в том, что в него была влюблена «генеральша (по отцу) Перовская». Но генеральши иногда и в конюхов влюбляются (Некрасова «Огородник», Фаустина — жена Антонина Пия).

(в постели ночью).

* *
*

Я сам прошел (в гимназии) путь ненависти к правительству... к лицам его, к принципам его... от низа и до верхушки..., — путь страстного горения сердца к «самим устроиться» и «по-молодому» (суть революции), и след. мне можно поверить, когда в 57 лет (а, в сущности, начал еще в университете) я говорю, что в России нельзя ничего сделать без Государя и без веры в него; это, во-первых, и вовсе еще не главное: а самое главное, что (не говоря об эмпирических исключениях, которые «простим») Государь есть в точности лучший человек в России, т. е. наиболее о ней думающий, наиболее за нее терпевший (ряд государей, «дипломатические поражения», «конфуз» за отсталость), наиболее для нее работавший (сколько *проработал* Александр II!), и вместе — пока что — наиболее могущественный что-нибудь для нее сделать. Он есть лучший человек в России и, поистине, Первенец из всех потому, что самим положением своим и линией традиции («с *молоком* матери» и «врожденные предрасположения») не имеет *всецелым содержанием* души никакого другого интереса, кроме как благо России, благо народа, в условиях бессословности и внепровинциальности. Самая выработка такого лица, поистине, есть феномен и чудо: и, поди-ка, если б его не было, создайте другое лицо, которое бы думало «только о народе, его благоденствии и славе». Так думали герои и святые, — как Перикл: и за то сколько его славят. Славят, собственно, не за успехи (какие особенные успехи у Перикла?), а что вот нашелся же «частный человек», который «всего себя посвятил Отечеству», и у которого вне Отечества не было своей и особой, личной и домашней мысли. Таковы были Перикл, Кимон и еще немногие, человек семь. Аристид. Но уже Фемистокл не был таким, и не был таким Кромвель, Цезарь, величайшие из «республиканцев». Итак, человек семь всего. Какой же феномен и *святое* чудо, что веками терпения и страдания, веками покорности и *молитвы за царей* (вероятно, и гипнотически, магически это действует) русский народ выработал *такое учреждение*, такую «должность» и «лицо», что как вот *новый* вступает «в него», он вдруг начинает думать и действовать «как Аристид и Кимон», т. е. с молитвой только об одном — «как можно справедливее, как можно «лучше стране», и — «ничего мне», «ничего особого и отдельного мне». Царская власть есть чудо. Подите-ка во Франции вот *теперь* зародите ее, когда раз она исчезла. Только через 500 лет может вновь явиться — в меньший срок нельзя сделать. Но *ошибаться* и даже *вредить* могли и Аристид, и Кимон. Однако в царской власти и через ее таинственный институт побеждено чуть не главное зло мира, которого никто не умел победить и никто его не умел избежать: *злая воля, злое желание, — злая, злобная страсть*. Дело не в ошибках: поправить

* Розанов приводит возможный план своего собрания сочинений. Он опубликован в сборнике под ред. А. Н. Николюкина без этого пункта.

всякие ошибки ничего не значит; в истории и даже в мире, в сложении его, в корнях его лежит и *всему присуща* злая, безобразная воля: Каин, Дьявол, Люцифер. Вот с чем не могли справиться народы и от чего человечество невыразимо страдало встречаясь, с чем гибли народы и разбивались целые цивилизации. Это — то метафизическое зло истории и даже метафизическое зло мира побеждено выработкой в сущности сверхисторического явления, явления какого-то аномального и анормального (конечно!) — царя: в котором зложелательность pur sang есть contradictio in adjecto, невозможность и небываемость. Вот почему злоумыслить что-нибудь на царя и отказать ему в повиновении если он по болезни страстен и гневен (Грозный), или даже если бы он был лишен рассудка — *ужасная вещь в отношении всей истории*, всего будущего, тысячи лет вперед; ибо это неповиновение или это злоумышление могло бы в последующих государях разрушить то главное, что составляет суть всего: их благость и их всецелую без остатка для себя благорасположенность ко всем и всему окружающему в стране своей. Перикл, зная, что его «изгонять» или могут изгнать, вдруг стал бы «откладывать в копилку про черный день и на случай». Из царя именно исключен «случай» и «черный день». Все дни царя суть светлы, и о светлых днях ему молится весь народ, ибо непрерывный свет в духе царя есть тот свет, которым освещается вся страна. Вот отчего история с Павлом I была черна, подла, омерзительна для воспоминания, и ее антиблагой характер, «вредный последствиями», был как бы мы проиграли 12-й год; отчего г. г. из Женевы и Парижа и должны быть не просто казнимы, а истребляемы, ибо сами они истребляют, в сущности, весь свет, всю радость, весь смысл, которым живет и осмысливается и оформляется весь русский народ. Вот отчего «раздражить» Государя, сделать ему «огорчение» есть величайшее народу злодеяние. «Перикла обворовали», «Периклу дали пощечину», «за Периклом гонялись с пистолетом» — «Нет Перикла!» — Ну, а что значит «нет Перикла» для Афин — это знает Иловайский, да и не он один. Вот отчего истребление всяких врагов Государя и всякой вражды к Государю есть то же, что осушение болот, что лучшее обрабатывание земли, что «дождь для хлеба» и проч. Никакого черного дня Государю, все дни его должны быть белы — это *коренная забота народа*, на которую, как на хорошую пахоту — урожай, отвечает любовь *всемогущего* существа о народе, труд для него, забота о нем.

Теперь — о вере, Евангелии и Христе. Т. е. о Церкви, которая ничего еще и не делает и ничего еще и не имеет, кроме как хранить, говорить, учить и распространять Евангелие, Христа и Вечную Жизнь.

Едва я сказал, как все закричат: «Да ведь это цивилизация!» Это уж не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20-ти томах, это не «Наш Николай Григорьевич» (Чернышевский), все эти лапти и онучи русского просвещения, а это цивилизация *в самом деле* от пришествия Гуннов и Алариха до Эдуарда Исповедника, до Крестовых походов, до рыцарства, до Сервантеса, до Шекспира и самой Революции. Что же тут трясутся «в изданиях Пирожкова» Ренан и Штраус: да их выдрать за уши, дать им под зад и послать их к черту. Если запищат наши «Современники» и девица Кускова — сослать их за Кару. Что же делать с червяком, который упал с потолка вам в кушанье? Таковою берут в ложку и выплескивают к черту. Вечная Жизнь и Бокль, проповедь Апостолов и 43 года «Вестника Европы», который не удостоил их хотя бы когда-нибудь назвать по имени и, верно, не знал, что их «12» («*исторический журнал*»). Какое же рассуждение: «Вестник Европы» нужен 6.000 своих подписчиков, Евангелие *было* необходимо человечеству двадцать веков, *каждому* в человечестве. Кто же бережет лопух, который заглушает сад, кто бережет червя, который ест яблоко, и кто бережет разбойника, который режет на дороге? Никакого рассуждения, что все это к выбросу. Но я говорю о корнях (исторических), когда хочу рассуждать: в Евангелии, в одной книге, и в Церкви, т. е. в одном учреждении, Европа — не русские и не немцы, а Европа — имеет *то одно*, как бы «в горсть взятое», чего не имели Греция и Рим, не имеют и Китай и Индия. Ибо там если и есть Будда и Конфуций, то это — философия, которая еще имеет соперничество в более древних лицах. Но Европа и только *одна она* имеет *одно рождение* из одного Лица — Христа. Нет «Европы», а есть «Христианский мир», и все знают, что «Христианский мир» обширнее, многозначительнее и вечнее «Европы», а «Христос» обширнее «Христианского мира» и есть «Вечность» и «Все».

Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку надо было драть за уши, а «Николаю Григорьевичу» дать по морде, как навонявшему в комнате конюху. Что никаких с ними разговоров нельзя было водить. Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять. Догадываетесь ли вы, наконец, что цивилизация XIX века, которая в значительной степени есть антихристианская, была вовсе не «цивилизация», а скандал в ней, и не «прогресс», а «наследили на полу» и надо это подтереть. Пришли свиньи и изрыли мордами огород: это не значит, что огороду не надо быть и надо к осени остаться без овощей, а значит, что свиней надо прогнать или заколоть, а гряды поправить, вырытое вновь всадить в землю и по осени собирать плоды.

И вот эта «Церковь» — она уже до того превосходит Россию, она до того превосходит Европу, что Русский Царь, о котором я сказал все слова, какие сказал, — Он склоняется перед одною Церковью, как Вечным Источником жизни всех — и так же страшится и испуган Ее огорчить, как каждый из нас страшится и испуган огорчить Его.

И эти два, в слиянии, образуют Свод над мужиком и Русью, над каждым и всеми. Какого не имели ни Рим, ни Афины.

. . . .

(*устал. Ночью в кровати* 21 ноября).

* *
*

Весь парламент есть, в сущности, бодливость безрогих коров и «критика на быка» раздувающейся лягушки. По крайней мере наш парламент и по крайней мере до сих пор.

Удался, и с достоинством, он только в Англии. Там он — *народен* и «с осанна». У нас он в противоречии «*с Господи помилуй*» и, вероятно, просто пройдет.

Нам нужно что-то другое. Что — не ясно.

К числу безумств нашего 2-летнего ребеночка относится то, что он уже оскорбил Церковь. Этого «уже» никак не сотрешь и последствий его никак не избежишь. Последствие же есть то, что церковному народу он останется навсегда чужд и враждебен, а бесцерковные частицы в народе суть хулиганские. Хулиганство он потянул к себе, а историю оттолкнул. Что же с ним делать и куда его девать? Ибо такие вещи можно «девать», а «сделать из них» — ничего нельзя. И сделал он это ради сущих пустяков.

Парламент наш даже не есть политическое явление, а просто казенный клуб на правительственном содержании. Если бы он был *политическим явлением*, он сейчас же, родясь, — начал бы союзиться, искал «усилиться». А «наш 5-тилеток» сейчас же заявил:

— Я, па-па-ся, у-сех сильнее.

Пока его не ударили по носу. Тогда наш осетр нырнул в воду, а затем даже неизвестно куда пропал: поехал в Лондон и только через год аукнулся в Париже. До того, бедный, испугался. Да и все они вообще чрезвычайно пугливы. Родичев сделал оскорбительный намек («столыпинский галстук»), — но не только потом извинился, а захворал от проявленной храбрости («букеты» дам больному).

Между тем роль его была действительно велика и в высшей степени проста. Нужно было избавиться от того «крапивного семени», с которым войну начал еще Сумароков, — от чиновничества. Точнее — не избавиться, а серьезно подчинить себе и своему активному возбуждающему контролю. Для этого надо было именно осоюзиться с Царем, с духовенством, с дворянством, с купечеством, которых чиновник, в сущности, всех «съел». Съел, поставя на место их свою безличность и формальность. Нужно было вернуть «лицо» всем этим угнетенным началам русской истории — лицо, достоинство, деятельность.

Вместо этого парламент у нас явился «журналистом», тем русским журналистом, который беден и потому ругает богатых, без власти и потому ругает людей значительных, — жид и некрещеный, и потому ругает русских и веру. Это нелепое и чудовищное явление, вполне гадкое и в гуттенберговском наборе, стало еще гаже, обсуждая «законы». Оно стало комическим явлением и ничем кроме комических заслуг не может отличиться.

* * *

23 ноября.

Вот что значит рвануться к неудачной теме: Франция гибнет и уже почти погибла (даже население *вырождается*) в судорожных усилиях достигнуть просто глупой темы — Свободы.

Нужно достигать гармонии, счастья, добродетели, героизма, хлеба, женщин; ну, если брать отрицательное — достигать разврата.

А не *пустоты*: а свобода есть просто пустота, простор.

— Двор *пуст*, въезжай кто угодно. Он не занят, *свободен*.

— Эта квартира пустует, она *свободна*.

— Эта женщина *свободна*. У нее нет мужа, и можешь ухаживать.

— Этот человек *свободен*. Он без должности.

Ряд отрицательных определений, и «свобода» их все объединяет.

— Я *свободен*, не занят.

От «свободы» все бегут: работник — к занятости, человек — к *должности*, женщина — к *мужу*. Всякий — к *чему-нибудь*.

Все лучше свободы, «кой-что» лучше свободы, хуже «свободы» вообще ничего нет, и она нужна хулигану, лоботрясу и сутенеру.

К этому-то милому идеалу, «обнимая воздух», Франция и рванулась. И разбилась в пустоте.

Тогда как надо было стремиться к гармонии, порядку и работе. Тогда как можно рваться: к героизму — без Бога, к святости — в Боге.

(каб. уедин. 23 ноября)

с. 491

У социал-демократа одна тоска: кому бы угвоздиться на содержание. Старая барыня, широко популярный писатель, «нуждающийся в поддержке молодежи», певец — все годится.

Не знаю, какую угрозу правительству составляют эти господа.

(клиника Ел. П., курю, выйдя)

с. ***493***

Достоевский, который терся плечом о плечо с революционерами (Петрашевский), — имел мужество сказать о ней: «мошенничество». — «Русская революция сделана мошенниками» (Нечаев, «Бесы»).

Около этого приходится поставить великое

SIC

с. 495

Через 1900 лет после Христа, из проповедников слова его (священники) все же на десять — один порядочный, и на сто — один *очень* порядочный. Все же через 1900 лет попадаются изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной *такой же* (как Герцен), т. е. довольно несовершенной, фигуры.

Это — Революция, то — Церковь.

Как же не сказать, что она вечнее, устойчивее, а следовательно, и *внутренне — ценнее* Революции. Что из двух врагов, стоящих друг против друга, — Церкви и Революции, — Церковь идеальнее и возвышеннее.

Что будет с Герценом через 1900 лет? — с Вольтером и Руссо, родителями Революции? Ужаснется *тысяча девятисот годам* самый пламенный последователь их и воскликнет:

— Еще бы *какой вы срок взяли*!!! — через 1900 лет, может быть, и Франции не будет, может быть, и Европа превратится в то, чем была Атлантида, и вообще *на такой срок — нечего загадывать*... «Все переменится» — и самое имя «революция» станет смешно, едва припоминаемо, и припоминаемо как «плытие Приама в Лациум» от царицы Дидоны (положим).

Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, *истово говорит возгласы*, с чувством необыкновенной реальности, «как бы живое еще». А диакон громогласно речет: «Вонмем». Диакон «речет» с такой силой, что стекла в окнах дрожат: как Вольтер — в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840-м году, когда его ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снедь мышей.

Лет на 300 хватит, но не больше — пара, пыла, смысла.

Отчего же дьякон так речет, а Вольтер так угас?

И при жизни Вольтера, в его живых устах, слово не было особенно ценным. Скажите сразу, не думав, что сказал Вольтер дорогого человеку на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится в ум. А Христос: «блаженны изгнанные правды ради». Не просто «они хорошо делают», или «нужно любить правду», «нужно за правду и потерпеть», — а *иначе*:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное».

Как изваяно. И стоит 1900 лет. И простоит еще 1900 лет, и это скажет тот самый последователь Вольтера, который сказал:

— Еще бы вы *какие сроки* загадываете!..

Евангелие бессрочно. А все другое срочно — вот в чем дело.

И орет дьякон. И я, пыльный писатель, с пылью и мелочью в душе и на душе, стоя в уголке церкви и улыбаясь и утирая слезы, скажу весело и грустно:

— Ори, батюшка, сколько утробушки хватит. И «без сумления» кушай, придя домой, устав, гречневую кашу и щи, и все что полагается, со своей матушкой-дьяконицей, и с детушками, и с внуками. Вы на прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду.

(7 декабря 1912 г.).

* *
*

Автономия университетов, за которую когда-то я так (в душе) стоял, теперь мне представляется совершенно невозможной и ненужной, и позорной для русского государства (которое, как хотите, господа — *есть*: признаемся в этом, хоть и «со стыдом за Россию»). Она вовсе не знаменует свободу университетского преподавания, независимость профессорской корпорации, и вообще отмену «цензуры на науку». Вовсе нет. Эти наивности можно было думать, т. е. даже это *было бы истиною*, если бы профессора in corpore (кроме редчайших исключений, вроде черных лебедей) не обнаружили позорного нравственного ничтожества, полной робости перед студентами, страха перед учащимися и полной от них зависимости.

Ни своего «credo», ни своего «amo».

При таком положении «автономия университетов» была бы собственно автономией студенчества.

Мне Володя (эсдек «в странствиях») и говорит: «*Конечно*, университет принадлежит студенчеству, ибо их *больше*, чем профессоров, да и он существует *для студенчества*».

Действительно: causa materialis и causa finalis (цель и материя учреждения). И вообще это также аксиоматично *для русских*, как — «земля Божия». «Университет — студенческая собственность, студенческое *подвластье*», и «земля — *Божия*» и, значит, — «*ничья*». Аксиома да песенка — неодолимы. Тут поздно рассуждать.

Итак, «автономия университетов», и прекращение действия каких-либо гражданских и общих законов «в их ученых учреждениях». «Потому что там наука» — Причем «наука» или «*я* — наука», об этом судит не третий кто-либо, а собственник, т. е. студенчество же. «Сюда не показывай носу» — в этом суть *всеми представимой* автономии.

«Мы экстерриториальны», как папа в Ватикане.

В целях науки и свободы научного преподавания это, однако, можно было допустить по абсолютной, так сказать, безвредности и бескровности науки. Но если «наука» безбойна, то учащиеся могут быть и не безбойны. Как когда. Явно, однако (и так то, именно, я и думал), что если бы профессора у нас были с «amo» и «credo», то все-таки и среди «бойных» студентов автономию бы можно допустить: ибо произошла бы борьба между профессурой и наукой, и — студенчеством и политикой. Жажда етой борьбы — бесконечная! От нее в значительной степени зависит счастье России, возможный «смысл» ее.

Но профессора вдруг побежали, даже, кажется, еще не битые. Побежали за «хлопанец». Вообще профессора все и всех продали, предали и убежали или соответственнее даже картине — улизнули. «Вот и Иван Иванович» и прозекторша «Катерина Семеновна». И в тот момент, как они «улизнули» — опустилась, и на веки опустилась, занавесь над «автономией университетов».

Единственный ее мотив — воспитание неучившихся и невоспитанных, вообще незрелых, через воздействие и борьбу (вековых) зрелых, воспитанных и ученых людей — этот ее мотив пропал.

Но и студенчество в свою очередь несамостоятельно: оно дергается нитками евреев и заграничных эмигрантов. Нитками «моего Володеньки», которого тоже «дергают». Сейчас по всей России «автономия университетов» перевелась бы на «русские события»: — как возникновение во всяком городе, где есть высшее заведение, «неприступных» цитаделей» для борьбы с «невозможным старым порядком», который, т. е. этот «порядок», туда не может *по статуту* вступить. «Невступаемая крепость», как Ватикан, естественно, непобедима, как Ватикан не может взять вся Италия. У нас же было бы все (все учебные высшие заведения) около сорока «Ватиканов», с правом вылазки и вообще войны.

Ибо «стены-то» университета неприступны, а студенчество — вовсе не в стенах университета, университет — вовсе не пансион, как Ватикан для папы: а оно бродит, странствует. Бродит по всей Москве, по всему Петербургу, ездит «на уроки» по всей России. Их «младшие» — это уже гимназисты, их «старые» — это общество. Словом, университет — клубок, а нити его протягиваются во всю Россию.

«Автономия университетов» поэтому вовсе не обозначала бы и не обещала «свободу научного преподавания», а совсем новое и поразительное: отведение сорока неприступных ни для кого мест, «не воюемых мест» (и это — главное), — людям, объявившим «войну современному обществу и современному строю».

Вот из-за чего велась война, идет борьба. Все прочее — соусы. «Сдай нам крепости, враг»! Во-первых, странно выпрашивать у «врага», — ссылаясь на «просвещение» и «дружбу» и всеобщую «симпатичность молодежи». Дело тут было не только военное, но в высшей степени вероломное. На русскую государственность, «кой-какую», шли Батый, фельдфебель и Талейран.

Фельдфебель — воин, «именуемый враг».

Батый — наша первобытная дикость.

Талейран — это лукавство всяких Бурцевых и Бакаев.

Фельдфебель не страшен России; но в высшей степени могли повредить Батый и Талейран. Да еще которых «нельзя достать» и вытащить из самого «сердца России»: ибо их оберегают «священные стены научного здания».

...как какие-то храмы-обсерватории Вавилона и древних Фив, — с Тимирязевым и Милюковым, один в смокинге и другой в сюртуке, но в париках седых «верховных жрецов» и «с жезлами».

> Тень Герцена меня усыновила
> И в революцию торжественно ввела,
> Вокруг меня рабочих возмутила
> И все мне троны в жертву обрекла.

Пуф, опера и обман. «Ложно-классическая трагедия Княжнина» — не удалась. Запахло водочкой, девочкой, пришел полицейский и всех побил. «Так кончаются русские истории».

* * *

Революционеры берут тем, что они откровенны. «Хочу стрелять в брюхо», — и стреляет.

До этого ни у кого духа не хватает. И они побеждают.

Но если бы «черносотенник» (положим генер. М., бывший на разбирательстве Гершуни) прострелил на самом суде голову Гершуни, не дожидаясь «вынесения приговора» суда, — если бы публика на разбирательстве первомартовцев, перескочив через барьер, перестреляла хвастунишек от Желябова до Кибальчича («такой ученый»), то революционеры, конечно, все до одного и давно были бы просто истреблены.

Карпович выстрелил в горло Боголепову — «ничтоже сумнися», не спросив себя, нет ли у него детей, жены. «В Шлиссельбург он явился такой радостный и нас всех оживил», — пишет в воспоминаниях Фигнер. Но если бы этой Фигнер тамошняя стража «откровенно и физиологически радостно» сказала, что вы теперь, барышня, как человек — уже кончены, но остаетесь еще как женщина, а наши солдаты в этом нуждаются, ну и т. д., со всеми последствиями, — то, во-первых, что сказала бы об этом вся печать, радовавшаяся выстрелу Карповича? — Во-вторых, как бы почувствовала себя в революционной роли Фигнер, да и вообще продолжали бы революционеры быть так же храбры, как теперь, встретя такую «откровенность» в ответ на «откровенность».

Едва ли.

И победа революционеров, или их 50-летний успех, основывается на том, что они — бесчеловечны, а «старый строй», которого — «мерзавца» они истребляют, помнит «крест на себе» и не решается совлечь с себя образ человеческий.

Они — голые. Старый строй — в одежде. И они настолько и «дышат», насколько старый строй не допускает себя тоже «разоблачиться».

(9 декабря, день).

* * *

Струве осторожно, шажками в вершок, — и я думаю в осторожности этой неискренне, — подходит к тезису, который надвигается как туча ли, как день ли, на всех нас:

Нужно признать правительство.

Заботы о юге, о балканских народностях, «интересы на Черном море»... В конце концов — возрожденная Россиею, т. е., in concreto, *Русским правительством*, жизнь народностей Балканского полуострова: скажите, пожалуйста, какую роль во всем этом играли «Письма Белинского» «Michel» (Бакунин), Герцен и его «Natalie», Чернышевский, писавший с прописной буквы «Ты» своей супруге, и вся эта чехарда, и вся эта по истине житейская пошлость, вся эта мелочь до того дробная, что ее в микроскоп не рассмотришь, — вся эта наша литературная «обывательщина», не выступающая из рамок — «как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Даже зычные речи Ив. Аксакова и Славянские комитеты — чехарда и чехарда, исчезающая в малости пред фактом: «этот батальон, наконец, отлично стреляет».

«Этот батальон отлично стреляет» — вот *дело*, вот гиря на мировых весах, перед которой «письма Белинского к Герцену» не важнее «писем к тетеньке его Шпоньки» (у Гоголя). Но посмотрите, в какой позе стоит Белинский с его «письмами» перед этим батальоном, да и не один Белинский, а и благоразумный (теперь) Струве с его статейками, и все «мы», «мы», — впрочем «они», «они», — так как я решительно к этим знаменитым «письмам» не принадлежу.

Мне давно становится глубоко противно эта хвастливая и подлая поза, в которой общество корежится перед «низким» *правительством*, «низость» коего заключается в том одном, что оно одно было занято *делом*, и делом таких размеров, на какие свиное общество решительно не в силах было поднять свой хрюкающий «пятачок» (конец морды). Общество наше именно имело не *лицо*, а морду, и в нем была не душа, а свиной хрящик, и ни в чем ето так не выразилось, как в подлейшем, в подлом из подлых, отношении к *своему правительству*, которое оно било целый век по лицу за то, что оно не читало «писем Белинского» и не забросило батальоны ради «писем Белинского».

Но с *«письмами Белинского»* и супругой Чернышевского, если бы подобно нам и правительство сыропилось в них, повторяя:

> Ах, супруга, ты супруга,
> Ах, Небесная моя,

то Балканы и остались бы, конечно, Балканами, Сербия была бы деревенькой у ног Австрии, болгарские девушки шли бы в гаремы турок, болгарские мужчины утирали бы слезы и т. д. и т. д., и прочее и прочее. Но сам Струве, *САМ*, целует пятки и коленки подлому Желябову, считает его «политическим гением», а не хвастунишкой-мучижонком, которого бы по субботам следовало пороть в гимназии, а при неисправлении просто повесить, как чумную крысу с корабля... Что же это такое, что же ето за помесь *Безумия и Подлости*, что когда убили Александра II, который положил же свой *Труд и Пот* за Балканы, тот же Струве не выдавит из себя ни одной слезинки за Государя, ни одного доброго слова на его могилу, а льстиво и лакейски присюсюкивеет у Желябова, снимает с него носки и чешет ему пятки, как крепостная девчонка растопыренному барину...

Да, с декабристов и даже с Радищева еще начиная, наше *Общество* ничего решительно не делало, как писало «письма Шпоньки к своей тетушке», и все эти «Герцены и Белинские» упражнялись в чистописании, гораздо бесполезнейшем и глупейшем, чем Акакий Акакиевич...

Сею рукопись писал
И содержание оной не одобрил
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.

Вот и все «полные собрания сочинений» Герцена, Белинского и «шестидесятников».

Батальон и Элеватор.

Но кто его строил? Александр II и Клейнмихель. Да, этот колбасник, которого пришлось взять царям в черный час истории, — потому что собственное общество, потому что *сами*-то русские все скрылись в «письмо тетеньки к Шпоньке», в обаятельную Natalia, и во весь литературный онанизм. Онанисты — вот настоящее имя для этого общества и этой литературы; онанисты под ватным уездным одеялом, из «угольничков» сшитым, которые потеют и занимаются своими гнусностями, предаваясь фантазиям над раздетой попадьей.

О, какие уездные чухломские чумички они, эти наши *социал-демократы*, все эти знаменитые *Марксисты*, все эти *«Письма Бакунина»* и вечно топырящийся *ГЕРЦЕН*. Чухлома, Ветлуга, пошлая попадья — и не более, не далее. Никому они не нужны. Просто, они — *ничего*.

Эта потная Чухлома проглядела перед своим носом

Александра II и *Клейнмихеля*, которые создали *Эрмитаж*, создали *Публичную библиотеку*, создали *Академию Художеств*, создали как-никак 8 *университетов*, которые если г...нные, то уж никак не по вине Клейнмихеля и Александра II, которые виновны лишь в том, что не пороли на съезжей профессоришек, как следовало бы.

— *Во фрунт, потное отродье*, следовало им скомандовать.

— Вылезайте из-под одеяла, окачивайтесь студеной водой и пошлите делать *С НАМИ историческое дело* и освобождения славян и постройки элеваторов.

Тут объясняется и какая-то жестокая расправа со славянофилами:

— Эх, все это — *болтовня*, все это — «Птичка Божия не знает», когда у нас
Ничего нет.
Элеваторов нет.
Хлеб гниет на корню.
Когда немец или японец завтра нас сотрет с лица земли.

— В солдаты профессоров!

Да, вот команда, которую, хоть ретроспективно, ждешь как манны небесной...

Боже мой: целый век тунеядства и такого хвастливого.

В «Былом» о чумных крысах рассказано «20 томов», сколько не было о *всей* борьбе России с Наполеоном, сколько, конечно, нет о «всех элеваторах» на Руси, ни о Сусанине, ни о всех Иоаннах, которые строили Русь и освободили ее от татар.

По истине, цари наши XIX века повторяли работу московских первых царей — в невозможных условиях хоть построить что-нибудь, хоть сохранить и сберечь что-нибудь. В «невозможных условиях»: т. к. когда общество ничего не делает и находит в том свою гордость.

Безумие, безумие и безумие; безумное общество.

Как объясняется и Аракчеев; как объясняются вспышки лютости в нашем правительстве:

— *Да что же вы ничего не делаете?*

Об Аракчееве только и кричать, что он откусил кому-то нос. Ну, положим, откусил, но ведь не осталась от этого «безносой» Россия. Подлецы: да шляясь по публичным домам, вы не один «нос» потеряли, а 100 носов, 1000 носов, говорят, даже у самого «финансиста» недостает носа, и если бы вовремя *Зверь — Аракчеев* послал к черту эти бар..., то *он — Зверь* — сохранил бы 1000 носов, и за 1000 носов можно обменять один откушенный. Нужно
ЖЕЛЕЗО.

Этим железом и был «Сила Андреевич», к которому придираются еще за «Наталью», хотя сам придирающийся профессор лезет к ночи к своей «Парасковье» на кухне тоже под ватное одеяло. И вообще это (любовницы) мировое и общее, а не «свойство Аракчеева».

Да *ОДИН* Аракчеев есть гораздо более значащая и более *ТВОРЧЕСКАЯ*, а следовательно даже и более *ЛИБЕРАЛЬНАЯ* («движение *ВПЕРЕД*») личность, чем все ничтожества из 20-ти томов «Былого», с Михайловым — «дворником» и Тригони и всеми романами и сказками «взрыва в Зимнем дворце». «Колокол» Гауптмана — в него звонит Аракчеев, а не Тригони; Шиллер и Шекспир — писали об Аракчееве, а вовсе не о Желябове. Поэзия-то, философия-то русской истории, ее святое место — и находится под ногами...

... страшно и слезно сказать, но как не выговорить, взирая на целый Балканский полуостров, на *ВОЗРОЖДЕНИЕ* 18-ти миллионов народа, что

...эта святая земля нашей России — под иогами, скажем ужасное слово, просто
КЛЕЙНМИХЕЛЯ.

Да. Лютеранина и немца. Чиновника, чинодрала. Узкой душонки, которая умела только повиноваться.

Но она повиновалась, безропотно и идиотично, безропотно как летящий в небесах ангел —
ЦАРЮ,
который один и сделал все. Вот вам ответ на «Историю русской литературы».

(за статьей Струве о Балканах, декабрь).



КРИТИКА

ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Б. САВИНКОВ и В. РОПШИН

ТЕРРОРИСТ И ПИСАТЕЛЬ

20.

После отречения Романовых сила воинской присяги перестала действовать. Для многих офицеров, не состоявших в политических партиях, это было настоящей трагедией. Развалившаяся в одночасье гигантская армия кое-где сохранила свои воинские части, подчиняясь новому, большевистскому правительству и удерживая германский фронт. Они составили костяк нарождавшейся Красной Армии, в которую влилось подавляющее число офицеров в результате желания сотрудничать с новой властью или мобилизацией. Меньшее их число стало основой белогвардейских формирований, но было бы ошибкой причислять их поголовно к сторонникам монархии.

Любопытно расшифровать записи, которые вел будущий президент Чехословакии Масарик, встречавшийся 2 и 5 марта 1918 года с Савинковым в московской гостинице «Националь». Из них явствует, что еще в декабре 1917 года на Дону преобладали монархические настроения. Запись: «В этот период соглашение Алексеева с Корниловым 26.XII. Соглашение с демократами: с этого времени монархизм снят с повестки дня». И еще:

«Политтеррор?

Алексеев писал — он не разбит, отходит на юг.

Террор: покушение на великого князя Сергея стоило всего лишь 7000 рублей.

Плеве — 30 000.

Я могу предоставить некоторые финсредства — пишу, чтобы Клецанда дал 200 000 рублей...»

Из этих записей и других источников следует, что Савинков с Флегонтом покинул Дон в конце декабря 1917 года, как он потом писал, «наивно веря в то, что господа генералы действительно любят Россию и будут искренне за нее бороться». Он обещал переговорить, в частности, с Плехановым и Чайковским об их участии в подобии правительства на Дону. В Петрограде он Чайковского не нашел, а Плеханов уже умирал. Вскоре Савинков выехал в Москву, намереваясь двинуться дальше, на Дон, но оттуда пришло письмо, что под давлением большевиков Алексеев и Корнилов ушли с Добровольческой армией в степи, в «Ледяной поход».

Окончание. Начало в №№ 8, 9 за 1990 год.

И Савинков остался в Москве, где было уныло и голодно. И развил при этом бешеную деятельность по созданию подпольной офицерской организации. Его выводили на гвардейских офицеров, объединенных по полковому принципу, но его коробили их монархические убеждения. Однако их было восемьсот, пренебрегать ими не стоило, и он предложил им от имени Алексеева и Корнилова короткую программу: отечество, Учредительное собрание, земля — народу. Одновременно он создавал боевые левые организации из офицеров республиканцев, социал-демократов плехановского толка, эсеров, меньшевиков, бывших террористов... И правых и левых как бы объединял Национальный центр. И опять все вертелось вокруг Учредительного собрания и... диктатуры, твердой власти.

Верным помощником его был полковник артиллерии Перхуров. Военными командовал конституционный монархист генерал Рычков. Тайную организацию Савинков на процессе описывал так:

«Снизу каждый член организации знал только одного человека, т. е. отделенный знал взводного и т. д.; сверху каждый член организации знал четырех, т. е. начальник дивизии знал четырех полковых командиров и т. д. Это придавало организации довольно крепкий характер. Во главе стоял штаб, ну-с вот, во главе штаба стоял я».

По подсчетам Савинкова, в организации состояло около пяти тысяч человек, и охватывала она, кроме Москвы, еще более тридцати городов. Это называлось «Союзом защиты родины и свободы».

На существование такой организации требовались деньги. И немалые. Савинков добывал их любыми путями. Мы уже знаем, что от председателя чешского национального комитета Масарика он через генерала Клецанду получил двести тысяч «керенками». Они были даны ему как террористу. Хотя имена не назывались, подразумевались Ленин и Троцкий.

В апреле, когда Добровольческая армия была у Екатеринодара, Савинков послал офицера к генералу Алексееву с донесением о своем «Союзе» и получил одобрение и деньги. Создавая полки без солдат, он платил офицерам жалованье. Его разведка проникла в Совет Народных Комиссаров, Чека... Во всяком случае, Савинков этим хвалился, как и тем, что его люди организовали партизанскую борьбу в тылу у немцев и готовили к взрыву корабли флота, на случай, если немцы войдут в Петроград.

Третьим источником поступления денег были французский консул Гренар и военный атташе генерал Лаверн. От них было получено два с половиной миллиона керенских рублей и заверение, что в начале июля в Архангельске высадится франко-английский десант. К этому времени савинковский «Союз» должен был поднять восстание и захватить Ярославль, Рыбинск, Кострому и Муром.

Все, о чем говорится на этой странице, рассказывалось неоднократно и пространно все семьдесят лет, потому что прекрасно оправдывало «красный террор», расстрелы без суда, взятие «заложников буржуазии», создание концентрационных лагерей. Но все это уже было до выступления Савинкова, все началось с разгона Учредительного собрания 5 января 1918 года и установления большевистской диктатуры.

Савинков ни на минуту не переставал ощущать себя революционером. Это надо помнить твердо. А подготовка какой революции возможна без денег? Получение денег от кого бы то ни было воспринималась Савинковым как нечто само собой разумеющееся. Ни его, ни самих большевиков в то время нисколько не смущало, что партии социалистов всех мастей получали деньги от американских и русских буржуев-миллионеров, а большевики в 1917 году — и от немецкого рейхсбанка. Криминалом это станет потом... Но в революционных ощущениях Савинкова появились новые оттенки.

«Вернулись времена Николая II, — писал он. — Но при Николае II революционеры должны были опасаться только полиции. При большевиках мы были окружены шпионами-добровольцами. У кого белые руки, тот не может скрыть, что он «буржуй».

Он вынужден признать, что террор—классовый, но под подозрение в новом государстве подпадает всякий, кто работает не руками, а головой, и не снабжен соответствующим мандатом. В мае многих подчиненных Савинкова в Москве расстреляли.

В своих передвижениях по Москве Савинков не раз попадал в засады, не раз приходилось Флегонту Клепикову пускать в ход оружие и убивать патрульных. «Но это были мелочи ежедневной жизни, — походя замечает Савинков. — Настоящая опасность началась с приездом в Москву германского посла графа Мирбаха. С его приездом начались аресты». Он уверял в той же «Борьбе с большевиками», что Мирбах направлял действия большевиков, выдавал заговорщиков. Порой немецкие солдаты действовали заодно с чекистами. Он приводил примеры. Скорее всего, руководствуясь непрерывно подчеркиваемым «союзническим долгом», Савинков собирал любые обывательские слухи о сотрудничестве большевиков с немцами. Он потерял более сотни членов «Союза». Клепиков теперь уже носил револьвер не в кармане, а в рукаве.

Одно время Савинков жил в Гагаринском переулке у Александра Аркадьевича Дикгоф-Деренталя, некрупного литератора, который в молодые годы (по нашему восприятию, немыслимо молодые — напомним, что в описываемое время Борису Викторовичу исполнилось всего тридцать девять лет) был в ближайшем круге Гапона, а потом под руководством Рутенберга принимал какое-то участие в его казни на даче в Озерках. Как и Борис Викторович, Александр Аркадьевич жил перед войной и во время войны во Франции, так же печатался в русских журналах, так же присылал корреспонденции с французского фронта, женился в Париже на девушке из эмигрантской семьи Любе, Любови Ефимовне, совсем молоденькой и красивой танцовщице. Савинков знал обоих еще до свадьбы, потом они встречались уже в Петрограде, где Деренталей разыскал приближенный управляющего военным министерством Флегонт Клепиков. Всякая встреча с крайне интересным собеседником Савинковым обставлялась весьма эффектно, в мужчинах он обретал сторонников, а в женщинах — поклонниц; несмотря на малый рост, физически Борис Викторович был очень силен, а уж о воздействии его репутации как бесстрашного и опасного человека и говорить не приходится.

Так в московской квартире, куда он явился, скрываясь от очередной облавы, Савинков обрел верного сотрудника в лице Александра Аркадьевича и любовь Любови Ефимовны до самой, что называется, до смерти. Это был странный треугольник, в котором чувственность заменялась пространными разговорами о верности идеалам, настоящей мужской дружбе и свободе женщины располагать собой. Один из агентов французской контрразведки докладывал по начальству о Борисе Викторовиче: «К женщинам эротически равнодушен, однако они являются одним из пунктов его обостренного честолюбия и самолюбия».

Именно Дерентал занялся дальнейшими переговорами с французами, связанными с выступлением савинковцев и получением на это денег. Послушаем Савинкова:

«В июне был выработан окончательный план вооруженного выступления.

Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого, и для этой цели установлено за ними обоими наблюдение. Одно время оно давало блестящие результаты. Одновременно я беседовал с Лениным через третье лицо, бывавшее у него. Ленин расспрашивал это третье лицо о «Союзе» и обо мне, и я отвечал ему и расспрашивал о его планах. Не знаю, был ли он так же осторожен в своих ответах, как и я в своих.

Одновременно с уничтожением Ленина и Троцкого предполагалось выступить в Рыбинске и Ярославле, чтобы отрезать Москву от Архангельска, где должен был происходить союзный десант».

План этот не удался совершенно. Савинков выходил на старые эсеровские связи, но разочарованно порывал с ними. Покушения на Ленина не было, и Масарик потратился зря. Зато условленное с францу-

зами было выполнено сполна, но . союзный десант запоздал.

Савинков отправил крупные отряды в Ярославль и Муром, а в Рыбинске его с Деренталем и Клепиковым уже ждали 400 человек. Города были захвачены, но так же быстро освобождены красными, и лишь Перхуров в Ярославле продержался 17 дней. Савинков ушел в Новгородскую губернию, скитался по деревням и в конце июля пробрался в Петроград, который показался ему умирающим городом — «пустые улицы, грязь, вооруженные ручными гранатами матросы и в особенности многочисленные немецкие офицеры, с видом победителей гулявшие по Невскому проспекту (?! — Д. Ж.), свидетельствовали о том, что в городе царят «Советы» и Апфельбаум-Зиновьев». Так он писал в книге «Борьба с большевиками», но впоследствии на суде признавался, что население приволжских городов его не поддержало, что офицеры, которых он посылал на Дон, докладывали ему, с какой ненавистью и там относятся к его выступлению.

Ему достали фальшивый документ за подписью Луначарского, он «переоделся большевиком» — рубаха, пояс, высокие сапоги, фуражка со снятой кокардой — и отправился в Казань, назначенную им же самим сборным пунктом для своей организации в случае неудачи. Его путевых приключений хватило бы ему самому для целой повести. Его арестовывали красные. Он выпутывался и даже получал еще более надежные документы. За те же документы его водили на расстрел крестьяне, измученные поборами красных продотрядов. Здесь его выручало красноречие... Переломив настроение крестьян, он подбивал их на восстание. А потом записывал по памяти такой диалог: «Россию уничтожают?» — «Уничтожают». — «Церкви грабят?» — «Да, грабят». — «Попов расстреливают». — «Да, расстреливают». — «Вас расстреливают?» — «Да, расстреливают». — «Хлеб отбирают?» — «Да, отбирают». — «Почему вы не восстаете?»

Молодой крестьянин, разговаривавший со мной, пожал плечами и спросил в свою очередь: «Ты был на фронте?» — «Был». — «В боях был?» — «Был». — «Какой же бой без артиллерии?»

Это была правда».

Чем ближе он был к Казани, тем больше отдалялась от него мечта о крестьянском восстании. И может быть, поэтому, добравшись до Казани и застав там Флегонта Клепикова, генерала Рычкова, полковника Перхурова и других членов «Союза защиты родины и свободы», он распустил организацию под предлогом, что тайное общество в области, не подвластной большевикам, не нужно. Правивший в Казани под крылышком восставших чехословаков, Масарика, Бенеша, эсеровский комитет Учредительного собрания отнесся к Савинкову подозрительно. По улицам Казани за ним ходили филеры, как при царе. Его бесили бывшие коллеги по партии, которым он заявлял, что никому не хочет препятствовать восстанавливать Россию, если они думают, что могут это сделать. Он видел беспомощные попытки эсеров создать «Народную армию» из крестьян, с которыми «народные заступники» не умели говорить, которые разбегались, которых расстреливали. Красных удерживал под Казанью лишь один чешский полк, немногочисленные добровольцы и бывшие члены савинковского «Союза»...

Отчаявшийся, все проклинавший Савинков совершил шаг, для многих непонятный и даже названный потом одним из его биографов истеричным театральным жестом — вступил рядовым в отряд полковника Каппеля, совершавший рейд в тылу Красной Армии. Каппелевцы были людьми действия — они оставляли позади себя разобранные железнодорожные пути, спиленные телеграфные столбы и расстрелянных большевистских комиссаров в ритуальных черных кожанках...

Есть в литературном наследии Савинкова один эпизод, относящийся к этому времени, рассказываемый им с вариациями, сведенными нами воедино.

Сто каппелевских сабель во главе с капитаном засели в селе на холме, возвышавшемся над железной дорогой. По ту сторону дороги тоже был небольшой холм. Но вот в лощину вполз поезд, который тащил блиндированный паровоз. Из него по селу полосовали пулеметным огнем. Поезд остановился, и из теплушек высыпало человек пятьсот красноармейцев. К удивлению каппелевцев, они не рассредоточились и не пошли цепями в атаку. С ними происходило примерно то же самое, что и с эсеровской «Народной армией». Они поднялись на небольшой холм по ту сторону полотна, сбились в тесную кучу и начали митинговать. Даже издали можно было понять, что в бой они идти не желают и подбадривают криками «ура» ораторов, выражающих это нежелание. И тут каппелевцы открыли по митингу ураганный пулеметный огонь. В несколько минут весь холм покрылся телами убитых. Блиндированный паровоз, отстреливаясь, уволок задним ходом пылавшие теплушки. По ним били орудия. Когда все было кончено, капитан скомандовал: «К седлам!» — и каппелевцы выехали на холм, где происходил митинг. Савинков, у которого, единственного в отряде, не было шинели, хотя дело шло к осени, решил взять одну. Он не уточнял, было ли то скатка или приходилось сдирать ее с убитого, только, подняв и рассмотрев шинель, он увидел, что она вся в крови. И бросил ее...

Эсеры не справились с организацией своей армии, большевики справились и взяли Казань, потом Симбирск, Самару, Сызрань...

«В своих страданиях Россия становится чище и тверже, — неожиданно заканчивал свою книгу «Борьба с большевиками» Борис Викторович. — И я не только верю — знаю, что, когда минует смутное время, Россия, Великая Федеративная Республика Россия, в которой не будет помещиков и в которой каждый крестьянин будет иметь клочок земли в собственности, будет во много раз сильнее, свободнее и богаче, чем та Россия, которою правили Распутин и Царь. Но сколько крови еще прольется».

Книгу он закончил, борьбу — нет.

21.

Книгу он написал, по своему обыкновению, в Париже.

Но добирался до этого города он весьма сложным путем. Начал с Уфы, где зародилась мысль о «Сибирской директории» во главе с бывшим министром эсером Авксентьевым. Соперничающее «Сибирское правительство» предложило Савинкову войти в его состав. Он предпочел не ввязываться в драку за власть и попросился в Париж, с особой миссией. Авксентьев согласился. Пока Савинков добирался до Европы вместе с супругами Деренталь через Владивосток и Японию, Колчак устроил переворот. Директории не стало, но адмирал подтвердил его полномочия. А еще он возглавлял «Унион» — бюро печати, а скорее, бюро заграничной рекламы Колчака.

Началась иная жизнь. Поездки по европейским столицам. Встречи с государственными деятелями, хлопоты о помощи оружием и боеприпасами Колчаку и призывавшему Верховного правителя Деникину.

И еще он заседал в «русской заграничной делегации», защищая интересы России при обсуждении Версальского договора. Председателем ее был бывший глава Временного правительства князь Львов, а членами — еще числившийся русским послом во Франции Маклаков, бывший царский министр Сазонов и бывшие знатные эсеры Чайковский и Савинков. Хотя все до единого были масоны, последние два шокировали остальных левыми фразами, а Сазонов вел себя, по словам Савинкова, так, как будто в соседней комнате сидит царь и он царя представляет.

Впрочем, при обсуждении договора делегацию оставили за дверью, не дав даже права совещательного голоса. Унижений хватало на каждом шагу. Революционер Савинков высиживает в приемных у западных владык, вымаливает деньги для Деникина, а от того приезжает генерал Драгомиров и говорит: «Пусть Савинков к нам приедет, мы его расстреляем».

Как он потом жаловался на нежелание генералов считаться друг с другом и объединить усилия во благо России! Он рассказывал об этом почти анекдотические случаи. В Париж приехал генерал Маннергейм и предложил помочь войскам Юденичу, подходившему к Петрограду, при условии, если Колчак признает границы Финляндии. «Обойдемся без них, потому что Деникин через две недели будет в Москве», — сказал Сазонов.

Беседуя с Ллойд-Джорджем, Савинков чувствовал запах нефти в словах премьера, намекавшего на создание «независимого» государства на Кавказе в обмен на сапоги и штаны для армии Деникина.

Стараясь помочь генералу, он в письме к нему в декабре 1919 года пытается склонить его на компромисс трезвой оценкой отношения Запада и к большевикам и к белым.

«Я преклоняюсь перед величием подвигов Ваших и я был смущен безрезультативностью их».

А какова причина этой безрезультативности?

«Вы слишком далеки от Европы. Вы не можете знать и видеть, что делается здесь, а между тем без помощи союзников победить невозможно.

Вся Европа расшатана. Сила большевиков не в мощи их армии; она в слабости тех, кто желает бороться с ними. Почти все еврейство с большевиками. Почти все социалисты с большевиками. Почти вся народная масса в Англии, во Франции, в Италии, в Бельгии, даже в Сербии, темная, как везде, смущается большевистскою пропагандою, колеблется и не знает, с кем ей быть — с Лениным или с Вами.

Ленин для нас враг. Друг ли Вы? Темные люди в этом не могут себе дать отчета. Они сказали бы, что Вы им друг, если бы правительство Ваше было определенно демократично и не на словах лишь, но и на деле».

Под это и союзники дали бы денег и оружие. А теперь за такую помощь руководство в союзнических странах могут заставить уйти в отставку. «Даже Черчилль, испытанный друг России и Ваш, быть может, единственный человек, понявший, что помочь России выгоднее всего бескорыстно, не может делать больше того, что делает, ибо иначе завтра он не будет у власти».

Он заклинает Деникина «Богом и историей» пойти навстречу союзникам.

При встречах Черчилль делал ему выговоры за то, что деникинские офицеры терроризируют евреев. А то вдруг подвел к карте юга России и, показывая пальцем на флажки, отмечавшие деникинский фронт, горделиво сказал: «Вот это моя армия».

«У меня приросли ноги к полу, — вспоминал Савинков. — Я хотел выйти, но тогда представил себе, что вот я сижу в Париже, а там, на далеком фронте, русские добровольцы ходят разуты, и вот если я хлопну дверью и выйду со скандалом из этого кабинета, они будут ходить без сапог».

Савинков был очень умен и горд. Он давно понял, что белым конец, потому что они оттолкнули от себя крестьянство. И продолжал унижаться ради них. Он давно понял, что разговоры о союзнической помощи врагам большевиков — не больше чем официальная болтовня, прикрывавшая истинные цели, о которых он говорил на суде в 1924 году: «Как минимум, вот нефть — чрезвычайно желательная вещь, в особенности нефть; как максимум — ну, что же, русские подерутся между собою, тем лучше; чем меньше русских останется, тем слабее будет Россия. Пускай красные дерутся с белыми как можно дольше, страна будет возможно больше ослаблена и обойтись без нас не будет в силах, тогда мы и придем и распорядимся».

Но понимая, Савинков продолжал унижаться.

Что это? Масонская дисциплина?..

Масон Трумэн сказал то же самое вслух в начале войны между Германией и СССР...

Не слишком вуалируются призывы «прийти и распорядиться» в наше время, время «ливанизации» страны...

22.

В январе 1920 года Савинкова в Париже посетил старый знакомый Вендзягольский и передал ему приглашение в Варшаву от генерала Пилсудского. Этот будущий диктатор Польши тоже был из социалистов. Его старший брат Бронислав проходил по одному делу с Александром Ульяновым, и Юзеф Клеменс Пилсудский тоже пошел иным путем. Правда, после революции 1905 года он быстро сменил пристрастия социалистические на национальные, стал создавать польские вооруженные формирования в австрийской Галиции. Но немцам удалось использовать в войне против России лишь часть польских легионеров, другие оказались в лагерях военнопленных, а Пилсудский — в крепости. Но в 1918 году немцы вынуждены были освободить его, обещавшего драться за польские земли на востоке, а не на западе. Надо думать, что варшавский житель Савинков был коротко знаком с Пилсудским, главой национального правительства Польши и верховного главнокомандующего ее армии.

Пилсудский предложил Савинкову возможность создать русские вооруженные формирования в Польше. И тот согласился. Потом Савинков туманно объяснял, что это не против России ему предложили действовать, а против коммунистов, и что он смотрел на эти действия, как смотрели многие из русских революционеров на русско-японскую войну, «болея» за японцев. Как писал он П. Н. Милюкову, секретным соглашением русские военные ставились в политическое подчинение Савинкову, а с 1 марта ему выплачивались деньги, которые признавались государственным долгом России Польше.

В апреле Юзеф Пилсудский договорился с Симоном Петлюрой за уступку части Галиции и Западной Волыни помочь создать «самостийну» Украину, и 7 мая поляки уже захватили Киев. Тогда-то Вендзягольский снова доставил в Варшаву Савинкова, уже по историческим причинам освободившегося от обязательств, данных им Колчаку и Деникину.

Новоиспеченный первый маршал Польши, расправляя густые усы ручищей, поросшей рыжими волосами, благословил Савинкова на создание воинства из остатков армии Юденича и Деникина, нашедших прибежище у поляков. Обосновавшись в местечке Столужица, Савинков приступил к делу с весьма скудными средствами, потому что изгнанные вскоре из Украины поляки дрожали над каждым грошем. Однако Савинков сколотил отряд тысяч в двадцать пять, думая создать крестьянскую армию, а получалась белая, золотопогонная, во главе с генералами, сносившаяся с копившим силы в Крыму Врангелем и получавшая поддержку французов. Поляки боялись не только большевиков, но и Врангеля. При встрече в Бельведере (правительственной резиденции) Пилсудский говорил Савинкову, что Врангель «носит печать реакции».

«Получился, таким образом, весьма сложный узел», — говорил Савинков, писавший В. Л. Бурцеву 26 июня 1920 года: «...Никакое политическое соглашение между Пилсудским и Врангелем ныне неосуществимо, ибо Пилсудский не считает Врангеля достаточно авторитетным для этого — с одной стороны, и боится его реакционности — с другой... Положение Польши труднее: марка падает, безработица увеличивается, большевистская агитация тоже, на фронтах успехов нет, политики разглагольствуют и делают кризис кабинета в самый трудный момент. Не предоставляйте гласности это письмо».

Письма Савинкова публикуются здесь впервые, и, пожалуй, они ценны только тем, что показывают, как приходилось изворачиваться Савинкову, считавшему, что для борьбы с большевиками все средства хороши. Так, 16 июля он посылает радиограмму Врангелю о том, что «с разрешения Начальника Государства (Пилсудского. — **Д. Ж.**) мною на территории Польши формируется Отдельный Русский Отряд трех родов оружия для самостоятельного действия» под командованием генерала Глазенапа, который, однако, не устраивает Савинкова, и Врангеля просят прислать ему заместителя. А еще раньше, 3 июля, Савинков заверял Врангеля, что видит в нем «единственного носителя русского национального знамени». 8-го он писал военному министру Великобритании Черчиллю, что считает его непримиримым врагом большевиков, и просил помочь Польше, а следовательно, ему, Савинкову.

По тылам у красных ходил отряд Булак-Балаховича, образовавшийся еще до приезда Савинкова.

Пилсудский требовал действий, а Врангель требовал переправить генеральскую армию к нему в Крым. Маршал встретился с Савинковым и сказал:

— Почему вы не имеете дела с Балаховичем?

— Да он же бандит!

Пилсудский рассмеялся.

— Да, бандит. Но не только бандит, а человек, который сегодня русский, завтра поляк, послезавтра белорус, а еще через несколько дней — негр. — Но, отсмеявшись, он решил: — Пусть Балахович — бандит, но так как нет выбора, то лучше, пожалуй, иметь дело с Балаховичем, чем с золотопогонными генералами.

На том и сошлись господа социалисты, подтверждая правило: идея социальной справедливости хороша, а власть — еще лучше. Граница между политикой и бандитизмом, защищенным идейными построениями и уголовными кодексами, становилась все более зыбкой.

Когда под натиском Красной Армии поляки откатились почти до Варшавы, а потом, разгромив Тухачевского, вернулись за Неман, было заключено перемирие. И вот тут-то Пилсудский призвал к себе председателя «Русского политического комитета» Бориса Савинкова и, по словам его, приказал: «Дайте в двадцать четыре часа ответ, будете ли вы воевать?»

Тот же вопрос Савинков задал на состоявшемся в тот же день заседании, на котором сидели два брата генерала Булак-Балаховича, генерал Перемыкин, командовавший теперь «Русской народной армией», сколоченной Савинковым, представители Врангеля, командир казачьей бригады есаул Яковлев, командиры частей петлюровцев и белорусских националистов. Все они ответили, что воевать будут, но ни один не хотел подчиняться другому.

В сущности, Савинков оказался командующим без войска. Всего было тысяч шестьдесят, и они могли бы представлять собой значительную силу, если бы, еще не выступая, не передрались между собой.

«Мне это показалось настолько диким и бессмысленным, — вспоминал Савинков, — что я решил, что мне остается одно: разделить участь тех людей, которые, до известной степени, шли по моему приказу. Я решил пойти вместе с ними в поход добровольцем».

И вот он опять рядовой в небольшом отряде войска Балаховичей, наступавшего на Мозырь. Но это странный рядовой, в телохранителях которого числится едва ли не весь отряд. При нем — представитель английской военной разведки Сидней Рейли (уроженец Одессы Розенблюм), которого в Англии называли «вторым Лоуренсом».

Он не может командовать, но если дело касается политических решений, без него их не принимают. В Мозырь прикатывают на подводах белорусские министры («черт их знает, какие министры!») и от имени белорусского народа предлагают Балаховичу стать начальником белорусского государства. После всеобщей попойки Балахович согласился, но Савинков пригрозил, что Пилсудский выгонит его, и генерал «успокоился».

За время этого похода Савинков, несмотря на свое исключительное положение, твердо усвоил, что распоряжаться он может только от имени того, за кем сила. По безмерному его самолюбию удары наносились со всех сторон. Поляками, французами, англичанами... С ним не считались ни бандиты Балаховича, ни врангелевские генералы. Да весь поход оказался, как он считал, бессмысленностью и надувательством. Потом, на суде, он скажет:

«Этот балаховский поход, мое личное в нем участие были последним для меня внутренним духовным аргументом против белого движения... Началось с Дона, кончилось Мозырем. После октябрьского переворота я думал так: «вот захватчики власти, народ не с ними. Там развал, там бандитизм, там убийства, беспорядки, а вот здесь, с этой стороны, на стороне белых — будет порядок, дисциплина, идейность, не будет убийств». И оказалось все глубоко неверным...»

Каждый в гражданской войне преследовал свои цели — классовые, эгоистические, самые разные, иностранцам же надо было одно — ослабить Россию.

Ходили, дрались, грабили... Поход кончился неудачей. Сам Савинков еле унес ноги. Двадцать тысяч вернувшихся поляки интернировали, загнали в лагеря. Любой польский офицер разговаривал с Савинковым свысока...

Так он жаловался.

Сохранилось, однако, и такое письмо от некоего М. Петрашевского из Праги к редактору одной из эмигрантских газет. Автор его рассказал, как в ноябре 1920 года, когда был взят Мозырь «Народной добровольческой армией» генерала Балаховича, с конным полком прибыл Савинков. Комендант города подполковник Кулаев однажды застал трех солдат и корнета за грабежом. Они держали штуку сукна и заявили, что «это министру Савинкову на шубу». Потом автор видел, как Савинков щеголял в этой шубе в Варшаве...

У Савинкова не шел из головы разговор с одним белорусским деятелем, который сказал, что Врангель — «пан», а Керенский был «пустозвон». И теперь Савинков уже делал ставку не на белых, а на «зеленых», мечтая поднять крестьянскую Россию на большевиков. Но получалось так, что созданные им «Информационное бюро» и «Русский эвакуационный комитет», в сущности, работали на иностранные разведки — единственный источник поступления денежных средств. То же было и со сколоченным им «Народным союзом защиты родины и свободы».

23.

Но до этого, всю первую половину 1921 года, Савинков едва ли не еженедельно упражнялся в политической литературе, печатая свои статьи в основанной им в Варшаве газете «За свободу», собранные тотчас в сборник «Накануне новой революции». Да, все так. Пал Крымский фронт Врангеля, пали фронты-«однодневки» Булак-Балаховича и Перемыкина. Разбит Петлюра. Азербайджан и Армения стали коммунистическими республиками, а Ллойд-Джордж вел переговоры с Красиным.

Остается надежда только на себя, на русских патриотов. «Мы скажем: есть леса, есть «зеленые», есть партизаны, есть русское поднимающееся крестьянство... Лучше умереть с оружием в руках, чем признать власть коммуны, отречься от родины и примириться с поруганием свободы».

Хотя сам же писал из похода Дикгофу-Деренталю: «Поистине таинственна наша матушка Россия. Чем хуже, тем ей, видимо, лучше. Язык ума ей недоступен. Она понимает или запоминает только нагайку да наган. На этом языке мы теперь с ней только и разговариваем, теряя последние признаки гнилых, но мыслящих русских интеллигентов...».

Горькие мысли могли быть навеяны и судьбой его близких. Младший брат Виктор, казачий есаул, был окружен вместе с частью красными в Новороссийске. Офицеры и казаки сдались. Офицеры были ограблены, их жены изнасилованы. Но потом из пленных создали красную казачью часть, которая воевала и на польском фронте и перешла к полякам, погнавшим красных от Варшавы. Борис Савинков, которому мать писала, что Виктор погиб, ушам своим не поверил, когда ему доложили, что брат и его жена Александра Юрьевна нашлись.

Сестра их Вера Викторовна вместе с матерью, детьми и мужем эсером и священником А. Г. Мягковым жили в имении Уваровых, неподалеку от Каменец-Подольска. По семейным письмам ход событий восстанавливается с трудом... Вера с семьей сумела уехать за границу, а мать осталась.

У нее красные не раз делали обыски, хотели арестовать, но потом пришли поляки и отправили ее в Варшаву, откуда Савинков переправил Софью Александровну в Ниццу. Сохранилось ее письмо к сыну Виктору от 16.03.1923 г. оттуда, в котором она упоминала Клепикова и сообщала, что умирает. Просила не говорить Борису.

Старшая сестра Савинкова, баронесса Надежда Викторовна фон Майдель была расстреляна чекистами в Таганроге в 1920 году. Муж ее был единственным офицером гвардейской части, который отказался выполнить приказ — дать команду своим солдатам стрелять в рабочих, шедших мирно к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Его самого большевики расстреляли в первые же дни своей победы.

Потом, когда Савинкова схватят чекисты, на процессе он будет утверждать: «Я говорю: никогда во время борьбы моей с вами я не помнил об этом и никогда не руководился местью за то личное и тяжкое, что я пережил тогда, но в первые дни это вырыло пропасть. Психологически было трудно подойти, переступить через эти трупы. И я пошел против вас...»

Желая в новом, 1921 году всем русским перестать братоубийственно ссориться, он тем не менее обращал свой гнев на белых, на воровство их начальников, на беспробудное пьянство офицеров. «Скажем мужественно: чтобы победить «красных», необходимо сперва победить этих «белых». Он призывал в статьях к крестьянской революции, к созданию народной армии, против реставрации Романовых, к возрождению Учредительного собрания. Он говорил, что не только воины Булак-Балаховича грабили евреев, но и крестьяне, объясняя это отождествлением коммунистической власти с еврейской. «Еврейский народ не ответственен за коммунистов евреев», — писал он, перечисляя — Бронштейн, Апфельбаум, Мунлихт, Гольдендах, Нахамкес... Но и Каплан еврейка, и Канегисер, убийца Урицкого, — еврей.

Савинкова никак не назовешь черносотенцем, хотя ставку он делал на русского мужика. Еще в 1913 году Ленин писал: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий» (4-е изд. Собр. соч., т. 19, с. 350). Здесь трудно понять, одобрительно или нет говорится о демократизме мужика, который теперь восставал против новой власти целыми уездами. И хотя восстания эти подавлялись чрезвычайно жестоко, сметались огнем артиллерии с лица земли целые села вместе со стариками, женщинами и детьми, Савинков рассчитывал в конце концов на нечто, вроде победоносной пугачевщины.

Но и тут были сомнения. В архивах хранится до сотни его писем к В. Л. Бурцеву разных лет. 17 мая 1921 года он писал Бурцеву из Варшавы: «В России предчувствуется переворот. У меня впечатление, что мы переживаем затишье перед бурей. Впрочем, сам черт ногу сломит в русском буреломе...».

Ну, а как он представляет себе будущее, после победы крестьянской революции?

Он считал, что за три года большевики уничтожили русский торгово-промышленный класс, среднее землевладение и в значительной степени интеллигенцию. Выход он видел не в социализации земли, как когда-то планировали эсеры, а в безоговорочном признании мелкой крестьянской собственности, мирного труда, мирного обогащения, признание независимости не только Польши и Финляндии, но и Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Литвы, Кубани, Дона. Он уже за «Конфедеративную Россию».

Отвергая реставрацию монархии, Савинков делал все, чтобы оправдаться, подчеркнуть свое место в истории России, и невольно признавал, что в стране было не все так плохо до того, как социалисты всех мастей приступили к решающей фазе своей разрушительной работы:

«Керенский никогда не боролся ни против царя, ни против большевиков. Он только произносил речи. Я не думаю, что заслуживаю подобного упрека... У меня есть вера, и я знаю, что революция крестьян и казаков стоит на пороге расцвета в России, результатом этой демократической революции Россия, вчера — страна помещиков, сегодня — коммунистов, станет завтра страной мелких частных собственников, где не будет ни царя, ни наместника, ни комиссаров, ни революционного Совета, ни Чрезвычайной комиссии, — страной свободной, сильной, богатой, какой она была до сих пор...»

Соответственно он составляет программу «Народного союза защиты родины и свободы» (правда, при этом делает вид, что она доставлена ему из глубин России). Коротко: борьба с советской властью, большевиками, царистами, помещиками, укрепление «в собственность» земли, перешедшей в руки крестьян во время революции, установление демократического правового строя, признание государственной самостоятельности за всеми народами, входившими в Российскую империю.

И все это, заметьте, «силами русского народа, а не призывом к вооруженному вмешательству иностранцев».

Но!!!

Если бы мы с вами оказались 13 июня 1921 года в Варшаве в доме № 68 на Маршалковской улице, то в числе 31 человека, присутствовавшего на учредительном съезде «Союза», обнаружили бы польского полковника Сологуба, французского майора Пакелье и мосье Гакье, офицеров английской, американской, итальянской военных миссий в Варшаве. Это из иностранцев. Были тут атаман Тютюнник, представитель Петлюры, люди штаба организации белорусских националистов «Зеленый дуб».

После принятия программы избран Всероссийский комитет «Союза» во главе с Савинковым. В него вошли Виктор Викторович Савинков, давний соратник Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь, литератор и профессор Дмитрий Владимирович Философов, бывший штаб-ротмистр Г. Е. Эльвенгрен, казачий полковник М. Н. Гнилорыбов и другие.

Существует подробный реестр средств в валютах разных стран, которые получал Савинков от иностранных разведок за сведения, доставлявшиеся его курьерами из советской России, где в одной Москве чекисты взяли сотни членов «Народного союза защиты родины и свободы». Сквозь границу прорывались отряды Павловского, Павлова, Васильева, которые, по признанию самого Савинкова, занимались «полуграбительством, полушпионажем». Все это описано в десятках книг, воспевающих подвиги чекистов.

Нас же интересует, как мог такой «идейный» человек, как Савинков, сознавая, что дело его проиграно, что часть его подчиненных превращается в настоящих бандитов, униженно клянчить средства для продолжения борьбы.

Во-первых, он действительно смертельно ненавидел большевиков, считая, что для борьбы с красным террором все средства хороши.

Во-вторых, он был... Савинков. Он действительно считал себя историческим деятелем, призванным разрушить Советское государство. На него смотрели другие, на него надеялись. Он должен был показать всем этим монархистам, на что способен революционер. Впоследствии он оправдывался тем, что совесть его чиста. Получалось просто не то, что он хотел. Он считал себя крестьянским заступником, но у него нет ни единого упоминания о нэпе, а именно эта политика, во многом вызванная восстаниями крестьян, свела на нет все его труды. К концу 1921 года деятельность его «Союза» просто перестала получать поддержку в России.

Вскоре после образования «Союза» последовала нота советского правительства, в которой раскрывались связи савинковцев с польским генеральным штабом, вплоть до выдачи им двух килограммов яда для отравления красноармейских частей в момент восстания, и содержалось требование изгнать из Польши руководителей антисоветских организаций. Скрепя сердце поляки в октябре подписали протокол о высылке из Польши всех руководителей савинковского «Союза», а заодно С. Петлюры, Ю. Тютюнника, Н. Булак-Балаховича...

Савинков уехал в Париж, не дожидаясь выдворения. Уехал, облегченно вздохнув, потому что отпала необходимость заботиться о двадцати тысячах бывших солдат его «Народной армии», бедствовавших за колючей проволокой лагерей, и прекращались унизительные отношения с польским штабом. «Я садился в поезд, и сердце мое радовалось, что я уезжаю из этой проклятой страны, что вы меня выкинули вон», — сказал он потом на процессе под смех присутствовавших.

Но он не собирался ставить на себе крест. Он продолжал свое «судорожно, по инерции». Вел громадную переписку и старался держаться в форме. Он обрел опять свой щеголеватый вид, носил дорогие модные костюмы, был элегантен, вел себя непринужденно — недаром во времена террора он легко выдавал себя за иностранца. И вообще он следил за собой, приказывая себе в дневнике: «Не забыть — веукоснительно, каждое утро — пять страниц из Достоевского, час на правку рукописи, чистить ногти (1 р. в 3 дн. — подстригать)...»

Он ездил за помощью к Муссолини в Италию, где их встречу на курорте Леванто устроил охранник дуче Данила Амфитеатров, сын известного в свое время русского писателя и журналиста Александра Амфитеатрова, пребывавшего теперь в эмиграции. Многие тогда восторгались фашизмом, видя в его примере путь национального возрождения своей родины. Социалист, бывший член II Интернационала, Муссолини провозглашал ненависть к большевикам и понимал, что успехом своего движения он обязан страху перед ними, но у них же он учился способам воздействия на массы и диктатуре именем народа. Теперь он рисовался, поучал Савинкова, подарил ему свою книгу с надписью: «Синьор Савинков! Идите за мной, и вы не ошибетесь!», но денег не дал. Савинков написал сестре в Прагу: «Ты не можешь себе представить, как все это было, — ни одному клоуну не снилось то, что так легко и непринужденно продемонстрировал этот фигляр от политики. Но самое страшное в том, что мне вдруг показалось: он сам понимает, что фиглярствует, и видят, что мир, глядя на него, не только не смеется, но даже восхищается им! Что же касается меня, то произошло уже привычное — еще одно унижение!..»

Муссолини был слишком занят самим собой и не распознал родственную душу, о которой даже такой записной оратор, как Александр Федорович Керенский, сказал, что, если бы в России была партия демагогов, она в лице Бориса Викторовича Савинкова получила бы гениального вождя.

Савинков вновь совершает турне по европейским столицам, собирая дань на борьбу с большевиками. Но акции его у западных разведок были сильно подорваны после того, как его люди не сумели совершить покушение на советского наркоминдела Чичерина, ехавшего на Генуэзскую конференцию. «На террор люди идут только тогда, — объяснял потом эту неудачу Савинков, — когда они знают точно, что народ с ними... Террор требует огромного напряжения душевных сил, а вот этого теперь нет».

Впрочем, в советской России к нему отношение серьезное и даже по-своему почтительное. Здесь изучают его повадки, благо многие большевики, теперь пребывающие у власти, не раз имели дело с Савинковым в ссылке и за границей. Савинков получил осторожное приглашение в особняк на рю Гренель, в котором еще недавно обитал русский посол Маклаков, а теперь полномочно представительствовал Красин. Тот напомнил о недавних неудачах Савинкова и предложил явиться с повинной на родину, намекнув, что революционеру там дело найдется. И хотя Савинков не сказал ни да, ни нет («Были у меня колебания, были уже большие колебания»), в эмиграции по этому поводу поднялась целая буря.

Перед каннской встречей, где Антанта вместе с японцами и немцами договорились о созыве в Генуе экономической конференции с участием России, Савинков ездил в

Лондон, был принят Ллойд-Джорджем, потом Черчиллем и другими министрами. Английский премьер задал ему вопрос о том, как он смотрит на признание советской власти Великобританией. Савинков отвечал осторожно и просил предъявить большевикам три требования: признать свободу мелкой частной собственности, свободу личности и свободу советского управления, то есть свободные выборы в Советы. Ллойд-Джордж обещал, но на переговорах в Каннах и Генуе речи об этом не было.

Кое-какие средства ему перепадали от Масарика и Бенеша, когда он посещал Прагу. Чехи вывезли из Сибири очень много русского имущества и золота и часть средств тратили через Легио-банк на поддержку русской эмиграции...

Савинковские эмиссары еще пересекали границу, еще были связи и люди, но их становилось все меньше, потому что ОГПУ, заменившее ЧК, набралось опыта и перешло в тотальное наступление на все, что могло угрожать диктатуре большевиков. Савинков чувствовал, что делу его жизни приходит конец, что изымается та питательная среда в России, в которой он находил своих сторонников. Там вырастал великий страх, и этот страх переходил границу, захватывая Савинкова, порождая ощущение неуверенности и тщетности борьбы. В 1923 году он уже был «на волос» от заявления, что прекращает борьбу с большевиками. Как всегда, последним прибежищем его была литература, в которой он пытался облечь свои сомнения в художественную форму.

24.

И тогда родилась книга «Конь Вороной».

Эту повесть В. Ропшина надо поставить рядом с «Конем Бледным» не только потому, что названия и эпиграфы тоже евангельские, а главного героя тоже зовут Жорж. Повесть, в виде дневника полковника Юрия Николаевича, по своей тональности, по тому, как выражается в ней отношение к жизни и людям, отчаяние, переходящее в крайнюю жестокость, перекликается с «Конем Бледным», что подчеркивается повторением многих строк его.

Но если Жорж из «Коня Бледного» вызывал хаос своей террористической деятельностью, то Жорж из «Коня Вороного» уже стоит по горло в крови — того и гляди захлебнется в «клюквенном соке».

Только сегодня, в наплыве правды о гражданской войне и ее последствиях, мы можем оценить художественную силу произведения В. Ропшина и, потрясенные, вдруг ощутить в нем предостережение обществу, вновь ступившему на путь распада...

Начнем с признаний В. Ропшина, сделанных задним числом, уже после написания повести. «Эта повесть не биография, но она и не измышление». Судя по содержанию и дневниковым датам, первая ее часть относится к ноябрю 1920 года, когда Савинков в составе «Народной армии» ходил в поход на Мозырь. Вторая — охватывает период с июля 1921 по март 1922 года, когда Савинков делал ставку на «зеленых». Он действительно «описывал либо то, что пережил сам, либо то, что... рассказывали другие». Прототипом Жоржа, скорее всего, послужил полковник С. Э. Павловский, аристократично красивый, хладнокровный, храбрый и жестокий исполнитель многих военных авантюр Савинкова.

Во-вторых, первоначально В. Ропшин хотел назвать повесть «Федя», то есть именем ординарца полковника, не рассуждающего палача, который казался сперва главным героем. «Федя, не разумеющий, почему он борется против большевиков, и в то же время ненавидящий их, был во всех «белых» армиях, во всех «зеленых» отрядах и в каждой тайной организации. В нем воплотились его же слова: «Неизвестно, за что воюем...» Но потом возобладала тенденция, подсказанная в свое время Зинаидой Гиппиус. Она точнее передавала апокалипсический ужас гражданской войны.

Этот ужас — неотвратимости участия каждого в кровавой бойне. «За Россию... Но за какую Россию? Ведь те и другие — мы...» Выбирать не из чего. Повесть начинается с трагедии рабочего, коммуниста Назаренко, взятого в плен и сражающегося за савинковцев. Как бы оговоркой он произносит принцип мобилизационной повинности большевиков: «Кто не хочет (служить), того расстреляют». Полковник напоминает ему о своем, мало чем отличающемся от первого, принципе: «Кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу...». Куда ни кинь, все русскому человеку клин.

В палачах-ординарцах ходит и Егоров, крестьянин, старовер, одинаково ненавидящий и большевиков, которые сожгли его дом и убили сына, и помещиков. «Я не за бар — за Россию».

Какой же виделась Россия жителям полусгнивших городков, местечек, деревень? За какую Россию шли воевать подчиненные полковника, грабившие эти городки, местечки, деревни? На этот вопрос повесть ответа не дает. Но она ставит множество вопросов. И самый главный — ради чего проливалась кровь? Ответа на этот вопрос нет и сегодня...

Полковник — русский всем сердцем, «потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом земли». Европа для него — скупой разум, скудная кровь, не ведающая безрассудства, буйства и бунта. У Егорова большевики убили сына, у поручика Вреде — отца, у Феди — мать. Их ненависть понятна. Полковнику, как и Савинкову, понять свою ненависть труднее. У него не было отнятых имений. Ему «все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует, — царский чиновник или «сознательный коммунист»... все равно, чья именно власть владеет страной, Лубянки или Охранного отделения: ведь кто сеет плохо, плохо я жнет...»

«Но я ненавижу их, — говорит полковник (и Савинков). — В распояску предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык. Оскверняют само имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, — не их, а наших отцов».

Полковник, вспоминая Христа Спасителя, арбатские переулки, храмы, как бы предчувствует их уничтожение. И его ненависть не перешибают тупоумие, взяточничество, воровство тех, на стороне кого он воюет. Это — вечно при любом строе, Россия же погибает. Но осознает ли это крестьянин, для которого что белые, что красные, что савинковцы, что царь, что коммунисты — «все незваные гости»?

Собирая свою насыщенную страшными красками мозаику, В. Ропшин художническим чутьем постигает главное — злую волю, направляющую человеческое безумие на истребление и духовности, и носителей ее. Наверно, он не помнит слов Рувима Эпштейна из «Того, чего не было» об истреблении ста миллионов эксплуататоров в России, то есть практически всего ее населения.

И вновь он кощунственно, как в «Коне Бледном», обыгрывает заповедь «не убий», которой нет места в кровавом балагане. Террор индивидуальный уже кажется забавной игрой в сравнении с таким: «Человек живет и дышит убийством и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь».

Нет, она не такова. Она становится такой, когда людям заморачивают голову, вбивают в нее ненависть, доводя до массового психоза. Так было, так есть.

Весь громадный опыт Савинкова стоит за этой небольшой повестью. Красный полк сдается без боя. Восемьсот крестьян покорно ждут, когда заработают пулеметы с тачанок. Но их не расстреляли, из них составляется добровольческий полк, который идет в бой против красных. Правда, в жизни эпилог был другой. Красный командир полка заболел тифом. Назначили бурбона-офицера. И полк опять перешел к красным.

Или. В повести Федя поднимает шинель, испачканную кровью, счищает бурые пятна ножичком и надевает. Помните случай с Савинковым в каппелевском отряде?

Зверствует полковник, зверствуют в Чека. В Бобруйске «толстая баба» в галифе садистски убивает добровольцев. И она же, после занятия города савинковцами, спокойно является к полковнику и говорит: «Хочу служить белым».

Еще больше ненависти и крови вбирает в себя вторая часть повести. Теперь полковник — главарь банды «зеленых». Он все сокрушает на своем пути с тремя десятками головорезов. Действует и в Москве. Сила полковника не только в его воле, гипнотизирующей людей. Сила банды в слабости людей, готовых стать на колени и ползти в страхе за свою жизнь и благополучие. В. Ропшин ничего не выдумывает. Оглядываясь на собственную историю, мы видим, что бандиты тем увереннее чувствовали себя, чем больше людей они убивали...

Но на этом фоне есть люди, которые «живут по-людски». Обыватель ловчит, он катает девиц в автомобилях. «В гору холуй пошел, — говорит Федя, побывавший в Москве. — Коммуной-то и не пахнет». Холуй тоже убивает, но он еще умеет и жить. Он «слопает» все, овладев марксистским словариком. Но в размышлениях полковника есть одна непререкаемая истина — всякий в этой стране, и сам полковник, и те, кто у власти, все — в тюрьме, никому не выйти из мелового круга.

Полковник Юрий Николаевич и поручик Вреде — народолюбцы из дворян. Когда-то они «спасали» народ в боевых революционных организациях, плохо зная его. Они готовили революцию, которая зачеркнет их, «слопает». Это выражение одной из примечательнейших фигур повести — Ивана Лукича. Он из рабочих, был коммунистом и сотрудником, стал бандитом. Мечта его — сделаться богатым. Что ему идеи? «Мне все равно, Совнарком, Советы, Учредительное собрание или даже пусть черт собачий... Но я работать хочу. Понимаете, для себя хочу, а не для барских затей или для социализация дурацкой. Ну, а при коммуне разве это возможно? Зубри книжонки, пой «это будет последний»... да «товарищам» взятки давай. Вот когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок: я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон».

В этих словах слышится такое знакомое, будто списанное со страниц современных газет. Только вот мужик... Где он? Ищут его...

Вновь и вновь В. Ропшин возвращается к эпиграфу из Евангелия: «...Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила глаза». И рядом: «Нет конца самоубийственной бойне. Изошла слезами Россия и иссчах великий народ».

В повести банда рассеивается, а за ее дела несут кару тысячи крестьян — их порют, расстреливают, сжигают их деревни. А главари банды — Федя, Егоров, Вреде — теперь члены партии коммунистов. Они в ВЧК, Наркомздраве, Красной Армии. Они — глаза и руки полковника Жоржа, который в своей жизни-тюрьме испытывает ту же трагедию, что и Жорж из «Коня Бледного». Он мечтал о встрече со своей возлюбленной — Ольгой. Он снисходительно позволял любить себя бандитке-крестьянке Груше. А когда Груша исчезает в подвалах Чека и Жорж встречает Ольгу, которая коммунистка теперь, он не видит в ней любимой женщины, и встречи их превращаются в политические диспуты, в которых каждый обвиняет другого в убийствах невинных, в грабежах. «Она чужая. Мне душно с ней, как в тюрьме».

Это происходит потому, что в коммунистах Жорж видит свое зеркальное отражение. Грабят награбленное, и он грабит. Убивают молящихся. А он тоже не верует. Он делает черное дело во имя России. Она верит, что во имя свободы, равенства и братства возможно любое преступление. Но есть ли равенство Пушкина и белорусского мужика, братство Смердякова и Карамазова? Полный крах наступает, когда Жорж предъявляет счет всему русскому народу, «стаду», откликнувшемуся на призыв с балкона: «режь», поверившему «какому-то Марксу», растоптавшему отцовскую веру, разорившему «голодных и нищих» и расстреливающему «беременных баб».

Но ведь коммунисты выиграли. Победи-

телей не судят. Они судят сами. Они карают всякого сомневающегося в том, что дали России мир, крестьянам — землю, всем — свободу. Миллионы шли за это в бой, и веру этих миллионов не дадут разрушить никому, а тем более таким врагам социализма, как социалист Жорж, чьи речи выпущены ныне из-за решеток спецхранов, но уже теряются в потоке разоблачительной литературы.

«Вы обещали «мир хижинам и войну дворцам», — и жжете хижины и пьянствуете во дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостынь «на гроб», а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все, как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны... Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство».

Кого теперь удивишь такой тирадой?

Кончается повесть все-таки на оптимистической ноте.

«Пальнем-ка пулей в святую Русь!» В. Ропшин, приведя стих из Блока, уверен, что Русь ранена, а не мертва. Она встанет когда-нибудь, встанет из народных глубин. «Сроков знать не дано». Кажется, этот процесс начинается на наших глазах... Если, конечно, русских опять не обманут «народные заступники», опять не стравят друг с другом, не польется снова братская кровь...

В свой предсмертный час, во внутренней тюрьме на Лубянке, Савинков пытался объяснить свою повесть:

«Субъективно, конечно, все правы. Правы «красные», правы «белые», правы «зеленые». Поэтому я и назвал повесть не «Федя», а «Конь Вороной»: И «вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Меру, то есть непоколебленные весы. Ибо чаши весов не колеблются оттого, что Жорж, или Вреде, или Федя не ведают, что творят.

Но объективно правы либо те, либо другие — либо «красные», либо противники их. На этот вопрос моя повесть не дает прямого ответа. Но он ясен».

Народ, миллионы крестьян и рабочих хотят спокойной жизни и благоденствия.

25.

Миллионы русских людей были убиты в междоусобной войне, но кто подсчитал, сколько их погибло в чекистских подвалах в дни «триумфального шествия», когда по приказу Урицкого и ему подобных в одном Петрограде еще до официального объявления «красного террора» были расстреляны и утоплены в каналах десятки тысяч интеллигентов, когда в харьковских застенках грудами лежали «перчатки» — содранная с рук вместе с ногтями кожа, а людей еще живыми закапывали в землю, в Киеве под присмотром Лациса и Розы Шварц разбивали головы кувалдой, а всего за полгода убили более ста тысяч человек, в Одессе палачи Дейч и Вихман превзошли их, вытягивая жилы у людей, распиливая на куски, пытая беременных женщин, сжигая живьем в топках кораблей...

В 1919 году, когда из двух с половиной миллионов жителей Петрограда в результате расстрелов и голода осталось 900 тысяч человек, Троцкий в одной из речей издевательски говорил: «Мы достигли такой власти, что если бы завтра декретом мы приказали всему мужскому населению Петрограда явиться на Марсово поле и получить по двадцать пять ударов розгами, то 75 процентов явилось бы и стало в хвост, а остальные запаслись медицинскими справками, освобождающими от телесного наказания».

Зинаида Гиппиус написала горькое стихотворение, как бы издеваясь над былой баррикадно-революционной романтикой, и пометила его: «25 октября, 19 г., СПб».

На баррикады. На баррикады!
Сгоняй из дальных, из ближних мест...
Замкни облавой, сгруди, как стадо,
Кто удирает — тому арест.
Строжайший отдан приказ народу,
Такой, чтоб пикнуть никто не смел.
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрется — тому расстрел.
И все: старуха, дитя, рабочий —
Чтоб пели Интер-национал.
Чтоб пели, роя, а кто не хочет
И роет молча — того в канал!
Нет революций краснее нашей:
На фронт — иль к стенке, одно из двух.
...Поддай им сзаду! Клади им взашей,
Вгоняй поленом мятежный дух!

На баррикады! На баррикады!
Вперед, за «Правду», за вольный труд!
Колом, веревкой, в штыки, в приклады...
Не понимают? Небось, поймут!

Чтобы понять «Коня Вороного», надо хотя бы бегло ознакомиться с рукописью непубликовавшейся статьи Виктора Савинкова «Советская Россия и русская эмиграция», написанной явно под влиянием взглядов брата и стекавшихся к нему сведений. Итак, конспект:

Большевизм или ленинизм — нечто прямо противоположное учению Христа, Будды и иных учителей человечества. Это крайне упрощенный, сведенный к нескольким догмам марксизм.

Русский народ по природе склонен к духовности и стихийно религиозен. Ему дали «религию примитивного материализма, темную веру в «ничто». Раз после смерти нет ничего и не дано никакого духовного бытия человеку и располагает он лишь короткой телесной жизнью, проходящей без следа, то «все позволено», возникает штирнеровское «я никому ничего не должен», «если не я его, то он меня, так лучше я его»... И это подкреплено «наукой», поощряющей разнузданность, бессовестность, скотство, низменные страсти, жестокость. Человек начинает презирать все, что выше скотства.

До войны 14 года в России было 178 млн. населения. 85% — крестьяне, 10% — пролетарии, 4—5% прочие, и в том числе интеллигенция. Она служила народу бескорыстно, но народ ее не понимал. Часть большевиков была интеллигентна (Ленин, Луначарский, Крыленко), большая часть полуинтеллигентна (коммерсанты Красин, Радек, провизоры Зиновьев, Каменев...)

От себя добавим: архивные документы, воспоминания современников говорят, что во время страшного голода, начавшегося в России в 1921 году, у каждого из упомянутых большевиков, включая и Дзержинского, но исключая Ленина, лежало в швейцарских банках по нескольку миллионов долларов. Они жили в роскошных особняках, обслуживаемые многочисленной челядью и охраняемые китайцами или другими не знавшими русского языка головорезами, дарили любовницам баснословно дорогие колье, распродавали за границей художественные ценности из дворцов и храмов...

19 мая 1922 года Ленин писал: «т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим...

Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам *Политбюро...»* (ПСС, т. 54, с. 265—266).

Циничное указание подходить к интеллигенции как к «военным шпионам» завершилось высылкой многих сотен писателей и ученых, среди которых были философы Бердяев и С. Булгаков, основатель социологии П. Сорокин и сотни других.

Продолжим конспектирование: Ленин — человек с больным мозгом — бескорыстен и фанатично предан учению, но он никогда не отличал идеала от преступления, путал цели и средства, считал «буржуазными предрассудками» совесть, всякую мораль. Он подмечал то, что нужно народу, и обещал это. Он взял власть и наделил этой властью распаленные массы. Они убивали, упиваясь безнаказанностью. Убивали интеллигентов.

Попытка белых противостоять этому кончилась провалом. За спинами сражавшихся белых происходил распад — негодяи грабили и армию и население. Потом восстали «зеленые». До осени 1922 г. большевики усмиряли крестьянские восстания. Не было деревушки, которая хоть раз не восставала бы против красных.

Затем началась расправа с церковью. За нее народ не вступился.

События в России — лишь средство для достижения цели — мировой революции. Уничтожено 75 процентов интеллектуальных сил России. Вызван голод. По подсчетам профессора Питирима Сорокина, высланного по указу Ленина, потери России по 1922 год — 21 миллион, из них 5 миллионов — жертвы германской и гражданской войн, остальные погибли от голода, расстрелов в ЧК, карательных экспедиций. По докладу генерального прокурора Крыленко, за первые четыре года советскими судами вынесено 1 766 118 смертных приговоров. Разруха, беспризорные, обнищание населения...

Европейцы же видели в большевизме смелое новаторство...

Прекратим конспектировать и добавим:

Менее известно, что в послевоенное время, в 1922—1924 годах, было убито по суду и без суда, по некоторым подсчетам, более двух миллионов человек. Больше, чем в 1937—1938-м, когда казнили много «своих», у которых самих руки были по локоть в крови. И становится понятной скорбь многих «мемориальных» организаций.

Кого убивали в начале двадцатых годов? Прежде всего командиров отвоевавшейся Красной Армии, а 90 процентов их составляли бывшие офицеры, сражавшиеся до этого на немецком фронте, куда они призывались как люди образованные, да и были они либеральных и даже радикальных взглядов, что не только мирило их с коммунистическими псевдоидеалами, но и вызывало ощущение служения своему народу, многим миллионам крестьян, по мобилизации одетым в солдатские шинели. Убивали крестьян, скинувших шинели и вдруг обнаруживших, что дома их просто грабят. Убивали рабочих, загоняемых в трудовые армии. Ученых, инженеров, писателей... Убивали и высылали все более или менее самостоятельно мыслящее. Среди них было пятнадцать тысяч священников, расстрелянных без суда и следствия, распятых на крестах, зарытых живыми в землю, сожженных, утопленных... Более восьми тысяч священников, монахов, монахинь убили по суду. Примерно такое соотношение истребленных по суду и не по суду было общим для всех категорий населения.

Но это было только начало геноцида, которому надо было придать правовые нормы. В 1922 году, незадолго до ухода от дел, Ленин давал указания наркому юстиции: «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу). ...ко всем видам деятельности меньшевиков, *с.-р. и т. п.;*

найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с *международной буржуазией...»* (ПСС), т. 45, с. 189). В Горках он правил кодекс, добавлял расстрелы за призыв к пассивному противодействию правительству, к невыполнению воинской и налоговой повинности. Требовал террор «узаконить... принципиально», «формулировать... как можно шире» (с. 190). «Террор—это средство убеждения»,—писал он.

Больше церемонились с эсерами, организовав крупный процесс по их делу через неделю после принятия Уголовного кодекса (8 июня — 7 августа 1922 года). «Связь с международной буржуазией» здесь была налицо. Это они оказали сопротивление в первые же дни после Октябрьского переворота, не признали Брестского мира, основывали свои правительства во время гражданской войны, противились вывозу русского золота в Германию, из их рядов вышел Савинков, получающий

деньги от Антанты. Но все-таки они были свои, революционеры, и сидели в царских тюрьмах побольше большевиков. К тому же в 1919 году они решили прекратить борьбу против большевиков, их амнистировали, но вскоре начали арестовывать. Но не всех, не всех... А кто теперь попал под суд? Гоц, старый знакомый Савинкова и внук богатого чаеторговца, Гендельман, Берг, Ратнер, Либеров... Все свои, свои... Им предложили покаяться, они покаялись. Расстрел заменили высылкой за границу. Часть уехала. Понятно, кто. А часть (тоже понятно, кого) вернули в тюрьмы с приостановленным расстрельным приговором, то есть обещая расстрелять, если эсеры здесь или за границей поднимут голову.

Русскую интеллигенцию арестовывали по большей части провокационным способом. ОГПУ во всех городах России создавало громадное число кружков из своих агентов, в которых велись антисоветские разговоры, а то и просто поругивали нелепости, совершаемые властями. Вовлекаемые в такие кружки, просто высказывавшиеся не так на вечеринке «оформлялись» как участники заговора. Но это было еще по-божески, расстрелять могли просто за то, что человек смеялся, слушая провокационно рассказанный еврейский анекдот. В газетах печатались ложные сообщения о взрывах складов, за чем следовали массовые аресты. Арестованные под пытками признавались в осуществлении придуманных диверсий. Таким образом осуществлялся настоящий геноцид. Ликвидировалось все мыслящее в русской нации. Когда же потом уничтожали крестьянство с его многовековым опытом ведения хозяйства, а остальных загнали в колхозы, лишив права передвижения, низведя до положения рабов, с которыми расправлялись даже за несколько колосков, взятых с хозяйского поля, чтобы накормить детей, умиравших от голода, считалось, что с русскими, украинцами, белорусами покончено, что они уже никогда не поднимут голову.

Жертвой или, скорее, объектом провокации стал и Савинков, томившийся за границей и клюнувший на возможность возглавить якобы существовавшую в России подпольную организацию ЛД (Либеральные демократы). Вся операция по заманиванию Савинкова одобрительно, весьма подробно, документированно рассказана в романе В. Ардаматского «Возмездие», коротко, осуждающе дополненном в главе 9 «Архипилага ГУЛАГ» А. Солженицына, который отмечал «невероятную скорость» следствия и суда, что объяснялось ненужностью вымучивания из подследственного ложных показаний, поскольку отпираться он не стал из гордости, а инкриминировать ему было что с лихвой.

Еще летом 1922 года при переходе границы был задержан адъютант Савинкова, бывший офицер Л. Д. Шешеня. На допросе в ОГПУ он выдал других савинковцев. Взяв заложниками их семьи, ОГПУ затеяло большую игру с «Народным союзом защиты родины и свободы». Была разработана «легенда» существования в России большой антибольшевистской организации, членов которой имитировали чекисты. Эмиссары организации встречались с варшавским представителем НСЗРС Философовым и даже в Париже с самим Савинковым, которому подробно докладывали о деятельности ЛД, вручали валюту на содержание его газеты и фальшивые разведдонесения. Правдоподобность докладов и донесений подтверждалась письмами схваченных людей Савинкова и специально публикуемыми в печати сообщениями о диверсиях.

Осторожный Савинков в сентябре 1923 года послал в Россию полковника Сергея Эдуардовича Павловского, который тоже был схвачен и подсоединен к игре, но впоследствии не выдержал своей роли, убил тюремного надзирателя и был застрелен при попытке к бегству.

При упоминании имени Павловского не хочется проходить мимо письма Бориса Викторовича, посланного сестре Вере Викторовне Мягковой в Прагу вскоре после выхода в свет «Коня Вороного» и приведенного в книге В. Ардаматского:

«...а тебя я назначу министром совести. России такое министерство необходимо не менее, чем — просвещения и наук. И в кабинете у тебя будут висеть два портрета: нашей мамы и Вани Каляева. Кстати, ты все же зря коришь меня за него. Я вообще заметил, что очень часто люди понимают мои книги совсем не так, как я хотел бы. Недавно даже Серж (!) Павловский (!!!) прочитал (!!!!) моего «Вороного» и предъявил мне свои обиды. Да что вы, в самом деле, сговорились, что ли, не понимать того, что я пишу?..»

Видимо, близким читателям его было трудно отрешиться от личности самого Савинкова, подняться до художественных обобщений, а редко что читавший рубака Павловский решил, что Жорж — это действительно он... Судя по письму, Савинков полон самых радужных надежд на крупную, разветвленную подпольную организацию в России. Ему уже мерещится переворот. Он видит себя в роли правителя страны, создающего министерства.

«...И тогда я сделаю несколько символических жестов, ну, во-первых, министерство совести. А затем памятник Ване Каляеву, и другим принявшим смерть за свой слепой террор. Я такой, Вера, поставлю им в Питере памятник, что его будут видеть из Финляндии, а любоваться им и думать у его подножья будут ездить люди со всего света.

Но все это завтра, завтра. А сегодня мне как воздух необходимо спокойствие и трезвость — и в мыслях и в чувствах...»

Все-таки в писаниях своих он был неисправимый романтик, этот жесткий политик Савинков. Из старого мира, когда еще существовали такие понятия, как совесть и честь. В действительности же ему предстояло встретиться с безликими дельцами, хладнокровно обдумывающими провокации, и так же хладнокровно расстрелянными, когда понадобилось избавиться и от них.

Среди писем Савинкова «Объединенному руководящему центру Либеральных демократов» весьма интересно посланное в июне 1924 года. Он возвращался в нем к «решению национального вопроса на началах признания независимости всех окраинных народов». Это его старая идея, причудливым образом осуществляющаяся через семьдесят лет. Следующим шагом, по его мнению, должно было стать свободное соглашение всех государств, включая Польшу, и «образование Всероссийских Соединенных Штатов по образу и подобию Соединенных Штатов Америки». Он сетовал на монархистов и даже на старых эсеров, которые считали независимость Украины, Грузии, Белоруссии «расчленением» России.

Что же касается образа правления, то Савинков, несмотря на разочарование в приеме, оказанном ему Муссолини, склонялся к фашизму, который он, в отличие от эсеровской эмигрантской печати, не считал реакционным, «если не понимать под реакцией борьбу с коммунизмом и утверждение порядка». У нас уже есть много доказательств идейной последовательности Савинкова, который в конце концов заявил, что ему «фашизм близок и психологически и идейно», и он прочит его России в случае победы своих сторонников.

Психологически фашизм был по душе ему, «ибо он за действие и волевое напряжение в противоположность безволию и прекраснодушию парламентской демократии». Недаром сторонники Савинкова называли его «вождем», а он считал каждое свое высказывание истиной в последней инстанции и требовал беспрекословного подчинения.

Идеи суть следствие психологии. Фашизм приемлем для него, «ибо стоит он на национальной платформе и в то же время глубоко демократичен, ибо опирается на крестьянство». Савинков признавался, что Муссолини ближе для него, чем Керенский или Авксентьев. Он предрекал рост фашистского движения в Европе повсеместно из-за кризиса парламентских учреждений. «Люди разочаровались в болтунах, не сумевших предотвратить войну и не умеющих организовать послевоенную жизнь... Парламент (у нас Советы) не должен мешать правительству в его созидательной работе бесконечными прениями и присущей всякому многолюдному собранию нерешительностью. Если за парламентом остается право контроля, то на него возлагаются и обязанности, он не должен быть безответственным и бездейственным учреждением. Керенским и Милюковым в фашизме нет места. Отсюда их ненависть к нему».

Как видим, Савинков не отделял фашизм от народного представительства. Он ставил ему в заслугу смягчение борьбы классов и даже защиту свободы и достоинства каждого гражданина. И, разумеется, видел в фашизме спасение от «коммуны».

Известное социально-экономическое определение фашизма было дано Коминтерном в 1933 году, когда в СССР уже утвердилась диктатура Сталина, опиравшаяся на тоталитарную власть партийно-бюрократического аппарата. И во весь рост встает вопрос, которого у нас избегают, как черт ладана. В чем сходство и в чем отличие коммунистической диктатуры от фашизма и появившегося позднее немецкого национал-социализма?

Коммунизм пришел к власти в результате осуществления принципа экспроприации экспроприаторов («грабь награбленное») и, следуя своей линии, разжигал классовую рознь, разрушал национальные культуры, церкви, многовековые народные традиции, мораль, предлагая вместо этого верность схеме, обещавшей материальную обеспеченность, а на основе ее усмирение диких человеческих инстинктов. В результате партийная верхушка, даже живущая материально по-коммунистически, «по потребностям», не смирила своей низменной собственнической натуры и террором (массовым, идейным, всяким) утвердила свою монопольную власть за счет ограбления и угнетения миллионов, управляемых в силу все той же монопольности преступно некомпетентно и лениво. По сути, создался новый правящий класс, формально не имеющий собственности, а фактически присвоивший собственность всей страны и пользующийся ею от имени народа.

Фашизм пришел к власти на волне народного недовольства демократическими учреждениями, весьма неуспешно справлявшимися с послевоенными социальными неурядицами, инфляцией, обнищанием масс, которым фашистами, а потом национал-социалистами (победившими, кстати, демократическим путем) обещан был порядок, экономическое благополучие и удовлетворение национальной гордости, что обещал в своих статьях и Савинков. **Другое дело — как использовалось это национальное самосознание.** Тут мы имеем дело тоже с социализмом и тоже с диктатурой. Но эти понятия в фашизме (будем пользоваться этим обобщающим названием) отражают как бы зеркально коммунистический социализм и коммунистическую диктатуру, потому что фашизм зародился в борьбе с ними и во многом перенял их методы и организационные формы. Однако фашизм не пошел на разрушение «до основанья» ни хозяйственного механизма, ни национальных и культурных структур, что позволяло ему даже процветать до того, как он был заражен своими вождями чувством расового превосходства и милитаристского безумия. Но фашизм тоже исповедовал массовый террор, не достигший, правда, такого размаха, как в СССР. Если тут были уничтожены многие десятки миллионов людей и еще десятки миллионов упрятаны в концентрационные лагеря, то в Италии он был невелик сравнительно с Германией, в которой хотя и было около семи миллионов коммунистов и голосовавших за них в момент прихода к власти Гитлера, число загнанных за колючую проволоку (ненадолго) немцев не превышало полумиллиона, а казненных — нескольких десятков тысяч. Остальные бывшие немецкие коммунисты «вписались» в «новый порядок» и с немецкой дотошностью исполняли свой долг в отношении рейха и в рядах вермахта. **Это правда, как ни прискорбно ее услышать нашим коммунистам.** Что же касается последующих, военных, потерь немецкого населения по сравнению с нашими, цифры известны...

Мы отвлеклись от Савинкова, ошибочно предсказывавшего, что Англия будет впереди всех на фашистском пути. Здравый

английский смысл и устойчивая приверженность демократии в конце концов взяли верх. То же можно сказать и о Соединенных Штатах и других странах с преобладанием англо-саксонского этноса или культуры. Этот мир, а вернее, его лидеры получили урок, преобразующий всю хозяйственную и социальную систему нетоталитарного мира. То, что происходило в социалистических и фашистских странах, стало отрицательным примером — опасным! Наша заслуга в том, что капиталистам из страха перед повторением у них нашей трагедии пришлось поделиться доходами, что уровень жизни пролетариев развитых стран повысился до более чем сносного, а слово «пролетарий», не исчезающее из лозунга, которым украшены все наши газеты, стало оскорбительным для рабочих этих стран...

В сознании славян и евреев нет прощения немецкому национализму, не только развязавшему мировую войну, но и нацелившемуся на тотальное истребление и порабощение целых народов. В предвоенное время бытовало мнение, что в России осуществлен «еврейский фашизм», что России, как таковой, уже больше не существует, и это позволило Гитлеру рассматривать остаток ее славянского населения как «неполноценную расу», тем более что западная «плутократия» относилась снисходительно к коммунистическому эксперименту. Но это было его величайшей ошибкой. Ценой громадных жертв славянские народы пресекли расовое преступление, спасли и других, за что многострадальная русская нация, право же, заслуживает не только сострадания, но и признательности, а не ненависти, которая так часто в мире обращается именно на униженных и оскорбленных.

26.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

В двадцатых числах августа с. г. на территории Советской России ОГПУ был задержан гражданин Савинков Борис Викторович, один из самых непримиримых и активных врагов рабоче-крестьянской России (Савинков задержан с фальшивым паспортом на имя В. И. Степанова)

ДЕЛО Б. В. САВИНКОВА

Арестованному, в 20-х числах августа, Борису Викторовичу Савинкову, в 23 часа, 23 августа, было вручено обвинительное заключение и по истечении 72-х часов, согласно требований уголовно-процессуального кодекса, в Военной Коллегии Верховного Суда СССР, началось слушанием дело о нем.

Состав Суда: председатель — тов. Ульрих, члены Суда — т. т. Камерон и Кушнирюк.

* * *

Это было напечатано в центральных советских газетах, и в первой же строчке содержалась ложь, непонятная, но ставшая традиционной у нас при сообщениях об арестах, или смещениях, или смертях различных деятелей, включая вождей.

На самом деле Борис Савинков был арестован в Минске 16 августа 1924 года.

Он решил отправиться в Россию вместе с Александром Аркадьевичем и Любовью Ефимовной Дикгоф-Деренталями. Готовился он к этому основательно, и веря, и не веря возможности действовать. Он призвал из Праги сестру Веру с мужем и вручил им свой архив, запечатав его и дав указания, как следует распорядиться документами в случае своей гибели (!), а также составив завещание. Он попрощался с Мережковским и Гиппиус, оставив ей свое поэтическое наследие. В Варшаве пробыл недолго и 15 августа проследовал вместе с Деренталями и руководителем варшавского отделения НСЗРС Фомичевым к «окну» в границе. Пилсудского он не известил о своем переходе, и когда польская разведка доложила об этом маршалу, тот написал на полях донесения: «Не верю».

Поверить было действительно трудно, и потому возникла версия о сговоре Савинкова с большевиками, будто бы обещавшими ему не только неприкосновенность, но и руководящее участие в своих делах.

Поляки переходу не препятствовали. На границе группу встретил сманивший Савинкова и заранее выехавший провокатор из ГПУ Федоров (он же Мухин) с группой чекистов, представившихся членами подпольной антисоветской организации. Принимая «меры предосторожности», все двинулись к Минску. Савинков еще успеет написать до своей гибели (он много успеет написать), как радовался он русским полям, перелескам, деревням. «И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля — Россия, леса — Россия, деревни — тоже Россия. Мы счастливы — мы у себя».

Странно, но я, начав писать эту статью с изрядной долей предубеждения против Бориса Викторовича, постепенно пришел к более чем терпимому к нему отношению, потому что понимаю, что его никак нельзя отделять от трагической судьбы моей родины, всех ее блудных сынов, нельзя не жалеть его. Впрочем, возникают и подозрения...

В Минске, в одном из домов на Советской улице, в комнату, где завтракал со своими Савинков, ворвалась толпа чекистов и направила на него револьверы, маузеры, карабины. «Ни с места! Вы арестованы!» По его же описанию, он лишь заметил: «Чисто сделано... Разрешите продолжить завтрак!»

После тщательного обыска все были доставлены в Москву и размещены в камерах внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке.

Уже 21 августа в руках следователей были собственноручно написанные признания Савинкова. Это весьма странное литературное сочинение, наводящее на мысль, что Савинкову и в самом деле было что-то обещано... Он горделиво перечислял организованные им в царское время террористические акты и каялся, что пошел с оружием в руках против «рабоче-крестьянской власти». Это не его словарь... Крепко же надо было кривить душой, зная, что власть никогда не была рабоче-крестьянской. Однако, как говорится, пусть бросит в него камень тот...

Но это перемежалось с заверениями, что он «всю жизнь работал только для народа и во имя его», что он был революционером, демократом и любил Россию. И еще он требовал, чтобы его называли не преступником, а военнопленным.

Обвинительное заключение «выворотной терминологией», по словам Солженицына, характеризовало Савинкова как «последовательного врага... беднейшего крестьянства», который стремился «помочь российской буржуазии осуществить ее империалистические стремления», то есть он когда-то стоял за войну до победного конца... «В бытность военным министром... использовал в борьбе с нарастающей пролетарской революцией свое имя старого революционера-террориста для провокационного вхождения в органы пролетарских классовых организаций (?), в целый ряд солдатских комитетов и союзов...»

(«А. Ф. [Керенский] готов был придумать специально для меня министерство, но, слава Богу, не придумал», — писал когда-то Савинков сестре, но потом его все чаще стали называть министром для пущей важности, и он этого не опровергал.)

«Но это все старое, — пишет Солженицын. — А были и новые, дежурные обвинения для всех будущих процессов: деньги от империалистов; шпионаж для Польши (Японию пропустили!..) и — цианистым калием хотел перетравить Красную Армию (но ни одного красноармейца не отравил).

26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих (впервые его встречаем), в обвинителе не было вовсе, как и защиты. Савинков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И, кажется, очень сюда пришлось, смущала подсудимого эта мелодия: ведь мы же с вами — русские!.. вы и мы — это мы! Вы любите Россию, и несомненно, мы уважаем вашу любовь, — разве не любим мы? Да разве мы сейчас и не есть крепость и слава России? А вы хотели против нас бороться? Покайтесь!..»

Солженицыну показался чудны́м приговор, в котором высшая мера наказания была заменена десятью годами, потому что «мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс». Первой же загадкой он считал возвращение Савинкова. Ссылаясь на Бурцева, Солженицын писал, что Савинкова обманули видимостью, будто внутри органов есть противоборствующие силы, что часть готова на союз с социалистами, и ему обещали, что потом освободят его и включат в политические деятели. То же самое потом было и с Шульгиным, который не был арестован в России, но до конца жизни был уверен, что встречался там с представителями оппозиции, действовавшей под видом провокационной организации «Трест»... Савинкову разрешили писать открытые письма за границу, но они явно не похожи на савинковские, хотя кое-какие обороты его есть.

И далее Солженицын рассказывает о третьей загадке. О гибели Савинкова.

Но вернемся к предшествовавшим событиям. «Дело Б. В. Савинкова» широко освещалось в печати. Только в «Правде» было опубликовано более десятка статей.

30 августа 1924 года. Емельян Ярославский в годовщину покушения на Ленина пытался связать имя Савинкова с этим событием. Ш. (М. Шаронов) в корреспонденции «Из зала суда» сообщал о двухдневной «художественной, мучительной речи» подсудимого, «одного из наиболее одаренных писателей русской буржуазии периода ее упадка». На другой день он же озаглавливает статью «Всемирно-исторический процесс». В каждой статье был пересказ биографии Савинкова, напоминание, что он шел «рука об руку с монархическим офицерством, черной сотней, что он продавал остатки своей притягательной силы бывшего террориста в любой консульской передней...». Поминалось и то, что он был членом кружка мракобесов Гиппиус и Мережковского.

Террорист ценился высоко. Гордо возвещалось, что дело Савинкова «войдет в историю», что Савинков — «собирательное имя».

В тот же день Карл Радек в статье «То, что было» хлестко написал: «Как картежный игрок, потерявший все, с мутной головой смотрящий на восходящее солнце, встал этот человек, десятки раз рисковавший своей жизнью, встал, вызывая к себе отвращение и жалость». И назвал Савинкова «смердящим трупом русской контрреволюции». Все это имело подоплеку. Сам Радек играл не только в карты, но и на бирже за рубежом. У него в обороте, в банках, акциях было до пяти миллионов долларов.

31 августа в заметке «Ключ к белогвардейскому шифру» П. Ш. (Павел Шубин) возмущался, что даже савинковская газета «За свободу» не верит в правдивость сообщений РОСТА о ходе процесса. Печатались высказывания руководителей заграничных компартий.

2 сентября В. Милютин в статье «Политическое значение показаний Савинкова» писал, как они хороши для заграничного общественного мнения...

Вершиной была статья А. Луначарского от 5 сентября «Артист авантюры». Он вспоминал случай в Вологде. Называл Савинкова театральным человеком, романтиком, сентиментальным, но отдавал должное его популярности и смелости. Вспоминал слова Савинкова о том, что «революционеру все позволено» И далее следует вывод, забавный, если бы он не был страшным: «Может быть, мы, коммунисты, не согласны с этим лозунгом? Если немножечко его исправить и сказать: революционеру позволено все, что действительно ведет к торжеству социализма, то мы ни на секунду от него не откажемся». Мы спросим сейчас — какого социализма и что такое «все»?

И еще Луначарский писал, как Савинков любит интригу, как ему нравится «всякая игра в камарилью», ложь, шпионство...

И вдруг: «Как хорошо, что Савинков остался жить». Он, мол, напишет талантливые мемуары и памфлеты на врагов революции.

Брошюрами выпускались «Письмо Б. Савинкова Философову» и «Почему я признал советскую власть» (обе вышли почему-то в Харькове). Перед Дмитрием Владимировичем он извинялся, что не поговорил с ним откровенно перед отъездом. Народ поддержал советскую власть — зачем с ней бороться. Он сравнивал посевные

площади 1916 и 1922 годов, добычу угля, нефти, производительность труда. «При царе Россия была сильна и стала жандармом Европы. Советская власть, укрепившись, объединила в равноправный союз народы бывшей Российской империи». Он за жизнеспособную, русскую, заслуживающую доверия власть, за диктатуру пролетариата. «Эмиграция живет испугом — воспоминаниями о расстрелах и нищете».

Это совсем не савинковский лексикон. Фразы, как будто сошедшие со страниц советских газет. Разумеется, за границей в них не поверили.

В 1926 году были опубликованы «Посмертные письма и статьи» Савинкова в маленькой огоньковской книжке, в предисловии к которой осуждалось употребление им таких «старых атрибутов», как «русский национализм», «величие родины»... В письме к И. Фундаминскому он открещивался от предварительного сговора с большевиками. Сестре Вере («Милая моя Руса») писал: «сижу я очень хорошо». Разоблачал слухи о «соловецких зверствах» чекистов. Теперь-то известно, что это были не слухи. Интереснее всего письмо Савинкова к Даниилу Самойловичу Пасманику о том, что не на кого было делать ставку. «На юмористического «царя» Кирилла? На бутафорского «великого князя» Николая Николаевича?.. На доблестного «генерала» Кутепова?» Коммунисты завоевали доверие крестьян. Савинков сообщает, что коммунистов 600 тысяч, около миллиона комсомольцев, почти 300 тысяч пионеров, что террора никакого нет. Германских денег большевики не получали. Советует читать отчеты о заседаниях ВЦИК, о том, как растет посевная площадь. «РКП едина и будет едина», — сообщает Савинков таким тоном, будто ему поручили делать доклад от имени Политбюро. Он высмеивает разговоры о «разногласиях» в партии...

Если помнить, что перечисленные письма относятся к октябрю—ноябрю 1924 года, когда борьба за власть в большевистской партии разгоралась, то...

И Савинков ли мог написать: «Эмигрантская психология — дневник Гиппиус, одна из самых отвратительных книг». Гиппиус не поверила этому ни на секунду, продолжала заботиться о его литературном наследии.

Он сообщает, что осужденных эсеров держат не в тюрьме, а в совхозах, что на церковь никаких гонений нет. А еврейского вопроса «нет вовсе, и повторять легенду о всероссийском погроме после падения советской власти — значит не понимать ни того, что советская власть не падет, что ни о каком погроме не может быть и речи». В письме к Пасманику он обижается, что его называют «Азефом» и «Иудой».

Дело в том, что после публикации подробностей процесса в родной газете Савинкова «За свободу» появилась статья Д. С. Пасманика, как бы защищавшего от обвинений его в предательстве, заполнивших эмигрантскую прессу.

Но в Пасманик писал, что Савинков если кого и обманывал, то только самого себя. «Это мое глубокое убеждение, в этом разгадка савинковской трагедии, ибо, что ни говорили бы нынешние противники, мы присутствуем не при пошлом фарсе, а при тяжкой трагедии, прежде всего трагедии лжи». Савинков лгал, потому что надеялся сберечь себя. Врал на суде, даже рассказывая об истории расстрела сестры и ее мужа. Пасманик ссылается и на интимное письмо Савинкова, где говорится, что «с красными бороться нельзя, да и не нужно».

Я нашел в так называемом «Пражском архиве» это послание к сестре Вере от 31 августа 1924 года. В конце его Савинков советовал сестре показать «интимное письмо» в Варшаве, Париже, Лондоне, Праге, переводить, публиковать... А начиналось оно так:

«Пишу тебе после процесса, из Лубянской тюрьмы. Ты, конечно, спрашиваешь себя, почему я признал советскую власть? Но и спрашивая себя, — я уверен, — ты не предполагаешь, что я испугался смерти...»

Он уверяет, что ни его, ни Любовь Ефимовну, ни Александра Аркадьевича никто не пытал. Что он признал советскую власть «по совести». В 1918 году было другое — большевики погубили Учредительное собрание и заключили «похабный мир». Он считал их разбойниками, несущими «русскому народу, русскому крестьянину и рабочему рабство и нищету». И тогда решил:

«Если бороться, то бороться с винтовкой в руках, а не увещеваниями и речами. Мне связали руки, я дрался ногами; мне связали ноги, я кусался зубами; мне искровянили все лицо, я и тогда, в отчаянье, стукался головой об стенку».

Он видел Белое движение. Честные люди погибали в боях, а в тылу были зависть, клевета, варварство. И «Боже, царя храни». Расстреливали красных «часто зря». После Мозырского похода Савинков будто бы был уже «душевно побежден». Считал, что Учредительное собрание — вздор.

В 1921 году, разочаровавшись в белых, он сделал ставку на «зеленых». Это крестьяне. Но они оказались полуразбойниками, полушпионами. «Я сеял пшеницу, а вырастали чертополох и лопух».

А красные побеждали. Ленин оставался жив, и поэтому говорил: «Что же делает Савинков?»

К лету 1923 года он якобы решил отказаться от борьбы, но не хотел стать «чиновником в отставке». Тогда поехал в Россию, чтобы увидеть все своими глазами.

Эмиграция негодует. Пусть. «Верхи» ее утратили уважение Савинкова. Лучше путь с советской властью, чем с кадетами, эсерами, меньшевиками, монархистами — «отработанным паром».

Он признает советскую власть. Потом ее признают все.

Нашел я и письмо к Бурцеву, помеченное: «Внутренняя тюрьма. Сентябрь 1924». Савинков вспоминает, как перед отъездом они совещались в Париже. Но он не сказал тогда, что уже год, как пришел к заключению о бесплодности борьбы с большевиками. В России убедился, что никаких тайных организаций там нет (!) и что население ненавидит эмигрантов. И он признал себя побежденным, признал советскую

власть. За нее народ. Разруха кончилась...

Сохранилось письмо Виктора Савинкова в редакцию газеты «За свободу» от 9 сентября, в котором он уверял, что «опубликованные большевиками показания Б. В. Савинкова весьма похожи на данные обвинительного акта и не представляют из себя ничего такого, что не могло быть известно большевикам и помимо Б. В.»

В эмигрантской печати отмечали, что суд был при закрытых дверях, без защитников, без свидетелей, без иностранных корреспондентов. Делались предположения, что его письма фабриковались, подделывались под стиль Савинкова. И это губило его вернее всякого расстрела.

А. Г. Мягков, зять Савинкова, составил подробную записку, в которой пытался опровергнуть легенду о предварительном соглашении Савинкова с большевиками о возвращении в Россию.

21 сентября Вера Викторовна Мягкова писала в письме, что все отворачиваются от нее с мужем из-за брата.

Ардаматский приводит целых два письма Черчилля к Сиднею Григорьевичу Рейли, отправленных в сентябре:

«...Если правда, что он (Савинков) оправдан и **освобожден** (выделено мною. — Д. Ж.), я могу только порадоваться. Я уверен, что, если ему удастся приобрести влияние на этих людей, он сделает все возможное, чтобы улучшить общее положение. Вообще говоря, то, как обошлись большевики с ним, в первый раз свидетельствует, что они способны вести себя прилично и разумно.

Буду рад всему, что Вы сообщите мне по этому поводу, потому что всегда считал Савинкова крупным человеком и большим русским патриотом, несмотря на ужасные вещи, с которыми связано его прошлое. Впрочем, трудно судить политическую жизнь чужой страны».

Во втором письме Черчилля есть фраза: «Думаю, что Вам не следует судить Савинкова так жестоко...» Интересно, в каких грехах Рейли обвинял Савинкова?

Вскоре Рейли тоже заманят в СССР. Из него выжмут все, что он знал. На иностранцев в ГПУ давили весьма эффективно, водя их на ночные расстрелы. Мат палачей и предсмертные вопли убиваемых действовали безотказно. Чекисты посмеивались — эти иностранцы надеются, рассказав все, потом как-нибудь оказаться за границей и оповестить мир о методах ГПУ, но смерти не удается избежать почти никому.

Сравнительно недавно в газете «Советская Россия» сообщалось о скандале, связанном с деятельностью спецслужб в США, которые задействовали лучших медиков и фармацевтов страны для поисков средств, воздействующих на психику человека так, что он будет говорить и действовать (на суде, например), как его запрограммируют. Начало этой работы восходило к сведениям, поступившим из СССР еще в двадцатых годах, о том, что в распоряжении ГПУ были такие медикаменты.

Ардаматский приводит слова работника прокуратуры Р. П. Катаняна, что Савинков «никак не реагировал» на восприятие залом его «лепета». Смягчение приговора он объяснял надеждой, что Савинков напишет нужную книгу, которая была бы «поучительной сенсацией для всего мира».

В таком калейдоскопе сведений трудно разобраться, но вычленить кое-какие сомнения можно. А не была ли вся деятельность Савинкова, в свою очередь, провокационной? Если вспомнить его странные отношения с Азефом? Корниловский мятеж, развязавший руки большевикам? Неудавшиеся восстания в Поволжье, давшие козырную карту чекистам для избиения офицерства вообще? Подготовку террористических актов, которые так и не осуществились? Создание великого множества подпольных организаций в советской России? Принадлежность к масонам «Великого Востока», где состоял и Троцкий, например?

Сомневаться можно, но представить себе такое зло, участие в таком заговоре против России невозможно.

27.

В камере внутренней тюрьмы Савинкову устроили относительный комфорт — постлали ковер, доставили кое-какую мебель. Даже разрешили жить вместе с Любовью Ефимовной Дикгоф-Деренталь в этой самой камере. Кстати, он познал ее как женщину впервые только здесь, за тюремной решеткой.

Когда откроются архивы КГБ, в которые, судя по всему, было разрешено заглянуть В. Ардаматскому, мы прочтем заметки для нужной чекистам автобиографической книги, его дневник... С написанными же в тюрьме рассказами советский читатель был ознакомлен сразу...

Загадкам Савинкова начал счет не Солженицын, и не он, видимо, подведет черту. Например...

Любовь Ефимовну освободили 9 апреля 1925 года. Именно в этот день Савинков будто бы начал свой дневник, а на другой — написал, как ему стало грустно, хотя именно тогда в камеру внесли ковер, открыли окно, отчего стало «светлее, но не уютнее». Все имеющиеся пока сведения относятся почему-то к менее чем месячному периоду жизни Савинкова, до 7 мая, когда его не стало. Если, конечно, не считать письма, якобы помеченные им октябрем—ноябрем 1924 года...

Известно, что Дикгоф-Деренталей, выпустив из тюрьмы, обеспечили квартирой и работой. Любовь Ефимовна сотрудничала в «Женском журнале», а Александр Аркадьевич потом служил не где-нибудь — во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей (ВОКС), переводил на русский с известным артистом оперетты Яроном, получал большие гонорары, процветал, в общем, хотя его имя многократно упоминается в «Красной книге ВЧК», где он обозначается как злейший враг советской власти с первых ее дней, нет счету упоминаниям о его последующей антисоветской деятельности в трудах, печатающихся и в наше время, а между тем мнимых «врагов народа» расстреливали почем зря.

Записи Савинкова в дневнике льстивы, когда он пишет о бескорыстности Дзержинского. Свой приезд он объясняет невозможностью жить без России. «Коммунизм меня привлекает, во-первых, потому, что социализм — мечта моей молодости; во-вторых, потому, что в нем больше справедливого и честного; и, в-третьих и наконец, потому, что, выбирая из всего, что есть, я выбираю коммунизм. Не царя же, не республику же Милюкова, не эсеровское же бормотание». Он надеется на освобождение — «я бы служил Советам верой и правдой». «Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально». Все это явно предназначено для чекистов и отчасти — для истории, «дамы крайне забывчивой и непоследовательной». Но в целом то, что известно из дневника, написано весьма для Савинкова примитивно. Вот он изрекает прописную истину о том, что «люди устроены так: когда им выгодно, они бывают честными, когда им невыгодно, они лгут, воруют, клевещут». Это по поводу статей Философова и писателя Арцыбашева, появившихся в эмигрантской печати.

Арцыбашев обвинял его в двойной игре, называл дешевым клоуном у ковра истории. Старый друг Философов — просто в предательстве.

После смерти Савинкова его зять А. Г. Мягков в парижской газете «Последние новости» рассказал о своей попытке разобрать архив Савинкова с целью разоблачения различных легенд и в том числе утверждения, что шурин его уехал в Россию, войдя предварительно в соглашение с большевиками. Об этом свидетельствовали многие сотрудники Савинкова, и даже брат Виктор... Мягков разбирал каждый шаг, сделанный Савинковым до отъезда, но весьма туманно упомянул о том, как в ноябре 1924 года к нему в Прагу приехал Философов и сообщил о «четырех поводах, которые заставили его... прийти к заключению о предварительном соглашении» Савинкова с большевиками. Мягков ему возражал, но Философов говорил, что такое соглашение у Савинкова после ареста было, а что касается «поводов», то они вылились в упоминавшееся обвинение в предательстве...

Есть и еще одна непроясненность. Получается, что два из трех больших рассказов, написанных Савинковым в тюрьме, тоже созданы в апреле 1925 года. Производительность невероятная, если учесть, что мысли его заняты разбором обвинений бывших соратников и ответами на них. И еще надо помнить непрестанную тревогу— смерть уже совсем близка.

В апреле же он читает свои рассказы чекистам. «...Один ушел, другой заснул, третий громко разговаривал. Какой бы ни был мой рассказ — это настоящая дикость, полное неуважение к труду. А надзиратели, видя, как я пишу по восемь часов в сутки, ценят мой труд. Так называемые простые люди тоньше, добрее, честнее, чем мы, интеллигенты», — записывает он, опять же в надежде усовестить начальство и получить новые поблажки.

В отличие от чекистов я не счел рассказы совсем бездарными. Скорее они верноподданные, и автор их, все тот же В. Ропшин, доживи он до создания Союза писателей, вполне мог бы быть причислен к сонму соцреалистов.

Начнем с необозначенного по времени рассказа «Недоразумение», герой которого престарелый Степан Степанович Желвунцов, бывший генерал-майор, клянет скудный советский быт, лелеет «белые» мысли и воспоминания, мечтает о возвращении монарха, запрещает дочери Наде выходить замуж за совслужащего, воображает себя антисоветским «центром», пишет «докладную записку» за границу, великому князю, и оказывается в ГПУ, что приводит старика в совершеннейший восторг — все-таки кому-то нужен. В тюрьме он читает энциклопедический словарь, а когда ему через месяц объявляют об освобождении из-за совершенной дряхлости и безобидности, он, возмущенный такой недооценкой своей деятельности, помирает в кабинете следователя.

Рассказ снабжен всеми теми завитушками, которые позволяют причислить его к «художественной литературе». Но он имеет еще две подспудные смысловые нагрузки. Во-первых, в нем можно усмотреть издевательство не только над монархистами, но и пародирование всего случая с самим Савинковым, клюнувшим на мифический подпольный антисоветский «центр». И во-вторых, читая рассказ, читатель должен был сделать вывод о гуманности чекистов, так что В. Ропшина вполне можно считать родоначальником целой ветви советской литературы.

Рассказ «Последние помещики» помечен: «Апрель 1925 г. Внутренняя тюрьма». Это маленькая энциклопедия эмигрантской жизни, с ее склоками, жалкой политикой, классовыми рознями. В основу ее легли савинковские наблюдения от жизни под Ниццей в 1923 году, где он снимал для матери виллу, где умер от чахотки совсем еще молодой, верный его Флегонт Клепиков и где сам он, томясь по большим делам, кропал «Коня Вороного» и пытался заниматься хозяйством. Как живые, вставали перед ним и богатенькая мещанка Настя, и ее муж-нахлебник, дворянин и офицер Аркадий Петрович, и профессор с женой, другие новожители буржуазного французского мира, в котором деньги — все, а идеи — ничто. Да и идеи какие? Большевики всех ограбили, но «Россия накануне переворота». Это же его собственные слова. Снова самоирония. Подражая Чехову, В. Ропшин отлично строит сюжет, но доводит изображение персонажей и их взаимоотношений до карикатурности, что нисколько не портит рассказа, написанного в русле добротной литературы, откочевавшей на Запад...

Третьему рассказу — «В тюрьме» А. В. Луначарский при публикации предпослал обширнейшее предисловие, в котором, приведя последнюю фразу произведения: «Полковник Гвоздев... был арестован, лгал и убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем ничтожестве, в ничтожестве «Синего Креста», — многословно рассказывал советскому читателю, как Савинков преследовал «широкую цель — выводить типы, выводить символы». Луначарский без конца склонял слово «мразь», которым В. Ропшин назвал своего Гвоздева, давно выгнанного из подпольной антисоветской организации «Синий Крест» за пьянство, арестованного ГПУ, ждущего расстрела и называющего следователю Яголковскому мнимых сообщников, просто людей, встреченных на жизненном пути. Настоящих заговорщиков Гвоздев не знает, но ему трудно сознаться в своей никчемности, и он врет, врет... Луначарский гвоздил «ничтожество организации «Синего Креста», фальшь Гвоздева, говоря, что Савинков хотел показать, какие они «в большинстве, эти белые, враги великой революции», а о большевиках, мол, бывший террорист отзывается в рассказе «холодно и, так сказать, почтительно»...

Прервем на немного Луначарского и посмотрим на рассказ «В тюрьме» под иным углом, фактическим. Савинков воспроизвел тюремную обстановку, томление в одиночной камере, слова следователя: «Эмигранты вас ругают, а вы церемонитесь с ними», когда тот требовал назвать имена, ожидание расстрела, изумление по поводу создания большевиками крепкого репрессивного аппарата, страстное желание бежать... И вот тут распаленное воображение Савинкова рисует, как арестант хватает бутылку и бьет следователя по голове, как проламывается череп и разлетается бутылка, как не удается побег.

На что-то вроде этого решился полковник Павловский, на такое решается ропшинский Гвоздев. А Савинков? Он ждет, как баран, заклания? Не задумывался ли читатель, почему миллионы гибли или шли в лагеря без сопротивления? Убил бы каждый по следователю или конвоиру — изменило бы это что-нибудь в строе? Может быть. Число пленных в последнюю войну едва ли не соответствовало численности немецких войск... Но психологию массы, загнанной за колючую проволоку или обреченной на смерть, знают лишь палачи. Я, например, решил для себя давно — если вернутся страшные времена, буду драться до последнего, а последнюю пулю оставлю себе. Если схватят, буду грызть, пусть убьют...

Но вернемся к Луначарскому с его разоблачением «тупой инерции, обоснованной на том, что большевики — разбойники и лжецы, и тупой инертной веры в какую-то Европу, которая поможет» (по меньшей мере странно читать это сегодня без прибавления Америки и Японии). Пожалуй, этим и исчерпывается анализ произведения В. Ропшина, которое Луначарский называет то рассказом, то повестью, «оконченной незадолго до трагической смерти».

Тут-то мы и подошли к той самой, третьей загадке Солженицына. Луначарский не первый раз высказывается печатно после смерти Савинкова о «ярком типе мелкобуржуазной революции», считал его артистом авантюры, играющим на публику, влюбленным в свою роль народного заступника, мечущимся между благородством своих идеалов и беспощадным аморализмом в выборе средств. Он отмечал трудолюбие, отвагу и вместе с тем расчетливость Савинкова и пытался догадаться о причинах самоубийства Савинкова, который будто бы понял «призрачность дальнейшей борьбы с революцией» и, может, имел и личные причины. И опять мелькает мотив, что Савинков, принеся повинную голову, рассчитывал на «ответственную работу», то есть хотел попасть в советскую номенклатуру, что, с точки зрения наркома, было пределом мечтаний. Но холодная сдержанность советской власти наводила его на мысли, что ему, человеку гордому, сильному, бешено самолюбивому, придется гнить в тюрьме. Луначарский даже пожалел о его смерти, так как Савинков «мог бы быть чрезвычайно полезен... в революционном строительстве», поскольку много видел и многое ведал.

28.

Видимо, Луначарский знал об одной из последних записей в савинковском дневнике, о том, что тот служил бы Советам верой и правдой. И такое: «Нельзя даже понять, почему же не расстреляли, зачем гноить в тюрьме?» Это работает на версию о самоубийстве. Но писал ли это Савинков?

Известно и письмо Савинкова к Дзержинскому от 7 мая 1925 года: «...либо расстреливайте, либо дайте возможность работать; я был против вас, теперь и с вами...»

И еще: «Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло много времени. Я многое передумал в тюрьме и, мне не стыдно сказать, многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь...»

Официальная версия гибели была изложена в книге В. Ардаматского, впервые напечатанной в журнале «Нева» осенью 1967 года.

7 мая утром Савинкова в тюрьме посетила Любовь Ефимовна, болтала о женских пустяках, а на другой день ей сообщили о самоубийстве. Она закричала по-французски: «Это неправда! Этого не может быть! Вы убили его!»

Днем Борис Викторович будто бы попросил, чтобы его вывезли на природу. В сопровождении четырех чекистов его доставили на служебную дачу, использовавшуюся для встреч с секретными сотрудниками — «сексотами» в Царицыне. Он выпил коньяку (мы помним, что он любил крепко поднадраться, и это даже отразилось в его стихах). Вечером его привезли обратно, и он, ожидая конвоя, ходил по кабинету следователя на пятом этаже, где окно было открыто настежь(?), а подоконник — низкий, сантиметров 20—30 от пола. В это окно он и выбросился. Разбился насмерть.

Событие было настолько значительным, что целая группа чекистов во главе с

Дзержинским сочиняла ночью сообщение для газет.

Шум прокатился по миру великий. Советские издательства публиковали произведения В. Ропшина. За границей много гадали, почему Савинков покончил с собой. Некоторые писали злорадно — сговорился, а его надули.

Шульгин, в том же году отправлявшийся на поиски сына в Россию по соглашению с якобы подпольной организацией «Трест», оставил письмо, в котором просил не верить никаким заявлениям о его «раскаянии».

«...я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи, то есть в случае, если я попадусь, большевики не разыграли со мной того же самого, что проделали с Борисом Савинковым, т. е. чтобы не опозорили меня прежде, чем тем или иным способом прикончить», — писал он потом в «Трех столицах».

У Шульгина было наитие — он вообще о многом догадывался.

Писатель Варлам Шаламов рассказывал со слов «лагерного доходяги, бывшего латышского стрелка», что Савинкова сбросили в пролет лестницы. О том же писал Солженицын:

«И мы-то дурачье, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролетами натянуты с тех пор, как бросился туда Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем: ведь опыт же тюремщиков международен! Ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века — как же советской технике отставать?

В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех чекистов, кто в ы б р о с и л Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор! (И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева»: этот низкий подоконник, почти как у двери балконной, — выбрали комнату! Только у советского писателя ангелы зазевались, а по Шрюбелю — кинулись дружно.)

Так вторая загадка — необычайно милостливого приговора развязывается грубой третьей.

Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 М. П. Якубовичу, и тот с сохранившейся еще молодой оживленностью, с заблескивающими глазами воскликнул: «Верю! Сходится! А я-то Блюмкину не верил, думал, что хвастает». Разъяснилось: в конце 20-х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова (Дзержинскому. — **Д. Ж.**) по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо — он «развлекал» его вечерами. (Почуял ли Савинков, что это смерть к нему зачастила — вкрадчивая, дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явления гибели?) Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей».

Савинков, как говорят в детективах, слишком много знал. Большевики уже стали бороться за власть друг с другом и из истории начали изымать всё (и бумагу, и людей), что в нее не вписывалось.

Напомним еще, что эсер Блюмкин был убийцей германского посла Мирбаха, но не был за это наказан, а пользовался особым покровительством Дзержинского, исполнял «деликатные дела», связанные с убийствами, даже за границей. Шлялся по кабакам с поэтической богемой, вытаскивая револьвер и грозя безнаказанной расправой любому. Потом был подручным Агранова, начальника Московского ГПУ. Бывал у Троцкого на Принцевых островах, доставил от него пакет для Радека, но Радек его выдал, и он кончил так же, как 20 тысяч палачей двадцатых годов. Его пристреляли, и... концы в воду.

Об освобождении Савинкова хлопотал его старший сын Виктор Успенский. Его тоже потом расстреляли.

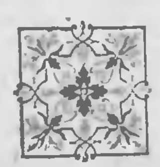
29.

На этом можно было бы поставить точку. Но мне не хочется, чтобы число главок иа что-нибудь делилось.

События развиваются так быстро, что этот мой очерк-предупреждение может запоздать. История повторяется на новом витке, и «народные заступники» снова пройдутся дорожным катком по России.

> Русский народ на пороге третьего тысячелетия выглядит усталым и равнодушным к своей судьбе. Не разделяться, как его призывают, а соединяться для отпора провокаторам надо ему.
>
> Будем бодрыми! Будем милосердными друг к другу!
>
> Сохрани, Боже, мой народ!

1990



КРИТИКА



ЕСЕНИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

В биографии и творческой судьбе Сергея Есенина, который еще сравнительно недавно казался одним из самых «изученных» русских поэтов XX столетия, в последнее время обнаруживается немало «белых пятен». Их прояснение может в той или иной мере развеять многочисленные «легенды», сплетенные недоброжелателями вокруг имени поэта, которые вообще-то никогда и не прекращали свое «хождение», а сравнительно недавно зазвучали все громче и настойчивей.

Так, долгое время считалось (и считается по сей день), что Есенин как поэт «не котировался» в кругах петербургской творческой интеллигенции. При этом речь идет не о второстепенных и третьестепенных литераторах, завсегдатаях литературных салонов, где Есенин, действительно был чужим. Называются и крупные, значительные имена. В частности, неоднократно приводились уничижительные высказывания о есенинской поэзии Анны Андреевны Ахматовой, которая, как принято было считать, не воспринимала всерьез есенинские стихи.

Легенда эта лежит на совести крайне пристрастных мемуаристов, которые делали все возможное, чтобы выдать желаемое за действительное, и подчас отдельным фразам или намекам придавали отточенность устоявшихся формулировок. Михаил Кралин, пристрастный и вдумчивый исследователь творчества Анны Ахматовой, опровергает эту легенду, одновременно находя интересные и не замеченные до сих пор переклички в творчестве Ахматовой и Есенина. Что же касается самой Ахматовой, то ее воспоминания о Есенине, записанные А. Н. Ломаном, позволяют получить полное представление о ее п о д л и н н о м отношении к великому национальному поэту.

Множество сплетен и, говоря откровенно, гадостей было наговорено вокруг так называемого «дела четырех поэтов», когда Сергей Есенин, Петр Орешин, Алексей Ганин и Сергей Клычков были арестованы 20 ноября 1923 года по обвинению в антисемитизме. Обвинение было вздорным и абсолютно беспочвенным. Но явно не без политической подкладки. К этому времени уже начиналась бешеная травля крестьянских поэтов, и Сергея Есенина в частности, достигшая своего апогея во второй половине 20-х годов, уже после гибели поэта. В статье Юрия Паркаева, посвященной этому инциденту, подробно рассматривается атмосфера и обстановка, в которой могло быть составлено это, с позволения сказать, «дело». Думается, что материал этот будет очень небесполезно прочитать современным кликушам, которые вопят на каждом углу о начинающихся «еврейских погромах», и идейным последователям Льва Сосновского, готовым бежать «по начальству» с требованиями применить статью Уголовного кодекса в любом случае, в каком они усмотрели проявление «антисемитизма».

В этом отношении представляет немалый интерес и стихотворение, вокруг появления которого также было напущено много тумана. На страницах «Нашего современника» вы впервые в о ф и ц и а л ь н о й с о в е т с к о й п е ч а т и прочтете «Послание «евангелисту» Демьяну Бедному», которое в списках ходило по рукам с начала 1926 года. Екатерина Александровна Есенина в письме в газету «Правда» отвергла принадлежность этого текста ее брату.

Каково же происхождение «Послания»? В одной из институтских многотиражек в январе 1926 года появилась подборка стихов Сергея Есенина, в числе которых было напечатано и это «Послание...». Редактором многотиражки был некто Горбачев, который скорее всего и является его автором. Что он внимательнейшим образом изучал творчество Сергея Есенина, показывает хотя бы тонкая и замечательно исполненная стилизация под Есенина в отдельных строках «Послания...». Но в целом «Послание...» невозможно квалифицировать как текст, написанный есенинской рукой.

В 1925 году в «Правде» и «Бедноте» появилось произведение Демьяна Бедного под заглавием «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Кощунственные и злобные пародии на евангельские сюжеты были тогда, в эпоху кровавого уничтожения «религиозного дурмана» и его носителей, в порядке вещей, но Демьян Бедный здесь превзошел всех безбожников, вместе взятых, и самого себя в том числе. Такого омерзительного, гнусного и пошлого издевательства над Евангелием ни до, ни после этого не знала русская литература.

Этим «творением» были крайне возмущены и люди неверующие, которым словно бы наплевали в душу (чувства людей глубоко религиозных трудно даже представить!). Среди них был и автор публикуемого «Послания...», который достойно и едко ответил зарвавшемуся в своем холуйстве «атеисту». Прекрасно понимая, что, пусти он это «Послание...» по рукам под своей фамилией, ему не сносить головы, — автор замаскировался именем великого национального поэта, которому, как он, очевидно, считал, уже ничто не могло повредить.

Почему же авторство «Послания...» было приписано Есенину? Ни для кого не были секретом крайне неприязненные отношения Сергея Есенина и Демьяна Бедного. Есенин никогда не считал Демьяна Бедного за поэта, и популярность официального виршеплета ничего, кроме отвращения, у него вызывать не могла. Демьян Бедный, со своей стороны, отзывался о Есенине не иначе, как об алкоголике, хулигане и шовинисте. Само собой разумеется, что о поэзии Есенина он не сказал ни одного доброго слова.

Именно Демьян Бедный дал толчок к началу «дела четырех поэтов». После того как Есенин, Клычков, Орешин и Ганин были взяты под стражу, между Есениным и Демьяном Бедным состоялся телефонный разговор. И вот в каком виде этот разговор попал на страницы печати.

«На вопрос Демьяна Бедного, почему он не на своем юбилее, Есенин стал объяснять.

— Понимаете, дорогой товарищ, по случаю праздника своего мы тут зашли в пивнушку. Ну, конечно, выпили. Стали говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ, куда ни кинь — везде жиды. И в литературе все жиды. А тут подошел какой-то тип и привязался, вызвали милиционеров, — и вот мы попали в милицию.

Демьян Бедный сказал:

— Да, дело нехорошее!

На что Есенин ответил.

— Какое уж тут хорошее, когда один жид четырех русских ведет».

Уже невозможно установить, действительно ли *этот* разговор состоялся между Демьяном Бедным и Есениным. Важно, что *именно в таком виде* он был передан Льву Сосновскому, а потом был опубликован в «Последних новостях» и в «Рабочей газете». Другими словами, Демьян Бедный просто *настучал* на поэтов, в соответствующем стиле «обработав» происшедший инцидент.

Есенин этого, конечно, Демьяну не забыл. Но все выпады адресовал не личности своего хулителя, а его стихотворчеству, которое, как он справедливо полагал, не имеет никакого отношения к литературе.

Я вам не кенар,
Я поэт.
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет.

«Послание «евангелисту» Демьяну Бедному» публикуется по наиболее полному и свободному от искажений списку.

Письма Леонида Каннегисера к Сергею Есенину публикуются впервые. Эти письма, как и воспоминания Мины Свирской, расширяют представление о круге знакомых и друзей поэта и дают возможность осветить отдельные «темные места» в есенинской биографии.

Сергей Есенин, выдающийся русский поэт XX столетия, остается нашим современником и собеседником. Через толщу десятилетий мы продолжаем слышать его хрипловатый, срывающийся голос, голос из той эпохи, к которой мы обращаем свои взоры, пытаясь понять, что же с нами происходит, голос человека, много прозревшего не только в своем времени, но и в наших днях великой смуты, поневоле напоминающей кровь и гарь роковых 20-х годов.

М. КРАЛИН

Анна Ахматова и Сергей Есенин

В ахматоведении, с легкой руки Лидии Корнеевны Чуковской, утвердилась легенда о том, что якобы Анна Ахматова неизменно скептически относилась к Сергею Есенину как к поэту и ставила его совсем в иной ряд, нежели тех поэтов, к которым она причисляла себя (Анненский, Блок, Мандельштам, Гумилев, Пастернак, Цветаева).

Но вина тут наша общая: мы ведь предпочитаем часто, не до конца доверяя поэту, верить на слово его биографам. А Анна Андреевна — что греха таить — разным людям говорила разное. И часто даже под сурдинку разогревала страсти, доводя собеседницу до полного опьянения. Свидетельством тому служат многие записи Чуковской и ее обширных «Записках», но, дабы не утомлять читателя, достаточно привести и одну:

«21.III.40.

Мы сели на скамеечку, залитую солнцем. Перед нами — две березы, и белые стволы освещены так ярко, что больно смотреть.

— Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине, — сказала мне Анна Андреевна. — А Осьмеркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время — последняя пьяная правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то собственно нечему. Тема одна-единственная — вот и у Браунинга была одна тема, но он ею виртуозно владел, а тут — какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет»[1].

Запись по-своему убийственная. Во-первых, не надо забывать, что записи Л. К. Чуковской — публицистика в чистом виде, и притом публицистика тенденциозная. По зашифрованным, конспективным отрывкам Лидия Корнеевна десятилетия спустя расшивала канву своих разговоров с Ахматовой, ставя крестики там, где ей это было нужно. Но сказанное не умаляет, а лишь объясняет достоинства «Записок». Они и в таком виде послужат ценным материалом для истории.

Напомню: речь идет о сороковом годе — годе поэтического взлета Ахматовой.

Еще раз внимательно перечитаем ахматовскую характеристику в ответ на критику Есенина Чуковской: «Да, вы правы: все время — пьяная последняя правда (...). Тема одна-единственная — вот и у Браунинга была одна тема, но он виртуозно владел ею, а тут — какая же виртуозность?» Заметим, что не с кем-нибудь Ахматова сравнивает Есенина, а с одним из великих английских поэтов конца XIX века Робертом Браунингом, который был «страстным поборником гуманистических идей; вера в человека, в его изначальную склонность к добру — источник оптимизма Браунинга»[2]. А самое главное — какая это «одна-единственная тема» имеется в виду? И у Есенина, и у Браунинга, и у самой Ахматовой — действительно была «одна, но пламенная страсть», одна тема — тема своего Отечества, у Браунинга — Англии, у Есенина и Ахматовой — тема России. Вся загадка разрешается в последних словах Ахматовой: «Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет».

Другая, роднящая всех великих поэтов нашего века тема, — тема свободы. Все они, как умели, выполняли великий завет Пушкина: «Что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Характерно, что печатная оценка Ахматовой Есенина дана ею косвенно — устами своего самого близкого друга и наиболее высоко ценимого ею поэта — Осипа Мандельштама: «А когда я что-то неодобрительное говорила о Есенине, Осип возражал, что можно простить Есенину что угодно за строчку: «Не расстреливал несчастных по темницам»[3]. Ахматова считала чуть ли не главным признаком всякого великого поэта — дар предвидения; сама она им обладала в избытке. Но и у Есенина этот дар присутствовал, и только теперь, внимательно перечитывая отдельные его произведения («Страну негодяев», например), мы это начинаем понимать.

До конца жизни Ахматова испытывала нечто вроде неловкости оттого, что не успела, не решилась рассказать о Есенине не только те колкости, которые с такой готовностью записывала за ней Чуковская. Она не поверила собеседникам более глубинные чувства РОДСТВА с великим национальным поэтом. А записать эти чувства на бумагу было совсем не так просто — сил оставалось все меньше, а собственная «канцелярия» все росла. И почти наверняка, если бы не упорство и настойчивость А. П. Ломана, почти заставившего Ахматову продиктовать ее воспоминания о Есенине, всей правды до конца мы бы так и не узнали.

Александр Петрович Ломан (1909—1975) не был профессиональным литературоведом, хотя обладал многими дарованиями: всю жизнь переводил, вел педагогическую работу в области физики. Что касается его отношений с Ахматовой, то последнее, скорее, способствовало сближению и доверительности. В последние годы жизни Анна Андреевна с недоверием и осторожностью относилась к профессиональным литературоведам, и хотя поддерживала добрые отношения с иными (Жирмунский, Чуковский, Виноградов), но беседы предпочитала вести с людьми, подальше стоящими от филологии (Глёкин — биофизик, М. И. Будыко — специалист в области точных наук, М. В. Латманизов — доцент Политехнического института и др.). К людям этой же категории принадлежал и Александр Петрович Ломан. А кроме того, он был одним из «последних царскоселов», что повышало степень доверия, и бескорыстно любил Есенина. Им написаны о Есенине десятки статей, составлены библиографические указатели, альбомы. Один из лучших есенинских сборников «Словесных рек кипенье и шорох...» тоже составлен при самом непосредственном участии А. П. Ломана. Проводя в течение многих лет, наряду с основной педагогической деятельностью, работу по изучению есенинского наследия, А. П. Ломан, однако, даже не состоял в штате сотрудников Пушкинского дома, на страницах печатных изданий которого он (нередко в соавторстве с Н. И. Хомчук) помещал свои есенинские штудии. И вот после смерти Александра Петровича Ломана прошло только 14 лет, а вик-

---

[1] Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том I. 1938—1941. Изд. «ИМКА-пресс», Париж, 1976, с. 82.

[2] Английская поэзия в русских переводах. М., «Прогресс», с. 591.

[3] Анна Ахматова. Я — голос ваш... М., «Книжная палата», 1989, с. 322.

то ничего не может вспомнить. «Ведь он не состоял у нас в штате!..» — говорят мне нынешние сотрудники ИРЛИ. А раз в штате не состоял, значит, и архива Ломана нет и не должно быть в Отделе рукописей (а если и был, то должен непременно затеряться!).

Один из экземпляров машинописи книги «Встречи и расставания», куда входит и глава «Анна Ахматова о Сергее Есенине», был подарен А. П. Ломаном 29.04.1971 года своему другу, тоже страстному собирателю всего, что относится к Есенину, — И. А. Синеокому. Копией этого экземпляра (без вставленных фраз на французском языке, которые мы отмечаем в тексте скобками <...>) пришлось пользоваться при подготовке данной рукописи к печати. Автографа мне обнаружить не удалось ни у вдовы А. П. Ломана — Александры Константиновны (она помнит, что была и фотография, на которой Анна Андреевна и Александр Петрович были сняты вдвоем), ни у Н. И. Хомчук, ни в Отделе рукописей ИРЛИ. Может быть, автограф хранится у кого-нибудь из есениноведов, — буду признателен за дополнения и поправки!

АННА АХМАТОВА

Сергей Есенин

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.

А. Ахматова.

В тревожные годы первой мировой войны я, живя в Царском Селе, редко бывала в Петрограде и, право, меня не очень волновали «мировые события», слишком было много личного... Я жила в зачаровавшем меня мире поэзии. Писалось легко, хоть сердце часто было тревожным. Спасение от этих тревог находила в непрерывной песне о любви. Было уже прожито четверть века и я говорила себе — «старуха», но разве сердцу прикажешь молчать. Увлечена была акмеизмом, а это значит, что каждый поэтический образ у меня должен быть реально ощутимым, ясным, а язык кристально чист; герой чуть-чуть выше других и, может быть, чуть-чуть над другими, он совершенно реальный и в то же время не такой, которым можно любоваться и идти за ним и, как он, минуя суету сует.

Вот сейчас, глядя на этот портрет, я невольно вспоминаю те, теперь уж далекие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было уже на второй или третий день Рождества, потому что он привез с собой рождественский номер «Биржевых ведомостей». Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, ЕСЕНИН весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его «вечный спутник» Клюев.

— Как же, высокочтимая Анна Андреевна, — расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, — мой Сереженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская «знать», как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты — Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремизов, Скиталец, Сологуб, Тренев, Тэффи, Шагинян, Щепкина-Куперник, и Есенин, и Клюев. Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя. Я не попала в эту «антологию», видимо, потому, что за несколько дней до этого он опубликовал в той же газете мое «Воспоминание» — «Тот август, как желтое пламя...». Но и без меня получился довольно пестрый букет. Недавно, разыскивая забытые публикации, я просмотрела и эту газету и только сейчас, пятьдесят лет спустя, сделала открытие — в рождественском номере нет ничего рождественского; потом шла война, а на литературном Парнасе столицы мир и спокойствие, и только Блок туманно горевал над «Варшавой» да Сологуб вещал:

Огнедышащей грозою,
Непросветны и могучи,
Над твоею головою
Пронеслись, отчизна, тучи...
Враг грозит нам бурей снова.
Мы же вспомним дни былые,
Как могуча и сурова
Ополчилась ты, Россия.

Тревожилась Гиппиус:

Вместо елочной восковой свечи
Бродят белые прожектора лучи,
Мерцают сизые, стальные мечи,
Вместо елочной восковой свечи.

Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имен и каких-то идей, ведь ему было всего двадцать лет и он был, или только казался мне, страшно открытым.

Но я чувствовала, что ему очень хочется прочесть его стихи, и попросила прочитать. Он назвал меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать — Сережа, но это противоречило бы всем правилам неписаного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей «вере», вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович.

И он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения, жесты были угловаты.

Край родной! Поля, как святцы,
Рощи в венчиках иконных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на перемётке,
Резеда и риза кашки
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки...

Услышав слово «четки», я невольно подумала о своем последнем сборнике стихов «Четки», интересно, одно и то же слово, а ведь оно служило разную службу: у него звенят ими ивы — кроткие монашки, а у меня я сама их перебираю, отмеряя вздохи чувств.

Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые, он считал, имеют особое значение, растягивал, и они действительно выделялись.

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О, Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.

Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был спорить. Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится — уж очень красивые и «о любви много», только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно. Я парировала «удар» и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают. На мою реплику он не обратил внимания, но больше о моих стихах не стал говорить, зато обрушился на стихотворение Поликсены Соловьевой «Не узнали», оно заканчивалось так:

Час поздний. Вдруг звякнул звонок.
Поскорей
Открыли и видят: стоит у дверей
Ребенок. Пальтишко в заплатах на нем
И рваная шапка. — «Впустите к вам в дом,
На елку пришел я». — «Ишь смелый какой!»
«Все роздано... Кто он?» —
«Бродяжка, чужой!»
«Иди себе с Богом, другие дадут».
Захлопнули двери и к елке идут.
Нет елки и комната жутко пуста...
Они не узнали младенца-Христа.

И чтобы показать, как он сказал, «ошибку поэтессы», тут же прочитал свое стихотворение:

Шел Господь пытать людей в любови...
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй... маленько крепче будешь».

И Есенин, прочитав, теперь уже твердо сказал, что в деревне крестьянин добрее, вот ведь старик «жамкал деснами зачерствевшую пышку», но, увидев нищего, не зная, кто он, поделился. И здесь дело не в том, что это «шел Господь пытать людей в любови», а в том, что чувство любви и сострадания присуще русскому мужику, он помогает, совершенно не рассчитывая на то, что его похвалят и отблагодарят. Возможно, Есенин был прав.

Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви — у него преобладала любовь к далекой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские и, может быть, поэтому я его в те годы всерьез не принимала...

Есенин и Клюев были для меня (...)[4] и весь склад их мышления мне тогда был чужд.

...После революции мы несколько раз выступали вместе на концертах и даже ездили за город, в Стрельну, в какой-то клуб, но это было все уже в 1924 году. Кроме связанных с проведением концерта неизбежных разговоров, мы редко обменивались парой фраз. Но имя его становилось все более и более популярным. До меня только доходили слухи, что после поездки в Европу и Америку он очень изменился, и не во всем в лучшую сторону. Меня поражала вечная его неустроенность. Совсем я не понимала его брак с Айседорой Дункан, хотя и преклонялась перед огромным ее талантом. Не могла простить ему и невоздержанность к вину.

Осенью 1924 года он неожиданно появился у меня. Я в то время жила в Фонтанном доме. Он зашел со своими друзьями — ленинградскими имажинистами. От него пахло вином. Одет был по тем временам отлично — лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный. Внешний блеск, а вот лицо болезненное, с каким-то землистым оттенком. Здороваясь, он поцеловал руку, что раньше никогда не делал. Да, он изменился. Нарочитой развязностью он скрывал смущение от того, что вдруг оказался рядом со мной. Мне всегда казалось, что Есенин относится ко мне и ко всем тем, кто меня окружал, как к своей полярности и в силу этой полярности возможность взаимо-

[4] Пропущенная фраза на французском языке.

понимания исключал. Мне же он становился понятнее. Его широко печатали, его стихи я встречала почти во всех толстых журналах и больше всего в «Красной нови». О нем часто писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать, — его пытались учить жить и работать и это звучало так, как будто было только два пути (...)[5], а он явно искал свой путь — третий — и пел о жизни на шестой части земли с названьем кратким «Русь».

Встреча наша была какой-то нелепостью, пока он не начал читать стихи. Теперь он уже не был тем наивным юнцом той далекой встречи...

Я верила, что он действительно «возвращается на родину» и при встрече у него

> **...полилась печальная беседа**
> **Слезами теплыми на пыльные цветы.**

и с Москвой кабацкой, наделавшей шума, покончено. Да, у него «так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок», но теперь в его стихи пришло что-то новое, просветленное, и сколько еще не тронутой любви я почувствовала, когда он прочел посвященное Августе Миклашевской —

> **Ты такая простая, как все,**
> **Как сто тысяч других в России.**
> **Знаешь ты одинокий рассвет,**
> **Знаешь холод осени синий...**
> **Не хочу я лететь в зенит,**
> **Слишком многое телу надо.**
> **Что ж так имя твое звенит**
> **Словно августовская прохлада?**

Для меня дороже имя Пушкина. С большим интересом я слушала посвященные ему строки:

> **Мечтая о могучем даре**
> **Того, кто русской стал судьбой,**
> **Стою я на Тверском бульваре,**
> **Стою и говорю с тобой...**
> **И я стою, как пред причастьем,**
> **И говорю в ответ тебе:**
> **— Я умер бы сейчас от счастья,**
> **Сподобленный такой судьбе.**

Прочитав, Есенин неожиданно спросил:

— Правда ли, что в этом Фонтанном доме Оресту Кипренскому позировал Пушкин?

Потом с усмешкой сказал, что пока не находится художник, который бы с него такой же льстивый портрет написал.

Оборвав нить разговора, он стал расспрашивать о судьбе Параши Жемчуговой, крепостной, блестящей актрисе и певице театра Шереметева, бывшего владельца этого дома, хотя, видимо, знал ее судьбу.

Актриса-крестьянка стала женой графа. А вот умерла, когда ей было немного больше тридцати лет. Это все город.

Парадоксы судьбы. Через год я узнала, что поэт-крестьянин стал мужем графини. Есенин женился на внучке Толстого.

А тогда я внимательно слушала его. В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказов стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ... Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что

> **Новый свет горит**
> **Другого поколения у хижин.**

А ведь увидеть — значит понять. А это определяло путь, по которому идти.

И в этом был новый для меня Есенин. Есенин без бравады. Пугало в нем другое — нотки строк «я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть» усиливались:

> **Отцвела моя белая липа,**
> **Отзвенел соловьиный рассвет.**

Он уже собирался уходить, но неожиданно заявил, что самое-то важное и не прочел. Вернулся в комнату и, не снимая пальто, прочел это «самое важное»:

> **Отговорила роща золотая**
> **Березовым, веселым языком,**
> **И журавли, печально пролетая,**
> **Уж не жалеют больше ни о ком.**

Прочел, заторопился и, сказав своим спутникам, так и промолчавшим весь вечер, «Пошли!» — ушел.

Только теперь я поняла его, поняла и приняла всерьез и надолго Есенина — певца Руси — малинового поля, голубой Руси, которую он, может быть, выдумывал. Кто знает?

На столике он «забыл» свою книгу «Пугачев». Я листала ее, думая, что найду хоть что-нибудь написанное на ней для меня. Но ничего не было и только на одной из страниц подчеркнуты строчки:

> **О смешной, о смешной, о смешной Емельян!**
> **Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый.**
> **Расплескалась удаль твоя по полям,**
> **Не вскипеть тебе больше ни в какой взнатчине.**

Но Есенин-Емельян вскипел. 1925 год был годом его несомненного взлета. Новая Россия в его стихах и поэмах становилась армией, он становился ее певцом, трезвым и ясным, не теряя романтической приподнятости.

И неожиданная катастрофа. Ушел поэт, а это всегда катастрофа. После смерти Блока, ошеломившей меня, это была вторая утрата.

Декабрь 1964 — февраль 1966.

[5] Пропущенная фраза на французском языке.

Устные воспоминания Ахматовой о Сергее Есенине, записанные А. П. Ломаном, нуждаются в некоторых пояснениях. Во-первых, поскольку Анна Андреевна не успела их досказать, «пересмотреть еще раз», авторизовать и подготовить к печати, то у читателей могут возникнуть некоторые сомнения и вопросы. Не искажены ли мысли Ахматовой при записи, — ведь записывал человек не нейтральный, а страстно влюбленный в Есенина, и не могло ли это наложить некоторый отпечаток благостности, так не свойственной, в общем, Ахматовой, ее оценкам людей и их поступков? Тем более что существует ряд воспоминаний, помимо упоминавшихся уже записей Л. К. Чуковской, где Ахматова говорит о Есенине гораздо жестче и нелицеприятнее?

Думается все же, что А. П. Ломан был точен, слушая и записывая ахматовскую речь. В этом убеждает сличение его записей с подлинной записью самой Ахматовой в ее записной тетради «Лермонтов». Важно, что запись эта сделана почти одновременно с ее диктовками Ломану, но сделана она исключительно для себя. 18 февраля 1966 года, в последний день ее пребывания в Боткинской больнице в Москве:

«18-ое. Последний день.

Вчера по радио слышу стихи с музыкой. Очень архаично, славянизмы, высокий строй. Кто это? Державин, Батюшков? — Нет, через минуту выясняется, что это просто Есенин.

Это меня немного смутило.

К Есенину я всегда относилась довольно прохладно.

В чем же дело? — Неужели то, что мы сейчас слушаем и читаем, настолько хуже, что Есенин кажется высоким поэтом?? А то, что мы слышим и читаем, сделано чисто щегольски, всегда умело, но с неизбежным привкусом какого-то маргаринно-сахаринного сюсюка. Это неизбежная часть программы». (ЦГАЛИ, ф. 713, оп. 1, ед. хр. 114, с. 226.)

Как явствует из этой предельно откровенной, почти предсмертной записи, для Ахматовой сбылось есенинское пророчество: «Большое видится на расстояньи». Если в молодости Ахматова, обойденная славой, подобной печальной посмертной славе Есенина, ощущая себя его старшей современницей и, в какой-то мере, соперницей, позволяла себе не всегда быть к нему справедливой, то, ввиду вселенской деградации искусства и поэзии, среди которой она доживала дни, и Есенин оказался для нее «высоким поэтом».

Но вернемся к их первой встрече в рождественские дни 1915 года. Есенину 20 лет, он дружит с Клюевым, ни к какой группе еще всерьез не примкнул, он осматривается. Ахматова на 6 лет его старше, она уже правоверная акмеистка, правда, тема любви отнюдь не исчерпывает ее творчество, ведь уже написана и знаменитая «Молитва» о том, «чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей», и многие другие стихи, вошедшие потом в «Белую стаю». Ахматова говорит: «Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви — у него преобладала любовь к далекой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские и, может быть, поэтому я его в те годы всерьез не принимала».

Что значит «разные объекты любви»? Может быть, это надо понимать как есенинская любовь к «малой родине» — Рязанщине, и ахматовская любовь к большой Родине — России? Боюсь, что Анна Андреевна здесь лукавит — в том-то и дело, что не было у них этой разности, как не было в стихах Ахматовой тех лет любви к абстрактной России — была воспетая ею и оплаканная «тверская скудная земля». Тверская, рязанская ли, все равно в конечном итоге все произрастало из любви к «малой родине», у обоих рано или поздно обратившейся в любовь к большой России. Другое дело, что, кроме этой любви к «неярким просторам» тверской земли, Ахматова для Есенина воплощала в себе и много чуждого, «городского», «поганого», может быть, выступившего поначалу на первый план (возможно, не без лукавого посредничества Клюева). В воспоминаниях дочери Иеронима Ясинского Зои Иеронимовны интересно описывается реакция Есенина на эту, несомненно, важную для него встречу:

«Помню, как волновался Есенин накануне назначенного свидания с Анной Ахматовой: говорил о ее стихах и о том, какой он ее себе представляет, и как странно и страшно, именно страшно, увидеть женщину-поэта, которая в печати открыла сокровенное своей души.

Вернувшись от Ахматовой, Есенин был грустным, заминал разговор, когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал. Потом у него вырвалось:

— Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам.

Он так и не смог объяснить нам, чем же не понравилась ему Анна Ахматова, принявшая его ласково, гостеприимно. Он не сказал определенно, но как будто жалел, что поехал к ней».

На самом деле, близость внутренняя (поэтическая) была больше, чем разность внешняя, несовпадение сложившегося образа лирической героини «Четок» с реальной «царскосельской веселой грешницей», принявшей юношу, видимо, не без оттенка «мэтризма», великолепно им подмеченного. На деле это взаимное недовольство вылилось в филологический спор о «диалектных» и иностранных словах. Но как раз в стихах тех лет сходства было больше, чем разности, и встреча в творческом отношении, видимо, не осталась безрезультатной. Во всяком случае, Ахматова для себя, как бы шутя, карандашом в один прием, без исправлений, написала стихотворение «а-ля Есенин», которое никогда не пыталась опубликовать, видимо, именно по причине «подражательности Есенину», которое так в нем ощутимо:

> **За узором дымных стекол**
> **Хвойный лес под снегом бел.**
> **Отчего мой ясный сокол,**
> **Не простившись, улетел.**
> **Слушаю людские речи.**
> **Говорят, что ты колдун.**
> **Стал мне узок с нашей встречи**
> **Голубой шушун.**
> **А дорога до погоста**
> **Во сто раз длинней,**
> **Чем тогда, когда я просто**
> **Шла бродить по ней.**

(ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1об.)

Для Сергея Есенина встреча с Анной Ахматовой, видимо, и творчески не прошла бесследно, и тема их поэтических параллелей нуждается в особом исследовании. Но

круг поэтов, к которому был близок Есенин именно в 1915 году, в целом был ближе к акмеистам, особенно к Городецкому, Нарбуту, да и к Ахматовой, влияние которой можно без труда найти в стихах друзей Есенина тех лет — В. Чернявского, Л. Каннегисера, М. Струве. И сам Есенин, будучи исключительно переимчивым мастером, мог в эти годы писать стихи, не только насыщенные рязанской лексикой, но и вполне укладывающиеся в «акмеистический канон».

Образом трагического прошедшего (как казалось Есенину) урагана эпохи, начинается его «Русь советская»:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.

Эти строки уложились в шкатулке творческой памяти Ахматовой и через много лет ожили в ее итоговом четверостишии:

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина.

В воспоминаниях, продиктованных Ломану, Анна Андреевна ни словом не обмолвилась о своем стихотворении, посвященном памяти поэта. Возможно, к этой теме она хотела еще вернуться. Мы тоже не можем пройти мимо нее. Сквозь светлый образ юноши, влюбленного в родную землю, сквозит тревога, постоянно не покидающая Ахматову. Как известно, она обладала проклятым даром Кассандры, «гибель накликала милым, и гибли один за другим...» Действительно, стихотворение, в котором Ахматова «проводила в царство тени» своего ближайшего друга — Николая Владимировича Недоброво, написано в 1916 году, за три года до его настоящей смерти. То же можно сказать и о стихотворении «Не бывать тебе в живых...», написанном 16 августа 1921 года, до, а не после гибели Гумилева.

Стихотворение, написанное в апреле 1925 года (месяце, поминальном для Гумилева), оказалось невольным предсказанием страшной смерти Сергея Есенина, реальные обстоятельства которой были, надо полагать, Ахматовой известнее, чем нам. Стихотворение, написанное в память о Гумилеве, на деле оказалось надгробным словом Сергею Есенину и навсегда обрело в ее рукописях название «Памяти Сергея Есенина»:

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

Письма Леонида Каннегисера

Сергею Есенину

Летом 1915 года Сергей Есенин писал в письме В. С. Чернявскому:

«Дорогой Володя! Радехонек за письмо твое. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уж я его распечатал. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил и его на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере».

Бесполезно было бы искать в комментариях к тому есенинских писем из последнего собрания сочинений расшифровку инициала «К» и краткую биографическую справку об этом человеке. А между тем здесь идет речь о Леониде Каннегисере. Да-да, о том самом Каннегисере, гимназисте, поэте, своего рода «экземпляре» «золотой молодежи» середины 10-х годов, убийце Моисея Урицкого...

Читатели «Нашего современника» знают очерк Марка Алданова «Убийство Урицкого», опубликованный в № 2 за этот год. В предисловии к очерку В. Лаврова приводится сцена из документального рассказа М. Цветаевой «Вольный поезд». «Я, кстати, знала его убийцу», — это о Каннегисере.

А вот отрывок из замечательного эссе Цветаевой «Нездешний вечер». «Пир во время чумы...» Начало января 1916 года. Пиршество духа собравшихся поэтов в грозовой атмосфере. Действующие лица: Марина Цветаева, Михаил Кузмин, Осип Мандельштам, Константин Ляндау, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Рюрик Ивнев, Леонид Каннегисер, Сергей Есенин. «Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись — через всё и вся — поэты.

Леня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы — на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее.) Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно — и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы...»

Есенин и Каннегисер были действительно, можно сказать, неразлучны в те дни. А познакомились они весной 1915 года. Каннегисер, очевидно, стал одним из его первых петербургских знакомых наряду с

Владимиром Чернявским, Рюриком Ивневым, Константином Ляндау.

В конце июня — начале июля 1915 года Сергей Есенин и Леонид Каннегисер путешествовали пешком по Рязанской губернии, которая произвела на Каннегисера незабываемое впечатление. Знакомство с Константиновом, с матерью и сестрами Есенина, с его односельчанами — все это нашло отражение в письмах, которые Каннегисер писал своему другу, отправившись дальше путешествовать по Руси, в то время как Есенин остался в Константинове.

Каннегисер был пристрастным слушателем и большим почитателем есенинской поэзии, а также одним из первых слушателей повести «Яр», о которой также идет речь в письмах, в которых упоминается и редактор журнала «Северные записки» Яков Львович Сакер и его супруга Софья Исааковна Чацкина (в «Северных записках» печатались стихи Есенина и Каннегисера).

Леонид Каннегисер оставался в поэзии покорным учеником Кузмина. Это влияние отчетливо проявилось и в стихах о Дон Жуане, и в стихах о Марии Антуанетте. Время от времени, правда, возникали у него собственные, незаемные интонации, как в стихах о гибели Григория Распутина, написанных в декабре 1916 года.

Он бьется, скрючившись, лбом об лед,
Как будто в реке мертвому холодно,
Как будто он на помощь царицу зовет
Иль обещает за спасенье золото.
Власть и золото, давшиеся ему,
Как Божий подарок! Или все роздано,
И никто не пустит в ледяную тюрьму
Хоть струйку сибирского родного
воздуха?

...Среди этой «золотой молодежи», которая часто посещала салоны Михаила Кузмина и Евдокии Нагродской, Есенин воспринимался как личность во многом чужеродная. Да он и сам ощущал себя таковым. Личные теплые отношения его с Рюриком Ивневым, К. Ляндау и тем же Л. Каннегисером отнюдь не заслоняли ощущение несродности Есенина с этим кругом, где задавали тон молодые акмеисты а также, как вспоминал В. Чернявский, «маленькие снобы, те иронические и зеленолицые молодые поэты, которые объединялись под знаком равнодушия к женщине — типичнейшая для того «александрийского времени» фаланга... Среди них были и более утонченные, очень напудренные эстеты и своего рода мистики с истерией в стихах и развинченном теле, но некоторые были и порозовее, только что приехавшие с фронта... Пожалуй, никому из «юрочек» и маленьких денди не пришелся по вкусу Есенин: ни его стихи, ни его наружность. То, что их органически от него отталкивало, объяснялось и петербургским снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью (настаиваю на этом) к тому, что было у него, а им не хватало: подлинности, здоровья, поэтической «внешкольности». Их цех ощерился в защиту хорошего вкуса».

Есенин, безусловно, выделял Каннегисера из этого круга, но, очевидно, в одном из писем высказал ему свое отношение к «петербуржцам», что и послужило поводом для «ответа» Каннегисера на «выпады» Есенина по поводу «петербуржцев» в письме от 11 сентября 1915 года.

Четыре письма Каннегисера — это все, что сохранилось из его переписки с Есениным. После 1917 года они, очевидно, не встречались, и Есенин никогда впредь не упоминал о друге, своей рукой уничтожившем кровавого палача Петрограда и погибшем в застенках ВЧК.

Впрочем, Есенин послал как бы прощальный привет Л. Каннегисеру в январе 1925 года, одновременно жестко полемизируя с ним, как бы оспаривая победительную восторженность своего друга, овладевшую тем в Февральские дни и воплотившуюся в стихотворении, написанном 27 июня 1917 года в Павловске.

На солнце сверкая штыками, —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос, — запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.
И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Почти через 10 лет Есенин в «Анне Снегиной» с печальной улыбкой вспомнит своего восторженного друга и его стихи, и свою собственную восторженность, овладевшую им в первые дни Февраля, и подведет решительную черту под той «краснобайточно-лимонадной» эпохой краснобайства и фарисейства, непосредственно отталкиваясь от ликующего гимна молодого мстителя, так страшно закончившего свою жизнь.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

...Письма Сергея Есенина Л. Каннегисеру не найдены по сей день. Возможно, они были уничтожены, а может быть, след их отыщется в архивах Петроградского ВЧК.

Публикуемые ниже письма Л. Каннегисера печатаются по автографам, хранящимся в ЦГАЛИ. ф. 190, оп. 1, ед. хр. 150.



1916 г.

21 июня 1915 г., Петербург.

Дорогой мой Сергей Александрович!

Получил Вашу милую открытку, но так дней за 5 перед последним экзаменом, что все не мог урвать времени, чтобы написать Вам.

Как же у Вас решилось? Свободны Вы на июнь или нет? Если свободны, то пишите мне сейчас, когда думаете отправляться в путь, — я складываю вещи, котомку на плечи, за Вами в Кузьминское — и мы идем вдоль Оки до самого Кирпяю. Так ведь мы с Вами решили?

Только ответьте мне, пожалуйста, скорее, а то ведь время идет... Или у Вас какой-нибудь новый план?..

Хорошо у Вас теперь, верно! Много цветов и зелени, много солнца. Лица уже, верно, загорелые, воздух душистый и теплый.

А в Петербурге сегодня с утра моросит мелкий осенний дождик, и «бледнолицые худосочные девушки тоскливо прижимались к холодным стеклам».

Вот вновь обычная картина нашей милой столицы. Кузмина не видал я уже дней 10, а потому — что был все занят. Зато я и экзамен хорошо выдержал. А то, помните, как я был сконфужен, когда мы встретились у Татьяны Красноносенькой? А ведь тогда провалился.

Вообще, мало кого вижу. Был раз или два у Сакера. Отнес им третьего дня перевод французского рассказа, того самого, что мне дали, когда мы были вместе в «Северных записках», если Вы помните.

А как Ваши стихи? Не написали ли чего-нибудь нового? Нет ли чего о Петербурге? Или Вы о нем неохотно вспоминаете?

С кем из петербуржцев Вы переписываетесь? Знаю, что Ляндау получил от Вас открытку, а больше никто про Вас не слышал. Да вот если Вы хорошо устроились, надеюсь, увижу Вас скоро воочию.

А пока что жду Вашего скорейшего ответа, от души извиняюсь за длинную болтовню и крепко жму Вашу руку.

Искренно любящий Вас
Л. Каннегисер.

Брянск, 1915 г., 21-е июля.

Дорогой Сережа, вот уже почти 10 дней, как мы расстались! А кажется, что еще гораздо больше: я был в разных местах, и от этого время всегда как-то растягивается и представляется более долгим, хотя проходит скорее.

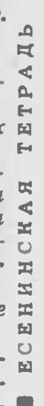
А был я — в Туле, в Ясной Поляне, в Орле и целых 5 дней провел в Брянске, где сначала ждал денег, а потом парохода. Теперь я дождался и того и другого и сегодня ночью отбываю в Чернигов. Дальнейшие мои намерения еще не выяснились, мой адрес—даю тебе в Чернигове; пиши туда д о в о с т р е б о в а н и я.

Как твои дела? Не уехал ли в Москву? Пишешь ли? Я бы очень хотел повидать тебя опять поскорее, т. к. в те дни, что провел у тебя, сильно к тебе привык. Очень мне у вас было хорошо! И за это вам — большое спасибо!

Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) — мне всегда вспоминается Константиново и не было еще ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его.

Ходил вчера в Свияжский монастырь; он в шестнадцати верстах от города, на берегу Десны. Дорога ведет по возвышенной части берега, но она пыльная, и я шел стежками вдоль реки и, конечно, вспомнил другую реку, другие стежки по траве и рядом со мною — босого и веселого мальчика. Где-то он теперь? И вспоминает ли также и он небритую и загорелую физиономию спутника, не умевшего лазить по горам, но любовно запоминавшего «Улогого» и «Разбойника»...

И теперь, когда мне грустно или весело, я вспоминаю и говорю их про себя, а иногда и громко, и жалею, что не запомнил ничего, кроме них. Если написал



новые стихи, то, пожалуйста, пришли в Чернигов. Я знаю, что ты ленив, но все же очень надеюсь, что напишешь мне сейчас письмо; я бы хотел, чтобы оно застало меня еще там, вернее, даже если оно придет после моего отъезда, — мне пошлют его вдогонку: я оставлю на почте адрес. Передай, пожалуйста, сердечный привет Татьяне Федоровне, Кате, Шурке и Лене, а тебя нежно целую и жму руку.

Твой Л. Каннегисер.

Петербург, 1915, 25-е августа.

Дорогой Сережа!

Что проку писать тебе, когда ты не отвечаешь. Но я очень по тебе соскучился и все-таки пишу: авось, ответит!

Теперь я уже в Петербурге, а после того, как мы расстались, был во многих местах, о чем и написал тебе.

Все лето мне было очень хорошо, но нигде так, как в Константинове. Главным образом меня сейчас интересует знать, когда мы с тобой увидимся? Извести меня об этом непременно сейчас по получении этого письма. За лето читал твои стихи в «Огоньке», в «Русской Мысли», в «Сев. Зап.». — Всем они очень нравятся, а особенно — «Русь»! А что твоя проза, которая мне так понравилась? Я рассказывал о ней Софии Исааковне и очень ее заинтересовал.

В Петербурге — ничего нового. Многие еще не съехались, но кое-кто уже здесь, а другие — в этом году совсем никуда не уезжали.

Рюрик был у меня, и мы ездили с ним один раз в Павловск к Евд. Ап. Нагродской, а сегодня говорили по телефону. Он позвонил мне в час дня — и... разбудил меня! Я еще спал: это не деревня, Петербург (к сожалению!). Видел несколько раз Кузмина — у него и у меня... — Вот, кажется, и все.

Теперь занимаюсь, готовлюсь к экзаменам, что будут в сентябре, — и это отнимает у меня довольно много времени.

А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестренки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провел у вас. А что теперь твой приятель Гриша? Помнишь: «проводила мужа — под ногами лужа...» Я-то помню, и даже очень, как все, что касается милого Константинова. Помню, как мы взлазили с ним втроем на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был красивый вид!

Милый Сережа! Мне ужасно хочется поскорее тебя увидать и пока получить хоть письмо. Только смотри, не заставляй меня долго ждать.

Целую тебя.

Твой Леня Каннегисер.

С.-Петербург, 1915, 11-е сентября.

Дорогой мой Сережа, очень тебя благодарю за твои хорошие письма — одно сердитое и другое — милое, но для меня они оба милые, — потому что твои, а я тебя очень люблю.

Что ответить тебе на твои выпады против всех нас, петербуржцев? Прежде всего, дорогой мой, вообще нам нехорошо прибегать к огульным характеристикам; хоть это и создает значительную экономию мысли и времени, но правда-то как страдает! А что касается упреков лично мне — все принимаю. Если бы я был прав перед тобою, то с какой же стати ты стал бы упрекать меня! Ты скажешь, что упреков не было? Нет, пожалуйста, не отказывайся. Даже не виню тебя в том, что ты так был со мною скрытен, хотя в этом обвинить тебя очень хочется. Но, конечно, на искренность нужно иметь право, а его у меня, может быть, не было, если любовь и дружба это право не дают.

Все это просто, как азбука...

Мне бы очень не хотелось, чтобы между нами всегда было так много недоговоренного и чтобы случались такие грустные неожиданности, как твое «лихорадочное» письмо.

Но пока об этом довольно. Когда приедешь, — столкуемся. Высылаю тебе оттиски твоих стихов из «Русской Мысли». Я был там сегодня утром (получил свой гонорар — у меня ведь там тоже стихи). Книжки они тебе не выслали и дать мне не хотели, оттого что, говорят, раз сделали оттиски, то книжки не полагаются. Если непременно хочешь книжку, — напиши — вышлю!

Видишь, «Инок» напечатали и с «грезой».

А стихи твои мне очень нравятся. Жду твоей прозы. София Исааковна просила тебе передать: 1) чтобы ты послал в «Сев. Зап.» всю прозу сколько у тебя есть и поскорее, 2) сказки просит записывать «сырьем» — как они говорятся, 3) твое последнее стихотворение они взяли и просят прислать переделанного «Разбойника».

Так. Все поручения исполнил.

Осенью жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати мне мало. Хочу и самого поскорее увидать, а пока целую тебя и кланяюсь всем твоим.

Твой Леня.

Не писал раньше, т. к. у меня был экзамен, который я сегодня сдал, а в последние дни здорово зубрил.

МИНА СВИРСКАЯ

Знакомство с Есениным

С моим знакомством с Есениным связан Герман Александрович Лопатин. Возможно, что произошло некоторое смещение за столько лет в моей памяти, и тот случай, о котором я хочу рассказать, не совпал с днем, когда я познакомилась с Есениным. Но мне хочется с него начать.

В 1917 году в Петрограде и жила на Каменноостровском проспекте, недалеко от Карповки. В большом сером доме на Карповке жил Г. А. Лопатин. В этом же доме жила Вера Ивановна Засулич. С Германом Александровичем я была знакома, как почти со всеми народовольцами-шлиссельбуржцами, бывшими тогда в Петрограде.

Герман Александрович видел очень плохо, он начинал слепнуть. Днем еще сам мог ходить по улицам, но вечером это было для него совершенно невозможно. По утрам я иногда забегала к нему, чтобы спросить, куда за ним зайти вечером, чтобы помочь ему добраться домой. Как-то раз я купила на углу у девочки букетик ландышей и принесла их Герману Александровичу. Он взял мою руку, державшую ландыши, и сказал: «Знаете, мы отнесем сейчас эти ландыши Вере Ивановне Засулич. Да, Вере Ивановне», — произнес он каким-то торжественным шепотом, в котором было и уважение, и тепло, и ласка, и весь он стал со своей большой окладистой седой бородой каким-то торжественным.

Я Веру Ивановну никогда не видела, очень хотелось пойти. Но от торжественности Германа Александровича стало как-то боязно. Мы шли по коридору. Г. А. шел немного впереди, не отпуская мою руку с ландышами, другой рукой нащупывал стену. Шел он быстрой легкой походкой, казавшейся странной для его грузной фигуры. Я шла, стараясь себе представить Веру Ивановну, и видела ее такой, какой знала по фотографии 1878 г., в плаще с откинутым капюшоном и такой юной. Но ведь прошло почти 40 лет. Она должна быть теперь такой же, как Вера Николаевна Фигнер: стройная, прямая, с гладко причесанными седыми волосами, морщинистым лицом, но много сохранившим от молодости. Мы вошли в комнату, залитую солнцем. Я увидела в кресле глубокую дряхлую старуху, ничего не напоминало ту старую фотографию. Я была настолько потрясена ее видом, что не могла вспомнить, о чем мы говорили. Какая громадная разница была между Верой Ивановной и Верой Николаевной во всем их внешнем облике. После этого отступления вернусь к тому, что связано с Есениным.

Герман Александрович сказал мне, что будет вечером у Сакеров, и хотел дать их адрес. Но я знала их адрес. Я знала Абрама Львовича и Фаню Исаковну, они выпускали и редактировали толстый журнал «Северные Записки». Как я к ним попала первый раз, не помню. Но бывала я у них несколько раз. Милые, очаровательные люди. Всегда, уходя от них, я уносила тепло, с которым они относились ко мне. Иначе, наверное, они и не умели относиться к людям. Они меня приглашали приходить к ним, не помню, в какой день недели, когда у них собирались писатели. Мне хотелось пойти, но из-за своей застенчивости я ни разу в такой день к ним не пришла. Теперь же вечером я зашла к ним за Германом Александровичем.

Фаня Исаковна ввела меня в столовую. За длинным столом сидели Абрам Львович, Герман Александрович и какой-то юноша с золотистыми вьющимися волосами, в солдатской гимнастерке. «Вот и Мина, знакомьтесь». — сказала хозяйка. Знакомиться мне нужно было только с этим юношей. Он встал, назвал себя Сережа. Мы обменялись рукопожатием. Меня усадили возле него. После ужина Фаня Исаковна сказала: «А теперь, Сережа, Вы нам споете частушки. Я обещала Герману Александровичу». Она позвонила, вошла горничная в белом передничке и наколке.

— Принесите, пожалуйста, гармошку Сергея Александровича.

Этот Сережа показался мне почти одного возраста со мной. Он совершенно не смутился, что его назвали по имени и отчеству. Если бы меня назвали, я бы, конечно, смутилась, а он — нисколько. Я решила, что он большой воображала, если позволяет себя так называть. Принесли гармошку, он стал петь частушки. Герман Александрович просил некоторые повторить по несколько раз. Особенно одну, которая начиналась: «Я любил ее всею душой, а она меня половиною». Когда мы ехали трамваем домой, уже поздно, Герман Александрович все повторял: «Вы подумайте, как хорошо: «Я любил ее всею душой, а она меня половиною», — и прочел мне свое стихотворение, которое он простучал в Шлиссельбурге Вере Николаевне Фигнер. Тогда я его не знала. А потом прочла в «Запечатленном труде», где Вера Николаевна его поместила.

Еще до революции в зале Тенишевского училища на Моховой по воскресеньям устраивали музыкальные тематические утренники. Выступали два певца Мариинского театра (Александрович, тенор, и Курзиер, бас). После революции какое-то время эти утренники еще продолжались. Посещала их главным образом молодежь гимназического возраста, бывало и много детворы. Эти утренники были как бы местом встреч. Народу всегда собиралось полным-полно. У каждого было много знакомых. Рассаживались своей компанией. До начала концерта стоял невероятный шум.

После революции я не стала ходить. Но захотелось встретиться со старыми знакомыми, и я пошла на концерт. Обстановка осталась все та же. Тот же шум и беготня перед началом, что и прежде. Я сидела где-то в верхнем ряду. Шум вдруг прекратился и по рядам пронеслось: «Клюев, Есенин, Клюев, Есенин». Я знала не только эти имена, но и стихи этих поэтов. В наступившей тишине все уставились на входную дверь.

В зал входили двое: впереди шел невысокого роста, нам он казался таким по сравнению со вторым, довольно плотный мужчина с рыжеватой бородкой. За ним юноша с вьющимися светлыми волосами, аккуратно расчесанными. Они были одеты в синие поддевки, красные шелковые рубахи, лакированные сапоги.

Шли они медленно и выглядели очень театрально. Я знала, что поэт Есенин моложе поэта Клюева, и легко установила, кто из них первый, а кто второй. Но своего знакомого Сережу-воображалу и не узнала.

Во время антракта я неслась по лестнице. Вдруг меня сзади кто-то схватил за руку — «Мина, мы с Вами знакомы». Рядом со мной стоял Есенин. Видя мое изумление, а может быть и растерянность, добавил: «Мы познакомились у Сакеров». Но я его уже узнала. Первое, что я сказала: «Я знаю теперь, почему Вас зовут Сергеем Александровичем». — «Но Вы меня так не называйте». Он спросил, почему я не прихожу к Сакерам, а я его позвала к нам в Общество распространения эсеровской литературы. Несколько раз он приходил в Общество один, один или два раза с Клюевым. В то время у нас толпилось много народу. Времени, чтобы поговорить, не было. Есенин, если приходил один, брал из шкафа книгу и усаживался читать. В шкафу этом мы собирали книги для будущей библиотеки, которую надеялись когда-нибудь открыть.

Потом он исчез на какое-то время. И появился у нас в Обществе с Алексеем Ганиным. Рассказывал, что уезжал куда-то (не помню куда), что жить им негде. Они пришли на Галерную, где помещался ЦК П. С.-Р и к тому времени — уже редакция газеты «Дело Народа». Иванов-Разумник их познакомил с Зинаидой Николаевной Райх. Она их устроила на ночь на стульях в большом зале. Мне нужно было на Галерную, и мы пошли туда втроем. Всегда, когда я приходила на Галерную, я первым делом приходила к Зине. При организации Общества распространения эсеровской литературы мы выбрали ее председательницей. Практически она мало работала в Обществе, так как целый день работала техническим секретарем «Дела Народа». Приходила в Общество только по вечерам. Выбрали же мы ее председательницей потому, что она умела вести собра-

---

Мина Львовна Свирская. Годы жизни — 1901—1978. Родилась в Вильно. В феврале 1917 года эвакуировалась в Петроград из-под немецкой оккупации. Вступила в партию социалистов-революционеров и до конца своих дней осталась убежденной, несгибаемой эсеркой (принадлежала к «правому» крылу партии). После Февральской революции участвовала в распространении газеты «Дело Народа», агитировала, организовывала митинги. Была связной с Комитетом членов Учредительного собрания, перевозила членов разогнанного в январе 1918 года Учредительного собрания в Самару. Позднее — на нелегальной работе в Москве и Петрограде. В марте 1921 года первый арест. А дальше нескончаемая череда — тюрьма, концлагерь, ссылка. В общей сложности — 25 лет лишения свободы.

Вся дальнейшая жизнь ее была связана только с прошлым, с годами бурной молодости, борьбы, в которой она видела весь смысл своего существования. «В борьбе обретешь ты право свое!..»

В 1963 году Мина Львовна Свирская эмигрировала в Израиль, где и скончалась 15 лет спустя.

Впервые о существовании этой женщины, о ее дружбе с Сергеем Есениным и Зинаидой Райх я узнал в 1976 году от ближайшей подруги Свирской, о которой последняя пишет в своих воспоминаниях.

«...В здании Плехановского института от имени ЦК партии большевиков и ВЦИКа должен был выступить со своим докладом о международном и внутреннем положении А. В. Луначарский.

Переполненная аудитория, прежде чем предоставить слово Луначарскому, потребовала от него гарантии свободы слова и личности выступающих. Вынужденный всей обстановкой, Луначарский заверил аудиторию своим «честным словом» и заявил, что ни один из выступающих не будет арестован. И тогда-то выступил с некоторыми положениями платформы социалистов-революционеров Шура Федосеев. Главным было: созыв Учредительного собрания. Это требование было единодушно поддержано железнодорожными рабочими. Шура под овации всего зала вернулся к нам. Мы стояли в толпе неподалеку от президиума, весь президиум был из наших рабочих. Прошла наша резолюция. Луначарскому не давали говорить. Один из рабочих, который сидел в президиуме, подошел к нам и сказал, чтобы мы одни не уходили. Нас проводят. Но когда так бурно прошла наша резолюция, мы обо всем забыли.

Едва мы вышли из зала, а затем из здания Плехановского института, агенты ОРТЧК арестовали сначала Шуру, а затем подошедшую за ними Цилю. Я же бросилась обратно, чтобы оповестить об этом аресте наших товарищей...»

Спустя еще 2 года, уже после смерти Мины Львовны, Цецилия Ефимовна Дмитриева (Бурштейн) разрешила записать текст неизвестного есенинского стихотворения и опубликовать вместе с ее рассказом о Есенине и Свирской. Так получилось, что эта публикация в журнале «Огонек» (октябрь, № 40, 1980) почти на 10 лет опередила публикацию воспоминаний М. Свирской о Есенине в 7-м выпуске альманаха «Минувшее», по тексту которого они и публикуются ныне.

Известно, что литераторы-«скифы», в число которых входил и Сергей Есенин, группировались вокруг эсеровских печатных органов — «Знамя труда» и «Дело Народа». Р. Иванов-Разумник, Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, поэты-«ново-

ния и, как мы говорили, представительствовать. Чего мы по молодости лет и по неопытности не умели. И вот, когда я приходила на Галерную, у нас всегда находилось о чем поговорить. Я ей еще раньше рассказала, как я познакомилась с Есениным. На этот раз она сказала: «Вот не знаю, куда твоего воображалу с Алешей устроить. Эти великокняжеские стулья, обитые шелком, под ними разъезжаются». Сергей с Алексеем решили мне продемонстрировать, как они разъезжаются.

Мы вернулись к Зинаиде и стали говорить о делах Общества. Какие-то представительские дела Зинаида брала на себя. И Ганин сказал: «Так Вы, оказывается, Зинаида Николаевна, нищая меценатка». Это прозвище за ней так и осталось.

В Общество распространения эсеровской литературы Есенин стал приходить почти каждый день. Он приходил всегда во второй половине дня. В легком пальтишке, в фетровой несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Щапова «История раскольнического движения» и усаживался читать. В нашем полуподвальном помещении всегда было холодно. Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу. Позже приходил Ганин и тоже усаживался читать. Приходила Зинаида Николаевна. Обсудив текущие дела Общества, мы четверо отправлялись бродить по Петрограду. Получалось так, что обычно мы с Сергеем шли впереди, а Зинаида с Алексеем сзади. Есенин всегда читал стихи, и свои, и чужие. Читал свои новые стихи, которые еще не были опубликованы. Иногда раньше, чем начать читать какое-нибудь свое новое стихотворение, он шел долго молча. Бывало, Ганин нас окликал. Он называл Сергея — Сергунька. Мы останавливались. Ждали, пока они подходили к нам. Ганин прочитывал строчки своих стихотворений в разных вариантах, советуясь с Есениным. Между ними начинался спор. Зинаида часто высказывала свое мнение. Спор у них иногда затягивался, и мы уходили с Зинаидой вперед. Помню, они один раз долго спорили о выражении «небо озвездилось». В дальнейшем, когда у них спор затягивался, Зина говорила: «Опять началось «озвездилось», давай пойдем, они нас догонят». Иногда мы уходили далеко от них, и они нас не догоняли. Мы возвращались и заставали их на том же месте — Ганин опершись на палку, а Есенин глубоко засунув руки в карманы и подняв плечи. В наши прогулки мы отправлялись в любую погоду. Иногда гуляли под петроградским мелким моросящим дождем, начинали зябнуть, заходили в какую-нибудь чайную, чтобы согреться горячим чаем, который нам подавали в двух пузатых чайниках.

Летом мы поехали в Павловск на концерт. Мы опоздали. С трудом протискивались в зал, где яблоку упасть было негде. Есенин прокладывал нам в толпе дорогу, и мы в конце концов оказались у самой сцены. После выступления Каракаша и Петренко мы больше оставаться не хотели и направились к выходу. Обратный путь из зала был легче. Мы гуляли по парку. Возвращались в почти пустом вагоне. Или мы уехали до конца концерта, или много времени после концерта. Ганин читал стихи. Прочел свое стихотворение «Русалка», которое посвятил «З. Р.». Мне это стихотворение очень понравилось, и он нам читал его несколько раз. Есенин достал листок бумаги и стал быстро писать карандашом. Потом прочел написанное. Было оно посвящено «М. С.». В нем было два четверостишия. Павловский парк превратился в березовую рощу, мои коротко остриженные и всегда растрепанные волосы сравнивались с веточками берез. Тогда он мне это стихотворение не дал; положил его к себе в карман. Зинаида же сказала: «Будешь теперь причесываться». У Зинаиды Николаевны были тогда две косы, уложенные вокруг головы. В стихотворении были «русалочьи косы». Очень потертый, пожелтевший листок бумаги со стихотворением «Русалка» Зинаида показала мне много лет спустя. Стихотворение же, которое написал Есенин, он принес мне через несколько дней в Общество. В нем были отдельные слова перечеркнуты и написаны по-новому.

Летом 17-го года вбежал в Общество Есенин: «Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алешей едем». Это было очень неожиданно и в обстановке, в которой я жила, похоже на шутку. В Обществе работала старая эсерка Софья Карклеазовна

крестьяне» печатались в этих газетах и, не будучи членами партии, разделяли основополагающие политические взгляды эсеров, прежде всего их взгляд на крестьянский вопрос. Эсеры, а конкретно их «левое крыло», приняли здесь эстафету «Народной воли». Характерно, что Есенин познакомился с Миной Свирской в присутствии знаменитого Германа Лопатина, с которым он был хорошо знаком, так же, как и с Верой Фигнер. Думаю, что рано или поздно отыщутся документальные свидетельства близкого знакомства Есенина и поэтов-«новокрестьян» с Марией Спиридоновой, о которой Николай Клюев с почтением упоминал еще в 1908 году.

В «Дневнике» Александра Блока от 21 февраля 1918 года стоит запись: «Есенин записался в боевую дружину». Не подлежит сомнению, что речь здесь идет об эсеровской боевой дружине, хотя опять же никаких документальных подтверждений словам Блока мы на сегодняшний день не имеем. Вполне возможно, что запись эта сделана со слов самого Есенина.

Близкие друзья Есенина — Мина Свирская и Вениамин Левин — члены партии социалистов-революционеров. Членом этой же партии была и Зинаида Николаевна Райх, которую она, правда, покинула после замужества. Отношения Есенина с левыми эсерами, в частности с высшим эшелоном партии, с которой он работал, по собственному признанию, «не как партийный, а как поэт» в 1917—1918 гг., заслуживают пристального внимания. В этой странице есенинской биографии еще много «белых» пятен.

В воспоминаниях о своем крестном пути боевички-эсерки Мина Свирская набросала как бы конспект своих воспоминаний о Есенине, которые написала, очевидно, несколько позднее. «Иногда и нам в камеру попадала какая-нибудь вновь арестованная,

Макаева. Женщина резкая, но относившаяся к нам — молодежи — хорошо, любившая и подшутить над нами. И тут не упустила, чтобы не посмеяться над «фантастическими глупостями», которые во время подготовки к выборам в Учредительное собрание могут прийти в голову только бездельникам. Как и очень часто, мне нужно было на Галерную, Есенин пошел со мной. Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Соловки и Сергей пришел звать меня. Она вскочила, захлопала в ладоши — «Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться к Сереженьке!» — так мы называли за глаза Сергея Порфирьевича Постникова, секретаря газеты «Дело Народа», непосредственного начальника Зинаиды. Она убежала, быстро вернулась очень довольная, завертелась по комнате, приговаривая: «Сереженька меня отпустил». Вдвоем они стали меня уговаривать ехать с ними. Возбуждение Зинаиды Николаевны, может быть, на какое-то мгновение передалось мне. Но я не могла себе представить, что имею право бросить работу в Обществе, которой в то время, в связи с выборами в Учредительное собрание, было много. Сергей и Зинаида начали обсуждать подробности поездки. Помню, что Сергей с Алешей должны были выехать раньше, и Зинаида где-то к ним присоединиться. Как оказалось, ни у Сергея, ни у Алеши почти не было денег. У Зинаиды была какая-то заветная сумма, которую она предложила на поездку. Я ушла. Сергей остался на Галерной. Больше ничего об их отъезде вспомнить не могу. Некоторое время спустя в Общество пришел Гаврила Андреевич Билима-Пастернак и рассказал, что ездил в Архангельскую область по выборам в Учредительное собрание и на пароходе в Белом море встретил их троих. Сколько времени продолжалась их поездка, не помню. Но помню, что кто-то пришел и сказал, что был на Галерной и что Зинаида Николаевна вернулась. Я тут же пошла туда. Она писала какую-то служебную бумагу и сказала: «Сейчас допишу». Она дописала и повернула в мою сторону написанную бумагу, указывая на свою подпись: Райх-Есенина. — «Знаешь, нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал», — сказала она. Мне не было еще и семнадцати лет, сосредоточиться на этом событии я не умела и не задавала никаких вопросов. Зинаида сама стала рассказывать. Ей казалось, что если она выйдет замуж, то выйдет за Алексея. Что с Сергеем ее связывают чисто дружеские отношения. Для нее было до некоторой степени неожиданностью, когда на пароходе Сергей сказал, что любит ее и жить без нее не может, что они должны обвенчаться. На Соловках они набрели на часовенку, в которой шла служба, и там их обвенчали. Ни Сергей, ни Алексей мне об этом ничего не рассказывали.

Алеша стал приходить в Общество часто. Сергей реже, чем раньше. Зинаида стала приходить совсем редко. Она говорила, что собирается оставить работу в «Деле Народа» и будет издавать стихи Есенина. Поселилась она на Литейном в квартире, часть которой занимало какое-то кооперативное издательство. Там же жили друзья Зинаиды по Бендерам — брат и сестра: Савелий Павлович и Раиса Павловна. Савелий Павлович имел отношение к этому издательству. Зинаида с Сергеем заняли в этой квартире небольшую светлую комнату. Где-то в квартире устроился Ганин. Жили они коммуной. Хозяйством заправляла Зинаида.

Приходя к нам в Общество, Есенин продолжил читать Щапова. Иногда засиживался до тех пор, пока мы не закрывали помещение и расходились. Он шел меня провожать. Жила я тогда на Васильевском острове, почти на углу десятой линии. Трамваи не ходили. Расстояние от Малой Садовой до моего дома проделывали пешком. Шли по Невскому через Дворцовый мост. Есенин вспоминал что-нибудь из своего детства. Он касался этого как-то мимоходом. Это переносило его в родную природу, о которой он говорил много. Я видела отчетливо все, о чем он рассказывал. Мне казалось, что мы ходили по его родным местам, а не по Петрограду. Возвращала меня к действительности необходимость перепрыгивать через лужи. Иногда мы брались за руки и перепрыгивали вместе, иногда Сергей перепрыгивал и протягивал мне руку. Ботинки и у него и у меня были рваные, но мы уверяли друг друга, что перепрыгнули, не промочив

сразу после ареста, и мы узнавали кое-что о воле. Так, однажды к нам попала шестнадцатилетняя девочка. Она жила у своей тетки, содержательницы нелегального ресторана, и рассказала, что вместе с ней и теткой было арестовано несколько посетителей ресторана из среды писателей и артистов. Она могла назвать только одного: Сергея Есенина.

Боже мой, вот где мы оказались под одной крышей! Я не спала долго, вспоминая знакомство с Сергеем, нашу дружбу с ним и Зинаидой Райх, ставшей его женой, первую встречу с ним у издателей «Северного вестника», где он пел частушки Герману Александровичу Лопатину. Я долго повторяла слова одной из частушек, которые очень нравились Г. А.: «Я любил ее всею душой, а она меня — половиною...» Всю дорогу обратно Герман Александрович повторял эту частушку. Я вспомнила наши прогулки по весенне-летнему Петрограду, наши встречи в Обществе распространения литературы с.-ров, когда он приходил и молча усаживался читать Щапова о раскольничьем движении, последнюю нашу встречу в зале Политехнического музея на вечере современной поэзии, куда мы с Цилей не могли попасть и собирались уже уходить, когда меня окликнул Сергей, а затем провел нас прямо на сцену, где председательствовал Брюсов... Уже много лет спустя вспомнила и рассказ Зинаиды о том, как ее вызвал секретарь райкома комсомола и обвинил в том, что она воспитала своих детей (Таню и Костю) в культе памяти их отца: вот-де Костя создал кружок в школе по изучению Есенина. «Ну и что же в этом плохого?» — спросила Зинаида молодого совбюрократа при галстучке, который только-только начинал входить в моду. «Вы что же, считаете Есенина вторым Пушкиным?» — спросил укоризненно молодой деятель. «Нет, — ответила Зинаида, — я считаю его Есениным».

ноги. Так мы доходили до подъезда моего дома. Быстро прощались. У меня был ключ от квартиры. Но как-то, когда я открывала дверь ключом, она оказалась закрытой на цепочку. Тогда стали ползти по городу слухи о грабежах. Мои хозяева, испугавшись, закрывали дверь еще на цепочку. Будить мне никого не хотелось. Мне не удавалось пролезть сквозь узкую щель. Я сбросила пальто и пролезла. Я рассказала об этом Сергею, тогда он стал подниматься со мной и помогал мне пролезать.

Мы иногда останавливались на мосту и из бликов воды придумывали всевозможные картины, которые будто бы видели. Город ведь был не освещен, но блики на Неве отсвечивали.

Зинаида, кажется, уже перестала работать в «Деле Народа». Отошла она и от дел Общества. Иногда днем, пробегая мимо, я заходила к ним. В их укладе начала чувствоваться домовитость. Приближался день рождения Сергея. Зинаида просила меня прийти. Сказала, что будет только несколько человек — закуски ведь будет очень мало. Я пришла. Электричество не горело. На столе стояла маленькая керосиновая лампа, несколько свечей. Несколько бутылок и какая-то закуска. По тем временам стол выглядел праздничным. Были Раиса Павловна, Савелий Павлович, Ганин, Иванов-Разумник, Петр Орешин и еще кто-то, но не помню. Было очень оживленно и весело. Есенин настоял, чтобы я с ним и с Алешей выпила на брудершафт. Мы выпили. Ганин стал придумывать для меня штраф, если я буду сбиваться с «ты» на «вы». Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул меня за руку: «Идем со мной, мы сейчас вернемся». Я встала и пошла за ним в их комнату, Есенин сел за стол и показал мне рукой на второй стул у стола. Я села. Он стал писать.

— Сережа, я пойду.

— Нет, нет, посиди, я сейчас, сейчас.

Дописав, он прочел мне следующее стихотворение. Хорошо помню, что в нем было пять четверостиший, но пятое вспомнить не могу.

Мине

От берегов, где просинь
Душистей, чем вода,
Я двадцать третью осень
Пришел встречать сюда.

Я вижу сонмы ликов
И смех их за вином,
Но журавлиных криков
Не слышу за окном.

О, радостная Мина,
Я так же, как и ты,
Влюблен в мои долины(?)
Как в детские мечты.

Но тяжелее чарку
Я подношу к губам
Как нищий злато в сумну,
С слезою пополам.

— Сережа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить. — Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты. Я пошла за ним. Он прочел стихотворение присутствующим и отдал его мне. Оно было у меня до моего отъезда из Петрограда в Самару весной 1918 года.

Первое стихотворение я положила в томик Герцена — «Письма с того берега». Это было первое заграничное издание. Я этот томик очень берегла. В нем, кроме стихотворения Есенина, лежала фотография «бабушки» Брешко-Брешковской. Она держала развернутую газету «Земля и Воля». Я сижу у ее ног на маленькой скамеечке. На обороте «бабка» сделала надпись, назвав меня «правнучкой». Этот томик с его содержимым исчез из моего портфеля еще во время существования Общества.

В вечер дня рождения Есенина, когда мы все уже собирались уходить, Ганин сказал, что пойдет меня провожать. Он уже снял пальто с вешалки. Сергей подошел к нему, взял у него из рук пальто и быстро одел его на себя. Погода была прескверная. Моросил мелкий дождь. По мере того, как мы приближались к Неве, туман усиливался. Мы шли молча. Мне это молчание было тягостно. Хотелось его нарушить, я не знала, как это сделать. На мосту я остановилась и сказала: «Давай смотреть на воду, интересно, что мы увидим сегодня в день твоего рождения». — «Ничего не получится», — ответил он и потянул меня за руку. И молча мы дошли до моего дома. Через день или два пришел в Общество Ганин: «Если бы ты знала, как Сергуньке попало». — «Алеша, за что?» — «Нет, не за то, что он пошел тебя провожать. Зина упрекала его, что он не подарил ей ни одного стихотворения. Он слушал ее, надувшись, ничего ей не ответил, потом быстро оделся и ушел. Я думал, он у вас». — «Нет, к нам он не приходил». Уже после ухода Ганина очень мрачный пришел Есенин. Я ему сказала, что приходил Ганин, искал его. Он мне ничего не ответил, уселся читать и быстро ушел.

В книжную лавку имажинистов я, наверное, зашла или по дороге на Волгу, или в один из своих приездов из Самары, откуда несколько раз ездила в Москву как связная. Есенин стоял у прилавка и продавал книги. (Народу приходило туда много. Не так купить книги, как посмотреть на Есенина.) Делал это он очень неуклюже. Лазал по полкам, чтобы достать нужную книгу. Долго не находил. Растерянно суетился. Мне стало очень больно за него. В душе я ругала Шершеневича и Мариенгофа, которые для приманки поставили его торговать. Я хотела уйти. Он просил подождать. Покупателям не было конца. Я спросила, что он знает о Зинаиде. Она была с Танечкой у своих родителей в Орле.

— Сережа, неужели так необходимо, чтобы ты стоял у прилавка?

— Да, знаешь, надо.

Я обещала зайти еще раз, но знала, что не зайду. Мне было тяжело видеть его в этой роли...

Уже после моего возвращения с Дальнего Востока я с подругой пошла в 1920 году на вечер поэтов в Политехнический музей. Народу было уже очень много, когда мы пришли. Вся лестница (зал — амфитеатром) была забита народом. Ни в одну из дверей нельзя было протолкнуться. Мы стояли, зажатые на одной из площадок, прикидывая, где попытаться попасть в зал. Вдруг кто-то стремительно меня обнял с восклицанием: «Мина!» Это был Есенин. Из зала донесся звонок. Он схватил меня за руку и потащил к боковой двери, которая вела на сцену. Вторую руку я протянула подруге, чтобы ее не потерять в толпе. Есенин усадил нас на сцене на какие-то столы. Не помню, кто выступал из поэтов. Есенин стоял возле меня и все расспрашивал, где я была. Когда я ему сказала, что из Владивостока вернулась в Москву через Китай, он сказал: «Какая счастливая, ты мне обязательно должна рассказать». Наступила очередь Есенина выступать. Он подошел ближе к рампе и начал читать «Сорокоуст». Когда он произнес: «И всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари», — в зале поднялся невероятный шум, свист, топот, крики. Брюсов непрерывно звонил в колокольчик. Наконец, уловив момент, когда неистовство в зале стало спадать, но до тишины было еще далеко, Брюсов во всю силу своего небольшого голоска крикнул: «Доколе же мы будем бояться истинно русских слов!» Только после этого зал успокоился, и Есенин стал читать дальше. Маяковский опоздал и был встречен тоже шумом. Колокольчик Брюсова помогал мало. Маяковский своим громоподобным голосом перекричал шум, объяснил, почему он опоздал, и прочел «150 000 000». Когда вечер кончился, Есенин был окружен целой толпой, и мы ушли одни. После этого вечера я шла по Столешникову переулку. Было очень рано. Улица была почти пустынна. Мимо меня быстро прошла мужская фигура. Это был Есенин. Я его окликнула. Он остановился. — «Сережа, куда ты в такую рань?» — «Бегу в типографию держать корректуру. Опаздываю. Проводи меня». — Лицо невыспавшееся, помятое. Из-под пальто видна была сорочка без воротника. Ботинки были застегнуты только на верхнюю пуговицу. Я прошла немного с ним. Он напомнил, что я должна ему рассказать о Китае. Мне нужно было возвращаться. Мы попрощались. Когда я уже отошла, он меня позвал и крикнул: «Передай Зине, что деньги для детей я оставил у Шершеневича». Он знал, что с Зинаидой я вижусь.

Это была моя последняя встреча с Есениным, если не считать еще одной, которую едва ли можно назвать встречей.

Летом 1921 г. я сидела во внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке. К нам привели шестнадцатилетнюю девушку, которая приехала к своей тетке из провинции. Тетка содержала нелегальный ресторан. Для обслуживания посетителей она выписала племянницу. Органами ВЧК учреждение это было обнаружено. Устроена засада, всех приходивших задерживали. Задержаны были и Есенин, Мариенгоф и Шершеневич. Их привезли на Лубянку. Тетку, эту девушку и еще кого-то поместили в камере, а целую группу держали в «собачнике» и выпускали во двор на прогулку. Я увидела Есенина. Он стоял с Мариенгофом и Шершеневичем довольно далеко от нашего окна. На следующий день их снова вывели на прогулку. Я крикнула громко: «Сережа!» Он остановился, поднял голову, улыбнулся и слегка помахал рукой. Конвоир запретил им стоять. Узнал ли он меня? Не думаю. До этого я голодала десять дней, и товарищи нашли, что я очень изменилась. Окно было высоко и через решетку было трудно разглядеть, хотя щитов тогда еще не было. На следующий день всю эту группу во дворе фотографировали. Хозяйку, матрону очень неприятного вида, усадили в середине. Есенин стоял сбоку. Через некоторое время меня с группой товарищей увезли в Новосибирск. Я рассказала об этом товарищам. И Федорович сказал, что это, видимо, тот случай, о котором начальник следственного отдела ЧК Самсонов ему сказал: «Думали, открыли контрреволюционную организацию, а оказалась крупная спекуляция». Настолько крупная, что десять лет спустя отметили дату открытия этой спекуляции. Наверное, это был «Огонек», где поместили эту фотографию и фотографию Пиккенена, который этим делом занимался.

Все связанное с Есениным в тот период осталось в моей памяти, как очень светлое и чистое. В наших отношениях не было ничего развязного. В нем была какая-то робость и застенчивость. И когда уже много лет спустя Зинаида сказала Косте: «Твой отец ухаживал за Миной», — слово «ухаживал» меня задело. Ничего от этого не было в наших отношениях. Это была дружба. Много позже я задавала себе вопрос, почему Есенин подружился со мной в то время. Кругом было так много девушек красивых, многие умели говорить о поэзии, читать стихи. Я тоже знала много стихов, но читать я их боялась, они звучали у меня внутри. Мне казалось, что, произнося их, я не смогу передать того, как я их чувствую. В своем стихотворении Есенин назвал меня «радостной». Видимо, я и была такой от счастья, что живу в революцию, которая меня сделала ее участницей. Все, что я делала, я считала очень нужным. Не было ничего, чего бы я хотела для себя лично. Я верила в идеальное недалекое будущее. Своей непосредственной, наивной верой я заражала других. Сергею это тоже, наверное, передавалось, когда он бывал со мной, и за этим он тянулся. Время нашей дружбы было непродолжительно. Но если этот отрезок времени отнести к человеческой жизни, которая оборвалась в тридцать лет, то восемь-девять месяцев превращаются в целый период.

ЮРИЙ ПАРКАЕВ

«С любовью русской...»

В сборнике «Памяти Есенина», изданном Всероссийским союзом поэтов в 1926 году, были среди прочих опубликованы воспоминания литератора Евгения Сокола, написанные, что называется, «по горячим следам» — в марте 1926 года.

С горечью отмечая, что «умер крупнейший поэт», автор подчеркивает: «Крупные люди должны быть сохранены для истории не только в своем творчестве, но и в своей обыденности, в своей личной жизни. Это обязывает людей, знавших покойного, закрепить на бумаге все, что сохранится о нем характерного в их памяти, что они считают важным и находят нужным рассказать».

Отказываясь от хронологической последовательности в воспоминаниях, Е. Сокол добавляет: «...даже и полноты от моего рассказа ждать не нужно. Это — не все, что я знаю о Есенине, не все, что я слышал от него».

По сути дела, воспоминания Сокола — это рассказ о последней встрече с поэтом, точнее — о последней ночи, проведенной с ним на его московской квартире накануне отъезда в Ленинград. Иными словами — за пять дней до трагической гибели Есенина в пятом номере ленинградской гостиницы «Интернационал» (бывш. «Англетер»).

Свидетельством более ранних встреч и доверительных бесед являются процитированные Соколом надписи на сборниках, подаренных им автору воспоминаний в феврале—апреле 1924 года. «В те годы, — вспоминает Сокол, — в 1923 и 1924 мы много говорили с ним на эту тему, — о национальности и национализме в русской поэзии, и его интересовали мои утверждения, что Россия до Блока не имела национальной поэзии, что наши великие поэты были не национальны, а интернационалистичны, что впервые только у Блока и у него чисто национальное приятие России, — со всем, что в ней прекрасного и что в ней жуткого, — приятие, как любовь к матери, независимо от того, какая бы она ни была».

Вспомним, что незадолго перед этим, в начале августа 1923 года, Есенин вернулся из пятнадцатимесячной зарубежной поездки. Вернулся, по свидетельству близко знавших поэта людей, иным человеком. «В нем не было прежней есенинской простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что-то ему чужое и опять становился самим собой, улыбался и балагурил» (Рюрик Ивнев).

Исследователям жизни и творчества Есенина, людям другого поколения, отошедшим от лиц и событий на большое временнóе расстояние и к тому же располагающим документами (и прежде всего письмами самого поэта), причины таких перемен в характере и поведении Есенина значительно понятнее, нежели для многих его современников и друзей. В одном из своих писем из Америки в Париж (к А. Б. Кусикову от 7 февраля 1923 г.) поэт с болью, переходящей в гнев, писал: «...Тошно мне, законному (выделено автором. — Ю. П.) сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним... Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка, теперь, когда там жмут руки тем, кого раньше расстреливали,—теперь стало очевидно, что мы были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать... Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Это письмо, долгие годы в нашей стране не публиковавшееся, является ключевым документом для понимания позиции поэта-патриота, живым свидетельством тех душевных мук, с которыми возвращался из своей зарубежной поездки «законный сын российский». Теперь становится понятной непонятная прежде фраза из другого его письма, написанного весной 1923 года в Париже и адресованного в Москву А. Б. Мариенгофу: «Ах, какое поганое время, когда Кусиков и тот стал грозить мне, что меня не впустят в Россию». Основания для тревоги были серьезными: за время отсутствия Есенина в стране произошли большие перемены, касающиеся прежде всего передвижения в руководстве страны и связи с тяжелой болезнью Ленина.

Не будучи достаточно искушенным человеком в тонкостях политики, Есенин тем не менее хорошо представлял те перспективы, которые открывались для России — встань у руля государства Троцкий. Русский писатель-эмигрант Р. Б. Гуль, встречавшийся с Есениным в Берлине, в своей книге воспоминаний «Я унес Россию» (изд-во «Мост», Нью-Йорк, 1981 г.) приводит эпизод, в котором поэт в компании литераторов высказывается со всей определенностью: «Не поеду я в Москву... Не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн... Он правит Россией, а не он должен ей править...» (стр. 163).

Ярлык антисемита, мгновенно приклеенный к Есенину, был с негодованием им отвергнут: не национальная принадлежность Троцкого, а его антирусская, антинародная позиция — вот что в данном случае играло главную роль. Именно это поэт и попытался со всей беспощадностью

раскрыть на страницах драматической поэмы «Страна негодяев». Наглая, циничная исповедь комиссара из охраны железнодорожной линии Чекистова перед красноармейцем Замарашкиным говорит сама за себя.

ЧЕКИСТОВ.

Мать твою в эт-твою!
Ветер, как сумасшедший мельник,
Крутит жерновами облаков
День и ночь...
День и ночь...
А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа!
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

ЗАМАРАШКИН:

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты настоящий жид.
Ругаешься ты как ярославский вор, —
Но
Фамилия твоя Лейбман
И черт с тобой,
Что ты жил за границей, —
Все равно в Могилеве твой дом.

ЧЕКИСТОВ:

Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом!
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь!
И буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин...

Этот вариант, прочитанный Есениным в одном из литературных салонов в Америке, вызвал бурю негодования среди присутствующих на вечере. Скандал, размазанный в прессе, прокатился по Европе и, без сомнения, докатился до Москвы задолго до появления там самого поэта. Ярлык антисемита оказался несмываемым тавром. Теперь под эту марку можно было вести борьбу не только с самим Есениным, но и с тем патриотическим движением, которое зарождалось и в среде поэтов его круга.

Зная о влиянии Троцкого на газетно-журнальную политику, ощущая температуру страны по выступлениям в печати, Есенин понимал, что по возвращении он не сможет стоять в стороне, что та группа космополитствующих, известная под названием «имажинисты», к которой он ранее формально примыкал, — вредоносна. Понимал, что нужно искать иных путей, иных союзников, и догадывался, что борьба на литературном фронте предстоит нелегкая, а может быть, и смертельная. «Чую себя здесь чужим и ненужным, — писал он А. Б. Кусикову, — а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал в Африку или еще куда-нибудь...» (из письма от 7 февраля 1923 г.).

Разумеется, в глубине души поэт знал, что «никакая родина другая не вольет в грудь его теплынь». Осенью 1923 г., уже находясь в Москве, он не раз жаловался близким друзьям, что в своем доме он уже не хозяин, что дверь родного дома ему не желают открывать. Есенин берется за издание альманаха «Россияне», ведет переговоры с Николаем Клюевым, Сергеем Клычковым, Петром Орешиным и другими литераторами, близкими ему по духу.

Возмущенный тоном статьи Льва Сосновского «Испорченный праздник», опубликованной в конце ноября 1923 года в «Рабочей газете», поэт садится за статью, имеющую цель защитить попутчиков от резких нападок нового журнала «На посту»: «Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством... Некоторые типы, находясь в такой блаженной одури и упоенные тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора. Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией: Сосновский. Маленький картофельный журналистик... имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапог, трубит почти около семи лет все об одном и том же: что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению...»

Статья Есенина осталась незаконченной. Альманах не состоялся. Однако полгода спустя совещание при Отделе печати ЦК РКП(б) осудило действия писателей-напостовцев, указав в принятой резолюции: «Приемы борьбы с «попутчиками», практикуемые журналом «На посту», отталкивают от партии и Советской власти талантливых писателей».

Впрочем, борьба велась не только на газетно-журнальном фронте. Глубокой осенью 1923 года разразился скандал, последствия которого были непредсказуе-



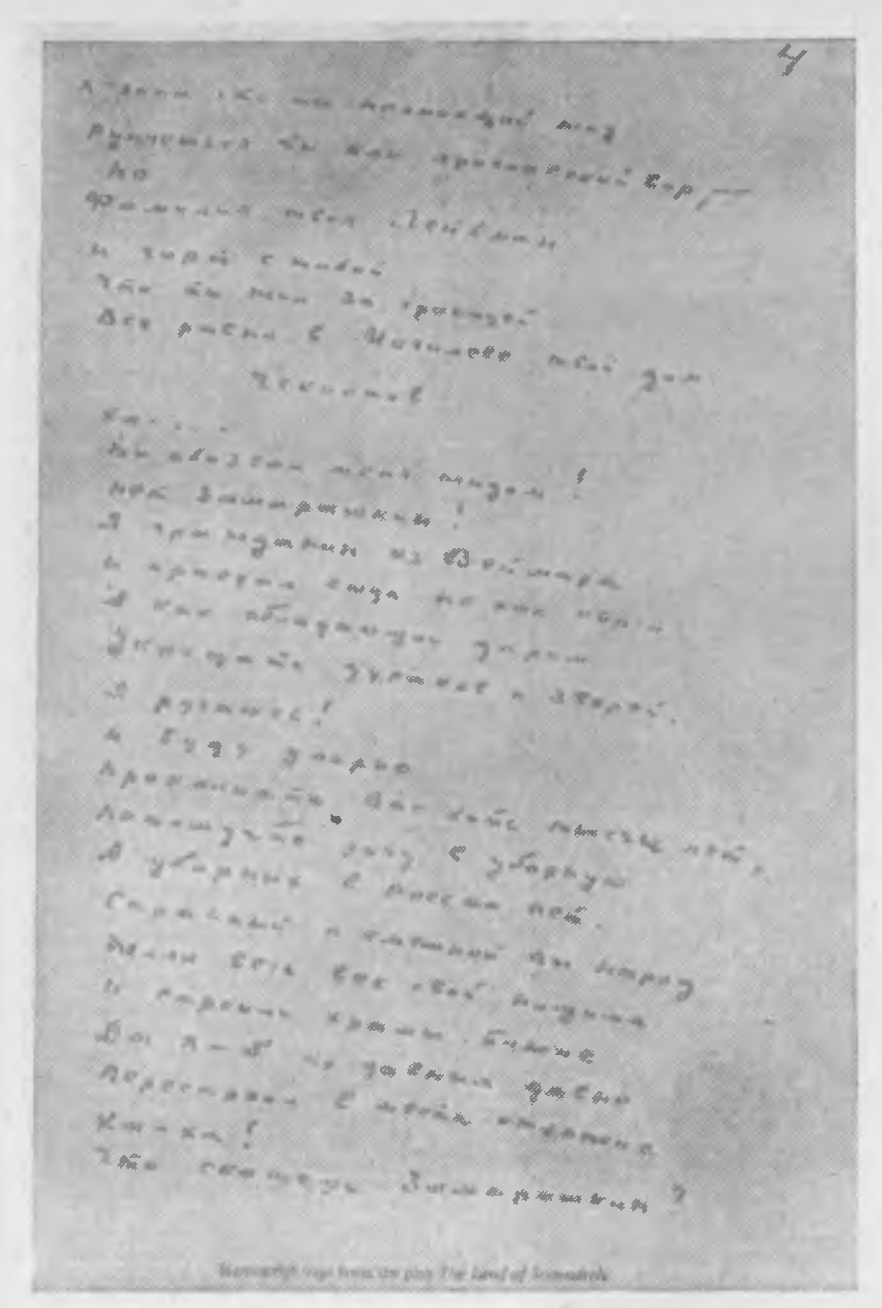
1923.

мы. Вот как освещала печать так называемое «дело четырех»:

«Третьего дня в Доме Печати в присутствии представителей литературной Москвы состоялся товарищеский суд по делу поэтов Есенина, Орешина, Клычкова и Ганина, обвинявшихся в устройстве дебоша и черносотенных выкриках в пивной на Мясницкой ул. В состав суда вошли представители литературы и периодической печати: т. Новицкий в качестве председателя суда, т. Касаткин в качестве ответственного секретаря суда и т. т. Керженцев, Иванов-Грамен, Нарбут, Аросев и Плетнев в качестве членов суда. Обвинителем выступил тов. Сосновский. Защиту взял на себя тов. В. П. Полонский.

В самом зале суда т. Керженцев сделал краткий доклад об имеющихся в распоряжении суда обвинительных материалах. Такими материалами явились статья т. Сосновского, письмо в редакцию «Рабочей Газеты», написанное четырьмя поэтами, но не напечатанное, и беседа с представителем милиции т. Ардаровым, напечатанная в «Известиях Отдела Управления». На основании этих материалов, а также устного допроса ряда лиц и реплик сторон, суд должен был вынести свое решение по настоящему делу.

Перед допросом ряда свидетелей слово было предоставлено обвинению и подсудимым для изложения фактического хода событий. Все четверо обвиняемых категорически отрицали наличие элемента антисемитизма в их поведении и припи-



Автограф Сергея Есенина с подлинным, не фальсифицированным в советских изданиях поэта текстом поэмы.
Источник: Гордон Мак Вэй «Жизнь Есенина».

сываемые им разговоры о «жидовском засилии». Сергей Есенин, подтверждая, что он крикнул свидетелю Роткину: «жид», указывал, что этот выкрик был только ругательством, лишенным абсолютно политического содержания.

Допрос свидетелей дал яркую картину нравов литературной «богемы». Особенно ценным явилось показание свидетеля Роткина, нарисовавшего картину хулиганского дебоша, устроенного «вдрызг напившимися» поэтами. Тов. Демьян Бедный подтвердил обстоятельства дела, в общем уже известные по газетам. Большой интерес представило показание дежурного по 47 отд. милиции тов. Лапина, снимавшего во время скандала допрос обвиняемых. Поэты, по словам тов. Лапина, ввалились в отделение пьяной гурьбой, кричали, скандалили. Их поведение ничем не отличалось от обычного поведения пьяных, приводимых в милицию, «на одну модель со всякой шантрапой», — как говорит свидетель. Было, правда, и отличие: «выпили на две копейки, а скандалили на миллиард», — добавляет он.

Из других свидетелей следует еще упомянуть т. т. Смирнова, Волина и др. Тов. Н. Смирнов отмечает, что никакого злобного отношения у редакции «Раб. Га-

зеты» к обвиняемым раньше не было: наоборот, редакция охотно печатала стихи Орешина и Клычкова. Но факт хулиганского дебоша был настолько возмутителен сам по себе, что редакция не могла не напечатать статьи т. Сосновского, точно так же, как она не может не печатать любой корреспонденции рабкора о подобном дебоше со стороны какого-нибудь завхоза. Насколько эти поэты были пьяны, доказывает то, что на следующий день, когда они пришли в редакцию «Рабочей Газеты», они были удивлены, что попали не в «Рабочую Москву», куда направлялись, причем, в свою очередь, перепутали, что статья т. Сосновского была напечатана не в «Рабочей Москве», а в «Рабочей Газете».

Редактор «Рабочей Москвы» тов. Волин рассказывает, что в редакции «Красного Перца» в течение месяца лежал любопытный документ, характеризующий одного из обвиняемых, а именно протокол милиции о скандале, учиненном Есениным в кафе «Стойло Пегаса»; скандал сопровождался битьем посуды и мебели, пьяными криками и ругательствами, когда же поэта препроводили в милицию, то он звонил т. Калинину, чтобы тот его «выручил». Понятно, т. Калинин за Есенина и не вздумал заступиться.

Были также свидетели защиты. Так, Львов-Рогачевский отмечал, что в произведениях обвиняемых можно отметить не только отсутствие антисемитизма, но даже любовь к еврейскому народу. Писатель А. Эфрос указывал, что с поэтами Орешиным и Клычковым он встречается ежедневно в течение нескольких лет и не заметил с их стороны никаких антисемитских выпадов, хотя, как еврей, был бы к ним особенно чуток. Такое же показание сделал писатель Андрей Соболь. Тов. Сахаров, в течение пяти лет живший вместе с Есениным, отмечает случаи пьянства и дебоширства с его стороны, но отвергает возможность проявления им антисемитизма. Поэт Герасимов в своей характеристике Орешина и Клычкова отметил, что с первых дней революции они работали в Пролеткульте, работали честно, причем ему в течение нескольких лет приходилось общаться с ними, и опять-таки он не наблюдал у них никаких антисемитских уклонов.

На суде было охарактеризовано «турнэ» Есенина по Европе и Америке. В европейских и американских газетах печатались заметки о пьяных дебошах Есенина. После одного из дебошей в Америке Есенина связали и положили выспаться.

Было также указание на болезненное состояние Есенина. Поэты Мариенгоф и Рабинович отметили, что Есенин совершенно спился, что он опасно болен, что он близок к белой горячке и что его необходимо лечить.

После опроса свидетелей с краткой обвинительной речью выступил т. Сосновский. Он сравнивал обвиняемых с пациентом, пришедшим к врачу с жалобой на маленький прыщик, но по этому прыщику врач определяет дурную болезнь.

— И в данном случае, — говорит тов. Сосновский, — перед нами маленький прыщик, ибо я не склонен считать обвиняемых антисемитами в стиле Пуришкевича. Но этот прыщик вскрывает всю их внутреннюю гниль. Нам было некогда заняться оздоровлением наших литературных нравов. Но теперь этот инцидент диктует такую необходимость. Из среды советской литературы надо изгнать кабацкие традиции литературной богемы, унаследованной от Куприна и ему подобных.

С защитительной речью выступил т. В. П. Полонский, призывавший судить поэтов за хулиганство, за пьянство, за дебоширство, но отнюдь не за антисемитизм, которого он в их деяниях не усматривает.

В своем заключительном слове Есенин подтверждает, что он хулиганил и дебоширил и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине, но, по его мнению, он «скандалил хорошо». Он говорит, что через эти скандалы и пьянство он идет к «обретению в себе человека», но в то же время он категорически отвергает какое-либо обвинение в антисемитизме.

Поэт Орешин упоминает о своих революционных заслугах и также отвергает обвинение в антисемитизме.

— Да, я поскандалил, — говорит он, — но разве со мной это бывает ежедневно? Может быть, это и нужно было, чтоб этот случай стал для меня уроком.

Товарищеский суд затянулся до трех часов ночи. За поздним временем приговор не был вынесен и отложен до четверга». (Газета «Известия», № 284 от 12 декабря 1923 г.)

Как видим, усилиями друзей дело удалось направить совсем не в то русло, куда намеревался двинуть его Сосновский и иже с ним. Еврейская общественность выделила из своей среды порядочных людей, которые поднялись выше национальных амбиций. Несколько дней спустя в той же газете (№ 287 от 15 декабря 1923 г.) сообщалось:

«13 декабря в Доме Печати был оглашен приговор товарищеского суда по делу поэтов Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина. Товарищеский суд признал, что поведение поэтов в пивной носило характер антиобщественного дебоша, давшего повод сидевшему рядом с ними гр. Роткину истолковать этот скандал, как антисемитский поступок, и что на улице и в милиции эти поэты, будучи в состоянии опьянения, позволили себе выходки антисемитского характера. Ввиду этого товарищеский суд постановил объявить поэтам Есенину, Клычкову, Орешину и Ганину общественное порицание.

Обсудив вопрос о статье тов. Сосновского в № 264 «Рабочей Газеты», суд признал, что тов. Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных группировок. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов, и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность попрежнему продолжать свою литературную работу».

Вспоминая один из эпизодов последнего года жизни поэта, когда, задетый администрацией писательского клуба, Есенин сорвался на крик, Сокол замечает: «Говорил об этом, — об обидах своих, — долго и многословно, с болью, с надрывом. Но это не были пьяные жалобы. Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и наконец прорвавшееся скандалом. И прав был Есенин. Завидовали ему многие, ругали многие, смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье. Наружно вежливы, даже ласковы бывали с ним. За спиной клеветали. Есенин умел это чувствовать внутренним каким-то чутьем, умел прекрасно отличать друзей от «друзей», но бывал с ними любезен и вежлив, пока не срывался, пока не задевало его что-нибудь уж очень сильно. Тогда он учинял скандал. Тогда он крепко ругался, высказывал правду в глаза, — и долго после не мог успокоиться».

Одним из близких друзей, умевших поддержать Есенина в трудные моменты, был поэт Евгений Сокол. Это к нему (и не исключено, что в связи с тревожными событиями осени 1923 г.) адресована неопубликованная надпись Есенина, сделанная чернилами на листе бумаги:

За все,
что минуло —
целую в губы
Сокола милого.

Сергей Есенин
1924.

Воспоминания Сокола — инициатора сборника памяти поэта — были написаны за один присест: в ночь с 23 на 24 марта 1926 года. Четыре есенинских автографа, приводимые им в тексте, несомненно связаны с темой, волновавшей в одинаковой степени обоих:

Тех, кто ругает,
Всыпь им.
Милый Сокол,
Давай навеки
За Русь
Выпьем.

Сокол милый,
Люблю Русь —
Прости,
Но в этом
Я — шовинист.

Милому Соколу
Ростом не высокому,
Но с большой душой
Русской
И все прочее.

1924—4/2.

Три надписи на книгах, как указывает автор воспоминаний, и одна — в альбоме:

Милому Соколу
С любовью
Русской
великоросской
обязательно.

С. Есенин
Апрель 1924.

Поскольку воспоминания Е. Сокола с 1926 года не переиздавались, а тексты воспроизводимых автографов не сверялись с оригиналами, позднейшие исследователи творчества С. Есенина (и в частности В. Г. Белоусов) пользовались публикацией Сокола, как первоисточником. Между тем не все в этом первоисточнике соответствует истине. Так, вышеприведенная надпись сделана не в альбоме, а на обороте авантитула сборника «Голубень», 1918 года издания, химическим карандашом. На лицевой стороне авантитула, внизу, под издательской маркой «Революционный социализм» имеется владельческая надпись, сделанная зеленым карандашом: «Из книг Ев. Сокола. 1924 г.». Сам Сокол внес в черновик воспоминаний соответствующую поправку, но, очевидно, при перепечатке материала с рукописи поправка эта осталась незамеченной.

Автор воспоминаний не указывает даже на наличие подписи поэта под каждым из автографов, считая это само собой разумеющимся делом и просто не придавая значения «мелочам», важным для исследователя. Вне поля зрения Сокола оказался таким образом еще один есенинский автограф, хранящийся ныне в частном собрании. Он сделан на листе из блокнота в клеточку, фиолетовым карандашом:

Е. СОКОЛУ с любовью и верой.

Ах, какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.

С. Есенин

Внизу странички, рукой самого Е. Сокола, приписка чернилами: 1923 г., «Стойло Пегаса».

Не будем упрекать автора воспоминаний в неточностях, тем более что он и сам признается, что «к воспоминаниям знакомых покойного, конечно, нельзя предъявлять тех же требований, какие мы предъявляем к биографу».

Черновик рукописи воспоминаний, находящийся в частном собрании, немногим отличается от опубликованного текста, но, читая этот документ, видно, как нелегко давалось автору нужное слово, чувствуется, как много информации осталось за пределами взволнованной, рвущейся строки: «Воспоминания над только что засыпанной могилой, еще вчера нежданной, еще волнующей болезненно собой, еще не осознанной, как нечто необычное, непреложное в мире, воспоминания о человеке, которого еще трудно представить себе и так больно назвать покойником, вряд ли могут быть вполне бесстрастны».

Осенью 1925 года, когда Есенин поселился в квартире жены, Софьи Андреевны Толстой в Померанцевом переулке, поэты оказались соседями. Сокол жил на одной из близлежащих улиц. Они бывали друг у

друга, а кроме того, регулярно встречались в Доме Герцена на Тверском бульваре, где Сокол работал секретарем Литературной студии при Всероссийском Союзе поэтов. Он вспоминает эпизод в Доме Герцена, когда ему довелось читать свои стихи в присутствии Есенина: «Есенин слушал очень внимательно. Потом оперся подбородком на руки и уставился на меня пристально. И вдруг закричал, когда я кончил читать: — А, вот как Сокол пишет. Значит, ему больно, если он так пишет. А ведь вам никому не бывает больно. Вы не умеете, вы боитесь чувствовать боль...»

Стихотворение, прочитанное Соколом, не было вовсе безукоризненным с точки зрения формы, но не это было в данном случае главным для Есенина. Главное для него было — правда чувства, и отступления от нее он не прощал никому, даже близким своим друзьям.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство двух поэтов. Несомненно одно: яркое, запоминающееся имя — Евгений Сокол — было известно Есенину задолго до их первой встречи. Стихи молодого поэта появились в 1913 году в «Ежемесячном журнале», где позднее публиковался и сам Есенин. Летом 1917 года Есенин вместе с молодой женой Зинаидой Райх ненадолго приезжал в Орел, где в том же году вышла первая книга стихов Евгения Сокола «Триолеты и мадригалы».

Поскольку в Литературной энциклопедии никаких сведений об этом человеке нет, а те, что приводятся в есениноведческой литературе, крайне скудны, приведу некоторые биографические данные.

Евгений Григорьевич Соколов родился в 1893 году в городе Болхове Орловской губернии, в семье служащего. Стихи начал писать с 15 лет, печатался в «Орловском Вестнике». В 1913 г. на молодого поэта обратил внимание приехавший в Болхов поэт Саша Черный и порекомендовал стихи юноши в московский журнал «Оса». С этого времени имя Сокола начинает мелькать на страницах центральных журналов, рядом с именами будущих друзей и соратников Есенина — Сергея Клычкова, Александра Ширяевца...

В 1915 году Евгений Соколов так же, как и Сергей Есенин, был мобилизован. Находясь в рядах действующей армии, получил тяжелое ранение. Октябрьский переворот встретил в Орле, работал в Ревкоме, в Чека, участвовал в ликвидации мятежа Сухоносова на Орловщине... В 1918—19 гг. Соколов — секретарь Орловских Известий. В 1920 г. он возглавляет Губернское Правление Профсоюза Работников Искусств.

В 1923 г. поэт перебирается в Москву, сотрудничает в журнале «Безбожник», сходится с поэтами есенинского круга: Клычковым, Орешиным, Пименом Карповым. К этому времени Е. Сокол — автор поэтических сборников: «Поэма о Революции», «Русь», «Красные Набаты»... Революционным событиям в Орле посвящен сборник его рассказов, вышедший в Москве в 1928 году. — «По стопам отцов». В 30-е годы он много и плодотворно занимается переводами советских и зарубежных поэтов.

Жизнь Евгения Сокола трагически оборвалась в 1938 году, в период незаконных репрессий. Литературное наследие писателя практически не изучено, так же как не изучен и личный архив, оказавшийся распыленным. Между тем среди материалов архива могут оказаться интереснейшие документы, связанные с Есениным, материалы, могущие пролить свет на обстоятельства гибели великого национального поэта,— те, которые по известным причинам не были использованы Соколом при работе над воспоминаниями. На страницах его черновой тетради, в том месте, где он рассказывает о последней ночной беседе с Есениным, есть зачеркнутая фраза: «Остальных разговоров рассказывать не буду сейчас. А может быть и никогда...»

Как знать, не вернулся ли позднее Сокол к этой и другим встречам с поэтом?

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Россияне

Впервые публикуется полный текст начала статьи «Россияне», написанный Сергеем Есениным в конце ноября 1923 года. Статья была задумана как ответ Л. Сосновскому, выступившему в печати с клеветническим фельетоном «Испорченный праздник», который положил начало так называемому «Делу четырех поэтов».

Не было паскуднее и омерзительнее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.

Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы.

— Рр-расходись, — мол, — так твою так-то! Где это написано, чтоб собирались по вечерам и песни пели?!

Некоторые типы, находясь в такой блаженной одури и упоенные тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора.

Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией: Сосновский.

Маленький картофельный журналистик, пользующийся поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет все об одном и том же: что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению.

Частенько ему, как Видоку Фиглярину, удается натолкнуться на тот или иной факт, компрометирующий некоторые личности, но где же он нашел хоть один факт, компрометирующий т[ак] наз[ываемых] попутчиков? Все, что он вскрывает, он вскрывает о тех писателях, которые не имеют ничего общего с попутчиками.

В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что, признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева. Уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал Троцкий разных Безыменских, что пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других, но и их, кажется, «заехали» — как выражается Борис Волин, еще более кретинистый, чем Сосновский.

Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинула журнал, который наз[ывается] «На Посту»...

(Ноябрь—декабрь 1923 г.)

Послание «евангелисту» Демьяну Бедному

Я часто думаю, за что Его казнили?
За что Он жертвовал своею головой?
За то ль, что, враг суббот, — Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?

За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом Кесаря полны и свет и тень,
Он с горстью рыбаков из бедных деревень
За Кесарем признал лишь силу злата?

За то ли, что, себя на части раздробя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток,
И всех благословлял, мучительно любя, —
И маленьких детей, и грязных проституток?

Не знаю, я, Демьян, в евангелье твоем
Я не нашел правдивого ответа.
В нем много бойких слов... ах, как их много в нем...
Но слова нет достойного поэта.

Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.

Я не люблю религии раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба:
Я верю в знанье лишь и в силу человека...

Я знаю, что, стремясь по ложному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к Божественным пределам.

И все-таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,

Мне стало стыдно так, как будто я попал
В блевотину, изверженную спьяна.

Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий миф. Мы это понимаем,
Но все-таки нельзя ж, как годовалый пес,
На все и вся захлебываться лаем.

Христос, Сын плотника, когда-то был казнен...
Пусть это миф... Но все ж когда прохожий
Спросил Его: «Кто Ты?» Ему ответил Он:
«Сын человеческий», а не сказал: «Сын Божий».

Пусть — миф Христос, как мифом был Сократ,
Пусть не было Христа, как не было Сократа, —
Так что ж, от этого и надобно подряд
Плевать на все, что в человеке свято?

Ты испытал, Демьян, всего один арест.
И ты скулишь: «Ах, крест мне выпал лютый!»
А что, когда б тебе Голгофский дали крест
И чашу с едкою цикутой?

Хватило б у тебя величья до конца
В последний час, по их примеру тоже
Благословить весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало...
Разбойник был, Иуда был,
Тебя лишь только не хватало.

Ты сгустки крови у Креста
Копнул ноздрёй, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

Но ты свершил двойной тяжелый грех
Своим дешевым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И малый свой талант покрыл большим позором.

Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,
Небось злорадствуют «Российские кликуши»:
«Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай
Еще тарелочку Демьяновой ухи».

А русский мужичок, читая «Бедноту»,
Где образцовый стих печатался дуплетом,
Еще отчаянней потянется к Христу,
А коммунизму «мать» пошлет при этом.

Ю. МАМЛЕЕВ

О Есенине

О Есенине написано много, но тем не менее он не раскрыт даже наполовину. Разумеется, по всем общепринятым в литературной науке критериям, он — великий поэт, но суть, на мой взгляд, заключается в том, что, помимо обычных качеств, свойственных гениальному поэту, у Есенина есть еще одно качество, которое ставит его поэзию вне всяких мировых аналогий и стандартов.

И прежде чем «анализировать» поэзию Есенина, попытаемся каким-то образом определить это качество, то есть определить почти неопределимое. Реальность этого качества доказана совершенно фантастическим и вместе с тем глубинно особым воздействием поэзии Есенина. Это особое воздействие совершенно реально для большинства русских читателей. Но важно понять до конца философско-метафизическую основу этого воздействия, тем более часто довольствовались только эмоциями. Суть искусства заключается, об этом писал еще Толстой, в том, чтобы передать некий жизненный и духовный опыт. Таким образом, искусство на высшем своем уровне совершенно непрофессиональное дело, ибо может ли быть профессией сама жизнь («профессионально» только средство передачи)? Но то, что передал нам Есенин, на своем высшем уровне входит в сферу уже залитературную, в ту почти невыразимую тайную сферу, где властителем является, может быть, источник нашего русского бытия, или его самый тайный пласт.

Итак, это качество. Я глубоко убежден, что оно связано с тем, что поэзия Есенина вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой. Поэзия Есенина — это контакт с сокрытым миром изначальных качеств русской души и русского бытия[1]. Это введение в новый невидимый град Китеж, в град сокровенных пластов русского бытия. Вы, таким образом, входите в сокрытую сокровищницу собственной души, ибо русская душа и Россия метафизически одно и то же.

Как этого достигает Есенин конкретно, в плане слов, подтекста, интонации?

Прежде всего целый мир, вся стихия есенинских образов почти «автоматически» вызывает в русской душе то соприкосновение с сокровенно русским, о котором говорилось. Эта работа — не литературный анализ, а исключительно философский, но совершенно очевидно, что образы есенинской поэзии действуют именно в этом направлении. Как известно, символика есенинской поэзии глубочайшим образом связана с народом, с крестьянством, с Древней Русью, с православной символикой, уходящей в глубь веков. Необходимо обратить внимание также на моменты созерцания и медитации в есенинской поэзии. Объектом созерцания и медитации у Есенина часто является русская природа, причем в этом созерцании важен нередкий феномен удаления России, которая как волшебница уходит от всякой фиксации... Россия как бы не вмещается в мир, оставаясь при этом глубоко родной. Есенинская поэзия, несомненно, воздействует на исконно внутреннюю суть русской души, на ее изначальные истоки, с которыми ранее на другом уровне наиболее явно соприкасались народная песня и народная музыка.

В смысле средств воздействия определяющую роль играют не только есенинские звукообразы, но и интонации. Именно благодаря совершенно необыкновенным, чисто русским интонациям даже самая обычная строчка в есенинской поэзии превращается в прорыв русской стихии. Кажется, что это даже не поэзия в ее обычном смысле, а какая-то поэтическая хирургия на сердце, вскрывание его. Есенинская поэзия образует сложнейший комплекс образно-звуковых и интонационных систем, и переводить ее поэтому необычайно трудно, не говоря уже о трудностях метафизического порядка.

Но поэзия эта, вместе с тем, удивительно жива и конкретна и почти мгновенно вызывает духовную и эмоциональную реакцию. Конечно, она связана с образами и символикой русской природы и деревни (ведь Есенин писал, что он «последний поэт деревни»), секрет, однако, состоит в том, что вся эта символика русской природы и деревни, которая способствует вхождению в мир сокровенно русского, является выражением определенных и изначальных метафизических качеств русской души — и именно поэтому она, эта символика, таинственно безошибочно воздействует на любого русского человека, будь он самый закоренелый урбанист и городской житель, воздействует независимо от политических, философских и даже религиозных убеждений людей, от всего вообще, надо только быть русским духовно.

В действительности Есенин был только на одном уровне деревенским поэтом — на более глубоком уровне он был всерусским, национально-космическим поэтом, где национальное и космически-мировое были тождественны. Его образы деревни и русской природы отражают некое сокровенное состояние русской души. И разве сама русская природа не является очевидной манифестацией русской души? Разве в самой русской природе не заложены каким-то образом качества русской души: широта, беспредельность, нежность, грусть и т. д.?

Каждый, знакомый с духовной космологией, знает, насколько природа и даже космос связаны с человеческим сознанием — поэтому нет ничего удивительного в том, что русская земля и природа связаны с русским сознанием и душой самым глубочайшим и взаимным образом. Именно поэтому русский человек так нуждается в русской земле и, кроме того, сама эта земля является зеркалом его души и в то же время дает ему силы.

Поэтому деревенские образы Есенина имеют всемирно-русское значение: деревня как социально-бытовой космос может

---

[1] Вхождение в этот мир не означает контакт с чем-то только национальным, в банальном смысле этого слова, но с чем-то космологическим и духовно глубоким вообще, но это духовно-глубинное является одновременно тождественным национальному так, что между ними практически нет разницы. Это означает, что Есенин, писавший почти исключительно только о России, является одновременно и наряду, например, с Блоком, мировым поэтом, но таким образом, что это мировое не выражается через национальное, а полностью идентично ему.

исчезнуть в пост-индустриальную эпоху, но воздействие есенинской деревенской символики не может исчезнуть, ибо она непосредственно связана с реалиями изначальных уровней русской души.

Достойными примерами этого являются не только сложные стихотворения раннего Есенина, но и лирические стихи, например, посвященные сестре Есенина Шуре. Весь поток образов в этих маленьких поэмах («сгибшая надежда», «нежная дрожь», «калитка осеннего сада», «тоскующие куры», корова, теребящая «соломенную грусть», «васильковое слово» и т. д.) направлен на внутренний строй русской души. Действительно, при медитативном рассмотрении этих образов видно, что они выражают не только конкретную жизнь, но в то же время символизируют определенные состояния внутреннего русского бытия.

И хотя некоторые из этих образов имеют как будто бы чисто психологический подтекст, на самом деле — во многих случаях — их подлинный смысл несравненно более глубок, и поэтому они только внешне звучат как психологические реальности, а в действительности уходят в метафизическую сферу.

Если говорить не только о приведенных стихах, но и о есенинской поэзии в целом, то очевидно, что за ее образами и за ее символикой стоят такие реалии, как «безграничность», «тоска», «бесконечное пространство», «обездоленность», «тайна», «сказочность бытия России», «природа как сторона русской души», «нежность», «русская незавершенность, составляющая пространство для тайны и для грядущего», «грусть всего живого»... Все они вместе уходят в «макрокосм» русской души и являются отблеском подлинной ее сущности. Даже предметы русского быта в есенинской поэзии, благодаря их связи со всей остальной русскостью, становятся фактически внутренними символами и потому такими драгоценными. Здесь нет ничего незначительного, все бьет в самые древние тайники сознания.

Особый смысл во всех этих реалиях есенинской поэзии, несомненно, имеют тоска и обездоленность, лишенность, которые, как мы отмечали, носят не только социально-психологический, но главным образом метафизический характер. Эти, казалось бы, абсолютная лишенность и тоска на самом деле могут привести к позитивным результатам. Не останавливаясь на том, что слишком уходит в духовную космогонию, можно сразу отметить, что именно эта лишенность, обездоленность вызывают настоящий взрыв любви к России. Например:

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
Отчего так легко зарыдать.

Такая любовь проходит великим потоком по всей поэзии Есенина. Но о любви к России и о характере этой любви — в дальнейшем.

Сейчас важно отметить, что часто самые негативные и даже разрушительные образы и символы в русской литературе, как правило, скрывают в себе неожиданные светоносные начала. Это ясно видно на примере Достоевского и Есенина. Как тоска и лишенность у Есенина только усиливали любовь к России и к ее земле, так и космическое отчаяние Достоевского вело к познанию Света, к последнему отчаянному порыву к Богу.

Не странно также, что другой фундаментальный образ есенинской поэзии, образ «окаянной Руси», Руси тюрьмы, пьянства, бродяжничества и безумного удальства часто смотрится как своего рода «обратная сторона» святой Руси. При всей их противоположности они неотделимы в чем-то. Ибо ведь и святость, и «нездешность» проявляются в мире чаще всего не на фоне мелкого буржуазного благополучия... Любовь к России у Есенина носит совершенно особый характер. (И соответственно, такая же любовь возникает и у читателей.) Ее сила зависит именно от этого соприкосновения с какой-то глубочайшей сущностью России, о чем говорилось ранее. Хотя Россия и остается как бы неузнанной до конца, загадочной, и распознаваемыми остаются лишь ее проявления, тем не менее внутреннее соприкосновение с Россией вызывает у поэта прилив «сверхчеловеческой» любви к ней, которая явно выходит за границы естественной любви к родине. (И подобное, конечно, мы видим не только у Есенина — но у него в высшей степени.) Следовательно, Россию любят, как мы уже подчеркивали, не только потому, что она — Родина, но и по другой причине, именно в силу ее таинственного притяжения к себе, в силу ее метафизических качеств.

Следовательно, так важны, со всех точек зрения, русское самопознание, русскоискательство, духовное проникновение в Россию, и так важна русская литература, которая служит этому.

Кроме того, в этой беспредельной любви к России ключ к замечательному отрывку из Есенина.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Ибо здесь налицо не просто любовь к своему, к родному началу, но и связь с чем-то, чего нет на этой планете и что придает, следовательно, космологический и метафизический смысл любви к России («никакая Родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь»). Эта любовь настолько велика и необычна, что Есенин даже предпочитает Россию раю:

Если кликнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Словом, любовь к России не может быть заменена, компенсирована ничем вообще: ни предполагаемым будущим благополучием на этой планете, ни даже бытием в иных духовно-космических сферах.

Конечно, такая любовь, которая проявлена и в русской литературе, и в русской истории, не может быть объяснена обычной любовью к Родине. Для того, чтобы ее понять, надо понять сам объект любви: Россию, русскую землю, русскую душу, ибо все это в общем единое.

В конечном итоге, перед лицом есенинской поэзии вы как бы теряете все критерии, вступая в иной пласт поэтической реальности. Пожалуй, только два творца в русской литературе — Есенин и Достоевский — достигли того предела, который сводил с ума (почти в буквальном смысле слова) некоторых читателей. Это, разумеется, не литературный и даже не философский критерий, но во всяком случае критерий «необычности» воздействия на уже неуправляемые бездны души.

Это сравнение — Есенин и Достоевский — несомненно, нуждается в дальнейшем углублении. На первый взгляд это странное сравнение, но на самом деле, наш величайший писатель-урбанист, певец Петербурга, надломов и взлета городских душ, и наш величайший поэт деревни родственны друг другу. Это две стороны одной и той же медали, имя которой — русская душа. Как в том, так и в другом случае мы видим предельную, чисто русскую искренность и обнаженность, ведущую в конечном итоге к феномену полного неотчуждения, — неотчужденно не только от читателя, но и главное, от первоначального источника от самого источника жизни бытия.

Правда, такая неотчужденность — свойство русской культуры вообще, но своего предела она достигает именно в творчестве Есенина и Достоевского. Самый великий русский урбанист и самый великий русский деревенщик соединяются в своих глубинах... Но когда речь идет о Есенине, вы переживаете такое полное погружение в вашу собственную сущность, что вы оказываетесь на другом, еще неизвестном берегу поэзии...

«Прощай, сказка», — кажется, сказала о Есенине какая-то женщина, которая увидела его мертвым во время похорон. Но сказкой, то есть чудом, является в данном случае русская душа.

У Достоевского все бездны, которые он изобразил, и есть откровение этого чуда, т. е. русской души. Он подошел к ней с иной стороны, чем Есенин. Но ясно, насколько это переплетено, связано во единое.

До некоторой степени, обычный анализ бессилен, когда речь идет о поэзии Есенина, ибо он упускает главное. Это уникальный случай в мировой поэзии. Сравнивать поэзию Есенина можно не с поэзией других, а с последними предсмертными словами... Хотя это и великая поэзия, но это и нечто большее, как сама рана больше здоровья, ибо в ране есть и боль, и остаток здоровья, а в здоровье нет боли.

Тайна есенинской поэзии не только в ее образах и в ее интонациях — но и в том, что в ней заложен намек на то, чего нет и не может быть в словах. Стихи Есенина выводят к истокам, где уже язык бессилен, и наступает власть великого молчания («я молчанью у звезд учусь»).

Помню, как-то после лекции в начале 80-х годов я сказал два-три слова о России моим слушателям, и вдруг меня поразило высказывание одного из них, англичанина. Он сказал приблизительно следующее: «Самое удивительное в русских то, что они задают, притом с такой страстью и с таким интересом, вопрос самим себе: что такое Россия? У нас никто не задает себе вопрос, что такое Англия. Это звучало бы полным абсурдом. Все знают, что Англия — просто страна с парламентом».

Через всю русскую патриотическую лирику проходит восприятие России как страны фантастической, как страны чудес, как страны невидимого града Китежа [2]. Клюев пишет: «И страна моя, белая Индия, преисполнена тайн и чудес». У Есенина мы читаем:

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль.

Есенин знал народную культуру в такой степени, в какой сейчас ее не знает никто. Удивительным образом он сочетал в себе видение России, в котором фантастическое и реальное соединялись воедино. Это было возможно потому, что в действительности эта «фантастическая» Россия, о которой говорилось выше, отнюдь не была фантастической. Она содержалась как некое внутреннее зерно в любом самом обычном русском проявлении.

Надо было только уметь это видеть, видеть даже в «шепоте» ковыля.

Тем более это можно видеть в русской душе. Как писал современный русский неофициальный поэт:

Русь, ты где? Потаенным эхом
С колоколен пустых гудет:
Ныне я слита с человеком
И незрима для тех, кто скот.

---

[2] Русская классика, при всем ее мировом уровне, включает в себя в лице национальных русских гениев таких, например, как Блок, Есенин, Андрей Платонов, еще и надмировой, русский уровень, уровень распознавания тайны самой России, и потому к их обычному универсальному гению прибавляется еще таинственный гений русской души, что и делает русских писателей, особенно это видно у Достоевского и Есенина, как бы писателями вдвойне: писателями мира сего и писателями России, России, в которую не вмещается этот мир.

Материалы подборки «Есенинская тетрадь» подготовил к публикации Сергей ВОЛКОВ.

Отечественный архив

ПАВЕЛ ШИРМАКОВ

КРОВЬЮ СЕРДЦА

Петроград середины осени 1917 года. Острая нехватка продовольствия, топлива. Бастуют заводы. Доверие к Временному правительству падает, растет недовольство, апатия. Распространяются всевозможные слухи, среди них — слух о готовящемся вооруженном восстании рабочих.

В Мариинском дворце заседает Временный совет республики — попытка «верхов» овладеть положением. Газеты заполнены взаимной перепалкой. Многочисленные союзы, ассоциации, лиги теряют былую популярность, близки к развалу. Увеселительные заведения, театры с пошлым репертуаром переполнены. На Невском и Литейном бросаются в глаза афиши «Ордена звезды на Востоке», лекций «Сатана и сатанизм», «Бессмертие и страшный суд», «Эволюция духа и пришествие учителей». В. И. Вернадский записывает в дневнике: «Атмосфера тревожная, как будто накануне гражданской войны»[1].

10(23) октября в Петрограде вышел первый номер новой, по-столичному солидной газеты «Вольность». Сотрудничали в ней А. Амфитеатров (он же редактор), А. Куприн, Н. Потапенко, С. Подьячев, П. Пильский, А. Грин и др. Буквально в преддверии Октябрьской революции, за неделю до нее, в «Вольности» с очерком «Горящая Россия» выступил И. С. Соколов-Микитов.

Небезынтересна предыстория очерка. В конце июля 1917 года известная общественная деятельница, член ЦК кадетской партии (партия народной свободы), писательница А. В. Тыркова-Вильямс предложила Соколову-Микитову написать книгу или брошюру о современном положении в стране. В основу книги должны были лечь материалы почты Государственной думы (письма и жалобы с мест, отчеты низовых учреждений и т. п.). Соколов-Микитов согласился и приступил к ознакомлению с предоставленными в его распоряжение материалами. Он писал в Берестовец А. М. Ремизову 30 июля: «Подходят голодные дни. Через два месяца в Петербурге все решится. Думаю о вас и такое решаю: лучше не приезжайте.

Работаю в Думе. Поручили мне из отчетов всяких составлять книжку о России в смутные дни. Работы и на сентябрь хватит»[2].

Симптоматично, что окончание работы над «книжкой о России в смутные дни» и предчувствие взрывоопасных перемен «через два месяца» у Соколова-Микитова по срокам совпадают. Как автор он, естественно, стремился опередить эти перемены, активно вмешаться в них. На это же подталкивали его и думские материалы — настолько оказались они жгучими и остросовременными. Верх взяло желание распорядиться ими по-своему, не так, как рассчитывала Тыркова-Вильямс. Вместо предполагаемой брошюры или книжки он пишет очерк «Горящая Россия» — произведение более мобильное и оперативное по своему жанру.

Это качество, при некоторой литературной неумелости и разбросанности, естественных для начинающего автора, выделяет «Горящую Россию» Соколова-Микитова среди публикаций того времени, придает ей свежесть, убедительность и силу. Более того — позволяет сделать ряд смелых, далеко идущих обобщений, не утративших актуальности и в наши дни.

«Горящая Россия» — это гневный обвинительный акт в адрес Временного правительства и одновременно — так уж распорядилась история — скорбный итог восьмимесячному его правлению. Русское общество, утверждает автор очерка, стоит на краю пропасти, накануне новых, еще более крутых потрясений и бедствий, рушатся, если не разрушены окончательно, устои народной жизни, нравственно-этические ее начала.

«Горящая Россия» предельно документальна. Документальная достоверность соединена в ней со страстностью публициста, что роднит очерк Соколова-Микитова с такими на первый взгляд не схожими друг с другом произведениями, как «Слово о погибели Русской земли» А. Ремизова и дневниковая книга И. Бунина «Окаянные дни». Есть в них и другое, что объединяет их, — резкое неприятие происходящих событий, озабоченность и тревога за судьбы страны и народа.

«Слово о погибели Русской земли» А. М. Ремизова заслуживает особого разговора, как бесспорно значительное явление русской словесности.

---

[1] Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981, с. 288.

[2] И. С. Соколов-Микитов. Собрание сочинений в 4-х томах, т. 4. Л.: «Художественная литература», 1987, с. 274

Прежде всего — об одном казусе, произошедшем со «Словом».

Во всех обзорах, посвященных литературе первых лет Советской власти или отдельно Ремизову, «Слово» рассматривается как антисоветское произведение. Ходячим стало суждение, сформулированное в Краткой литературной энциклопедии: Ремизов, говорится в ней, «враждебно встретив Октябрьскую революцию (см. его «Слово о погибели Русской земли», 1918), эмигрировал из Сов. России (1921)»[3]. Основанием для такого утверждения служит тот факт, что «Слово» было опубликовано, как обозначено в библиографических справочниках, во 2-м сборнике «Скифы», то есть почти год спустя после установления Советской власти, стало быть, и написано тоже в советское время, — отсюда соответствующие оценка и анализ.

Существует, однако, и иная оценка «Слова о погибели Русской земли», исходящая из противоположного лагеря. Принадлежит она небезызвестному А. Ф. Керенскому. Приемный сын художника И. Я. Билибина М. Н. Потоцкий рассказывал мне, что когда в доме его отчима в Париже встречались Ремизов и Керенский, то последний нередко с обидой упрекал Ремизова за то, что он написал «Слово» якобы против него, Керенского, сыграв на руку большевикам. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что Керенский не так уж далек от истины.

Дело в том, что впервые «Слово о погибели Русской земли» опубликовано было не в «Скифах», а в 1917 году, в предноворогоднем еженедельнике «Россия в слове», литературном приложении к газете «Воля народа» (№ 206, от 31 декабря), редактируемом М. М. Пришвиным. Кстати, вместе с «Соловьиным садом» А. Блока. Под публикацией стоит дата окончания «Слова» — 24 октября.

Этот сдвиг аз одного исторического времени в другое существенно меняет наше отношение к «Слову», осмысление его образной системы, общественно-литературной его направленности.

Другой вопрос — почему рожденное в атмосфере Февральской революции «Слово» с его скорбью, тревогой и надеждой Ремизов считает важным дважды опубликовать в советское время? Однозначного ответа здесь тоже нет. Очевидно одно: послеоктябрьская действительность внушала ему не меньшие, если не большие опасения за судьбу своей Родины.

---

[3] Краткая литературная энциклопедия, т. 6. Изд-во «Советская энциклопедия». М., 1971, столбец 253.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

I

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, вспомянуть невозможно, вижу тебя, оставляешь свет жизни, в огне поверженная.

Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.

Были казни, была и милость.

Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.

Где нынче подвиг? Где жертва?

Гарь и гик обезьяний.

Было унижение, была и победа.

Безумный ездок, хочешь за море прыгнуть в желтых туманах гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень, — над Невою, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне и в явь.

Брат мой безумный — несчастлив час! — твоя Россия погибла.

Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоем, где гниет палый лист: Россия моя загибла.

Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна: как ниточка, — поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпелось братнино его иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси — Последней Руси бесстрашных вольных костров?

Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он любил в проклятом грехе своем свою мать Россию, сложил песни неизбывные: «У Троицы у Сергия было под Москвою...»

Или другую — на костер пойдешь с этой песней: «Не шуми, мати, зеленая дубровушка...»

II

Широка раздольная Русь моя, вижу твой краснозвонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья, а не вестить мне серебряный ясак, не звонить красный звон.

Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира всего, всей земли?

Один слышу обезьяний гик.

Ты горишь — запылала Русь — головни летят.

А до века было так: было уверено — стоишь и стоять тебе, Русь широкая и раздольная, неколебимою во всей нужде, во всех страстях.

И покрой твое тело короста шелудивая, буйный ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над лесами своими дремучими, над степью ковылевою, взбулыливою.

Так пошло, так думали, и такая крепла вера в тебя.

Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жены и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.

Ныне в сердцевине подточилась Русь.

Вожди слепые, что вы наделали?

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского.

И вот слышу обезьяний гик.

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься!

Русь моя, земля русская, родина беззащитная, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена горишь!

III

О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя багряница царская упала с плеч твоих.

За какой грех или за какую смертную вину?

За то ли, что клятву свою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю, или за кровь, пролитую на братских полях, или за кривду — сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: «нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, затоптанная, когда пинают и глумятся над святыней твоей, ты и ныне безгласна.

Безумное молчание верных сынов твоих вопиет к Богу, как смертный грех.

О, моя родина поверженная, ты руки свои простираешь.

Или тебя посетил гнев Божий — Бог послал на тебя меч свой?

О, моя родина бессчастная, твоя беда, твое разорение, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду свою — не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят душу твою.

Скажу тебе со всей болью моей — не лиха, только добра и тишины я желаю тебе — духа нет у меня: что я скажу в защиту народа моего! И стыдно мне — я русский, сын русского.

О, моя родина горемычная, мать моя униженная.

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным.

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою.

«Я не русский, нет правды на русской земле!»

Но теперь — нет, я не оставлю тебя и в грехе твоем, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя — я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На звезды твои молчаливые я смотрел из колыбели своей слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь твоих, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе уборы драгоценные, чтобы стала ты светлее и радостней. Из твоих же камней самоцветных, из жемчуга — слов твоих, я низал белую рясну на твою нежную грудь.

О родина моя обреченная, покаранная, жестокой милостью наделенная ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зеленой, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твои стоны, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься в моем сердце.

Ты канешь на дно светлая.

О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная!

Сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет? Я душу сохраню мою русскую с верой в правду твою страдную, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое, речь твоя будут жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесеньи.

IV

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? — Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Злоба кипит в душе, кипит бессильная: ведь полжизни сгорело из-за той России, которая обратилась теперь в ничто, а могла бы быть всем.

Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия.

Опостылела бездеятельность людская, похвальба, залетное пустое слово.

Скорбь моя беспредельная.

Нет веры в России, нет больше церкви, это ли церковь, где восхваляют временное?

И время пропало, нет его, кончилось время.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло.

И из бездны подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда над головой его с семью лучами, и страшен он.

— Погибни во имя мое!

И нет спасения свыше.

Злость моя лютая.

И тянется замкнутая слепая душа, немыми руками тянется в беспредельность.

И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы.

Ничто не избежит гибели.

О, если бы избежать ее!

Каждый сам в одиночку несет бремя проклятия своего — души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.

Тьма вверху и внизу.

И свилось небо, как свиток.

И нету Бога.

Скрылся Он в свитке со звездами и с солнцем и луною.

Черная бездна разверзлась вверху и внизу.

И дьявол потерял смысл бытия своего, повис на осине Иуды.

А все зачем-то еще живут.

И чем громче кричит человек тем страшнее ему.

Как дети они, потерявшие мать.

И не понимают той скорби, которая дана им.

Скоро настанет последний час, скоро пробьет он.

Без четверти двенадцать.

Слышите! Нет ничего, ни Кремля, ни России — ровь и гладь.

Приходи и строй! Приходи, кому охота, и делай дело свое — воздвигай новую Россию, на месте горелом.

А про старое, про бывалое — забудь.

Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего не найти.

Единый конец без конца.

V

Русский народ, что ты сделал?

Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз.

Поверил.

Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся.

Землю ты свою забыл колыбельную.

Где Россия твоя?

Пусто место.

Русский народ, это грех твой непрощаемый.

И где совесть твоя, где мудрость, где крест твой?

Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины, молился святой Руси.

Теперь, презираем со всем народом, несу кару, жалок, нищ и наг.

Не смею глаз поднять.

— Господи, что я сделал!

И одно утешение, одна надежда, буду терпеливо нести бремя дней моих, очищу сердце мое и ум мой помутнелый и, если суждено, восстану в Светлый день.

Русский народ, настанет Светлый день.

Слышишь храп коня?

Безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из желтых туманов, он сокрушил старую Русь, он подымет и новую, новую и свободную из пропада.

Слышу трепет крыльев над головой моей.

Это новая Русь, прекрасная и вольная, царевна моя.

Русский народ, верь, настанет Светлый день.

VI

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях, стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность, в черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть.

Поймите, жизнь наша тянется через силу.

Остановитесь же, вымойте руки — они в крови, и лицо — оно в дыму пороха!

Земля ушла, отодвинулась.

Земля уходит.

Лечу в запредельности.

На трех китах жила земля. Был беспорядок, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали.

Все перепуталось.

Лечу в запредельности.

Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный — кто это может? И остается упасть червем и ползти.

Обгоняю аэропланы.

Стук мотора стучит в ушах.

Закукарекал бы, да головы нет: давно оттяпана!

Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле, это проклятие.

И это проклятие — удел мой.

VII

Все разорено, пусто место, остался стол — во весь рост человечий велик сделан.

Обнаглелые жадно с обезьяньим гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь — прощальный, поминальный пирог.

И рвут, и глотают, и давятся.

И с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли. И норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую русскую землю.

Ве-е-еч-на-ая па-а-мять.

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

ГОРЯЩАЯ РОССИЯ

1

По письмам, лежащим сейчас предо мною, нелегко изобразить зыбкую линию хода революции, думаю, невозможно. Слишком неодинаково понимали люди смену событий. В письмах слишком много субъективного.

Пишет юнкер, поехавший на пасхальные каникулы в свой уезд: «все хорошо, люди хорошие, всем все довольны». Юнкеру 18 лет. Ему ли нет свободы, когда теплеет и тужится мать-земля, горит апрельское солнце и прет весна пестрорядная!.. Юнкеру вольно и весело, и просторно, а чарующий всплеск словесный кажется ему самой настоящей святой свободой. «Люди точно из погребов на свет вышли», — пишет юноша-юнкер.

И только в конце письма не идущая к настроению письма фраза: «Страшно подумать, как будут устраиваться: во всем селе двое грамотных, да и те из прежних, — некому инструкцию прочесть».

Горит Россия! — вот смысл и содержание огромного большинства писем, — горит Россия, голодная в своих бескрайних полях, убитая, темная, обманутая, стосковавшаяся по миру, и не мир, — кровь, насилие, запродажность оплели ее красным «горит!».

Не всегда пишут безнадежное. Человек без надежды не живет. Выискивают бодрящее, ищут крепь и спасительное дело. Чем ближе к марту — обнадежнее, к августу все больше в письмах унылого, вера пропала.

В письмах хорошо видно, как Россия раскололась надвое, на город и деревню, на многоязыкий Петроград, озабоченный интернационалом, и захудалое село Ивановку, взбаламученное заезжим молодцом и воплотившее революцию в земельный перекрой. Мир миру! — надрывается город. Земли! — требует деревня.

«Все интересы, не только национальные, но и политические, отступают на второй план перед одним всезахватывающим вопросом — о земле», — пишет интеллигент из деревни.

— Земли! Земли! — проносится над горящей Россией, врывается в окопы, и оттуда бегут на «дележ». И, не найдя посуленной земли, спускают с себя всю казну: вся деревня в солдатских сапогах и рубахах щеголяет — «все едино, зимой воевать не придется!»

2

«Земельный вопль» заглушил слезы и думы о войне. Забыли все, отложили все.

Собственно, крестьяне опередили ленинцев: фактически вся частновладельческая земля ими захвачена. Конечно, помимо всяких комитетов. Каждая деревня считает своей собственностью то, что лежит ближе. Деревни запрещают частновладельцам рубить лес только против своих участков и не препятствуют, если рубка производится в другом конце имения. Только животный инстинкт самосохранения удерживает крестьян от немедленного дележа. Все же резолюции об ожидании Учредительного собрания — дым!

— Учредительного собрания не будет, а если и будет, — разгонят! — подслушал корреспондент разговор в сельском трактире.

Секрет кажущегося успеха эсеров в одном слове: «земля». На деле земельный вопрос решается: «как бы побольше!» Ждут, что земли не отгребешься.

«Я наблюдал, — пишет делегат, — первый маленький опыт «социализации». Производилась реквизиция хлебных излишков. Хлеб отбирался у имущих и тут же распределялся между беднейшими. Накануне реквизиции крестьяне с большой похвалой отзывались о применяемых мерах для борьбы с грозящей голодухой. Так было на словах, иное вышло на деле. Представителей волостных Советов встретили с дубьем и оружием. Легко совладать с солдатками. Их просто поотпихнули. Труднее было с вооруженными мужиками. Стоя у порогов своих клетей, они заявляли:

— Не отдадим, хоть убейте! Денег нам не надо, деньги теперь — тряпки, из них и рубахи не сошьешь.

В волость, а потом и в город посыпались бесконечные жалобы. Больше всего удивляло почти единогласное требование повысить плату за реквизируемый хлеб.

— Позвольте, — возражали жалобщикам, — ведь хлеб отбирается у богатых и отдается неимущим. Разве справедливо увеличивать цену?

Недоумение разрешилось самым неожиданным образом. В волости чрезвычайно распространено винокурение. Почти нет овина, где бы не был налажен маленький завод. Водка гонится из хлеба. Пуд зерна дает четверть водки, это — 60 рублей по городским ценам. Не многие удержались от соблазна. В результате бесхлебными оказались те, кто хлеб перегнал на водку. У тех же, кто хлеб сберег, его отбирают и отдают винокурам. Понятно, что реквизиция не могла пойти гладко.

3

Свобода досталась слишком рано.

«Здесь в деревне еще во многих местах висят портреты Николая II-го, многие молятся за царя-батюшку, а на улицах столицы кричат о революции всего мира». Корреспондент делает вывод: «если обстоятельства не изменятся, то даже осуществление демократической республики невозможно: население тоскует по власти, а его резолюциями, резолюциями».

Общая жалоба на совершенную заброшенность деревни.

Деревня поздно узнала о перевороте, а когда узнала, переиначила на свой лад. Немногие интеллигентные силы, учительницы и учителя, оказались вне русла и редко кто удержался в руководящей роли.

Открылась беда, страшнее всякого голода, мора и проказы — безлюдье.

Нет людей! — вопят в письмах.

В городе нет людей, способных наладить и вести дело.

В деревне просто нет грамотных, чтобы прочесть и растолковать бумажку, записать протокол.

Нет честных людей! — вот подлинный ужас смутных дней: «лаптей не снимай — схапают».

В сельском потолкуе оратор-«большевик» неожиданно заявил: «Да все мы, братцы, воры, ну кто из нас не украл?» — «Правильно!» — отвечают из толпы.

В одной из волостей Дорогобужского уезда крестьяне, поехавшие на станцию за хлебом для волостного населения, хлеба не привезли: кто вез, тот на двор к себе завез.

За хлебом, известно, поехал тот, у кого и кобыла покрепче, и воз ладный, и лишние руки, т. е. сытые, а бедным посул остался. Кого обокрали?

Нет взаимного доверия: отец не верит сыну.

Людей, кому могла бы довериться деревня, нет. В волостные комитеты прошли заведомые воры и прохвосты.

— Вы что же такого выбрали? — спрашивает учитель у крестьянина, откровенно заявившего, что его деревня послала в комитет жулика.

— А нам, — посмеивается, — такой и нужен. Не побоится кишки выпустить.

4

Значение комитетов и съездов исключительно говорильное и запугивающее, доверия же и подчинения нет. Кровные вопросы решает поголовное вече.

«Так называемые съезды, — пишет делегат, — не крестьянские. Резолюции, требования, присылаемые в Петроград, состряпаны самозванцами и заезжими молодцами. Видно из того, что в общественной жизни и работе участвует ничтожное меньшинство (на поголовное волостное собрание от 10 тысяч приходит человек 80—100). 90 процентов крестьян участия в выборах и постановлениях не принимает».

Выборным деревня не доверяет. Они могут говорить, но не решать.

«Как же в деревне пройдут выборы в Учредительное собрание? — задает вопрос корреспондент, — приедут неведомые со списками неведомых лиц, будут обещать, обещать... Насильно потащат к урнам. Избирателям придется голосовать за тех, кого в глаза никогда не видали и слыхом не слыхивали. Выборы получатся насильственные, и Учредительное собрание может оказаться не народным. Его будут терпеть, пока от разговоров оно не перейдет к действию...»

Нужно вече, поголовное вече от всей земли и городов. Такое скликать невозможно. А если невозможно, то вопрос об устроении государства решится сам собой.

Массе нужна не республика — нужен хлеб и мир, получит ли она их от революции? Если не получит, то придет разочарование, а с ним реакция. Это будет хуже всякой революции.

«Контрреволюция невозможна, потому что не было революции. Под революцией понимаю не только естественный развал старого, но и народное творчество, взрыв гнева народного, опрокинувшего боль, и страстное желание строительства. Ничего такого не было: Россия осталась прежней, убрали лишь урядников и сели заседать Советы. Революции не было. Была и есть война. Война, в которой победили немцы».

5

Самый страшный «контрреволюционер» — голод, грозящий стране.

Ни крестьянству, ни торговцам неизвестна сущность хлебной монополии:

«Приезжал какой-то солдат-«делегат» и объявил, что Временное правительство закон издает забрать хлеб и только по 10 фунтов на душу оставить».

Везти хлеб в большом количестве к станциям и пристаням по твердой цене отказываются категорически. По Казанской губернии твердая цена была 2 р. 32 к. Себестоимость при расходе на десятину 150 руб. при среднем уровне в 60 пуд. — 2 руб. 50 коп., т. е. на 18 коп. выше твердой цены. Нередко наблюдались отказы выбирать продовольственный комитет из боязни хлебной реквизиции.

Кронштадтского матроса-большевика называют кронштадтским чиновником, он реквизирует у торговцев хлеб, разрешает всем желающим рубить в казенном лесу.

На фоне пожарища движется и растет тень погромщика пятого года. Кронштадтский большевик сливается с темной исподней силой, не понять, где же большевик, а где черная сотия.

Гик, хохот заглушают треск пожара. Из огня, поплевывая, выползает старый знакомец — зеленый змий. Где же слезы? Кто горюет и плачет о России?

Ходит по земле «горлан-петух», шапка у него козырем, из-под шапки на узкий лоб высыпались колечки соломенно-желтых волос. Глаза на самого Господа Бога не смигнут.

Простор ему и удобство.

«На руднике идет митинг, — пишет женщина, — большевик Михаил читает о материнстве. Тут и производство детей, и «гетеры» с неверным ударением на слове, и много комичного и грустного еще. Аудитория кричит — не хотим его, хотим женщину!..»

Все тихое, все русское — перед бедою ли! — заинебытилось. И гуляет «горлан»...

«Во всякой волости непременно два-три «петуха» из своих, заведомые воры, пья-

ницы, нередко бывшие полицейские и беглые арестанты».

Любой жулик смышленее рядового мужика, к нему, «пострадавшему», голому, у крестьянина жалость, и сидит жулик во всяких комитетах, избранный за язык, отвагу и голоштанство.

Скользкие на язык, нахальные, — им Божий свет, что кумов двор.

Деревня набита дезертирами. Нередко старики и рады бы изгнать, но, терроризированные бандой здоровых, сильных людей, боятся пикнуть.

Солдат-дезертир берет на себя роль проповедника-агитатора.

«Я сам, — объявляет он, ничуть не смущаясь, — самолично говорил с Керенским, и Керенский сказал, что никакого наступления не надо!»

И тут же, одобренный молчаливым вниманием слушателей, заявляет с волостного крыльца:

«Никакой демократической республики быть не должно, а будет Учредительное собрание наших солдатских депутатов!»

Власти нет, суда нет: все показное и бумажное и прочно, как бумажное, — нет правды.

К отрубщице-солдатке пришел сосед, отобрал землю, запахал и засеял. Баба ходила жаловаться и в волость, и в город, и нигде концов не нашла.

— Ну что, выходила себе правду? — встретил ее захватчик. — Плевать я хочу на твое начальство, я сам теперь первое начальство!

«Мало-помалу растет тоска по твердой власти, — пишет сельский учитель, — по палке, о которой спина уже чешется. Не знаю, как у вас в городе, а тут мне иногда до очевидности, до ужаса становится ясно, что свобода уже погибла и абсолютизм неизбежен».

Был бы задворок, а крапива вырастет...

«Я РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ...»

Пимен Иванович Карпов родился 6 августа 1884 года в селе Турки Рыльского уезда Курской губернии в старообрядческой семье. Автор книг «Говор зорь», «Пламень» (был конфискован цензурой и почти полностью уничтожен), «Трубный голос», сборников стихов «Звездь» и «Русский ковчег».

В 1933 году была издана книга «Верхом на солнце» — небольшая часть автобиографического романа «Из глубины». 1-й том которого вышел в свет через 23 года — в 1956 году. За эти годы ни одной строчки Пимена Карпова в печати не появилось.

Пимен Иванович Карпов скончался 27 мая 1963 г. в Москве.

Публикуемые на этих страницах письма Пимена Карпова адресованы его другу книжному работнику и библиофилу Александру Борисовичу Рудневу (настоящее имя — Петр Алексеевич Малышев) (1892—1942) и его жене Ольге Николаевне. Хранятся в частном собрании.

По этим письмам читатель может представить себе положение, в каком оказался Пимен Карпов к середине 20-х гг., ощутить атмосферу постоянного преследования русского писателя, в котором приняли участие и братья-литераторы, вплоть до того, что книга, подписанная именем Карпова, не могла увидеть света. И это лишь один из примеров «благожелательного обращения» с писателями — выходцами из народа в «вегетарианские» 20-е годы.

* * *

16/II-922

Дорогой друг

Привет тебе и Оль-Оль!

Я пережил тут целую тррррагедию! Какие-то дураки выдумали, будто я и т. д. (Может они, т. е. дураки, читают уже это письмо — пусть, дуракам закон не писан). Так вот, едва только я приехал в Рыльск, оттуда домой, чтоб заняться работой над книгой, — вдруг узнаю, что дома у меня и у моих знакомых был обыск, что меня хотели арестовать, а за что — черт их знает! Перепугали старуху мать, она упала в обморок, лежала без чувств (*вымарано*) и с тех пор она — в постели, и сейчас не встает. Всю семью мою разорили. Я хотел было ехать обратно в Москву, просить Дивилковского, Каменева и др. о защите, потом махнул рукой. В случае чего, дам телеграмму Воронскому. Решил писать большой роман: черт возьми, ведь я же в собственном государстве, живу на родине, на родной земле, каждую пядь которой отстаивали мои предки, чьи могилы безмолвно свидетельствуют об этом, — я русский писатель, сделавший вклад в сокровищницу русской культуры, — чего же мне бояться? А на политику я давно наплевал.

Ты там, друг мой, пожури Воронского, а при случае и других — зачем меня терзают? Ведь это же скандал в бла-родном семействе: преследуют «писателя-пролетария, вышедшего из низин» и т. д., и ухаживают за каким-нибудь Вандервелпом, Урквартом, вообще — за целой оравой капиталистов, становясь перед ними на задние лапки. Нехорошо!

Письмо твое получил. А вот журнала и статьи — не получал. Присылай и не думай, чтобы пропали на почте, — повторяю, я дам тогда телеграмму Воронскому, Енукидзе, Каменеву, а те сделают дуракам нахлобучку. Мы делаем литературное дело, мы сотрудничаем в советских изданиях, мы лояльно исполняем все обязанности граждан Советской республики, а как писатели даже не имеем права рассчитывать на некоторое предупредительное отношение к себе. Так ты шли, друг, кое-какие новинки, шли статьи, и я сейчас же возвращу по почте. Только, пожалуйста, не забудь приклеивать марки, вдвое приходится платить. Нащет «Трех Зорь» напиши.

Жду почты. Твой ПК.

P. S. Здесь, в селе Карнже, живет Вадим Чайкин (автор «Казни 26 бакинских комиссаров») — собираюсь к нему.

Вот что, друг мой, если увидишь в Союзе писателей Лидина, спроси у него альманах «Московская земля» (вымарано *«если»*) вышел, пусть он даст один экземпляр для меня. Ты тогда вышли. Также, если встретишь в «Красной Ниве» рассказ мой — вышли, т. е. если рассказ напечатан. Также и другие новинки. Что ты дуешься за книги? Ты ведь знаешь, я ехал в медвежий угол, где без книги можно издохнуть, значит, должно посочувствовать и не пилить. Дай-ка вот закончу адский роман — узнаешь тогда, что твой друг заслуживает лучшей участи.

ПК

14/V-922. Турка Рыльского уезда

Дорогой Алеко, что же ты ничего не пишешь, ты ведь знаешь, что в деревне весть из «столицы» — как манна небесная. А тем больше — для меня, которого «прищемили» там (т. е. в пресловутой столице). Впрочем, черт с ней, со звероры-лой Москвой, ты о новостях литературных черкни — их в Питере больше, чем в Москве, а ведь Ваши ездят в Питер, гумовские-то. И нащет ущемления моего не забудь подробно сматевировать, то бишь разъяснить, все ли благополучно? Как Михаил Павлович? Как «Звездь»? Почему он не высылает книжки? И обо всем таком-прочем — излагай подробно, а если нужно, — то и матевируй, я отнюдь не против.

Ну, брат, на бедного Макара — все шишки валятся: в дороге измучился, в сердце московские кошки (вернее, лебеде-подлянские) скребут, а приехал домой — гора бед: хозяйство ликвидировали волки и лисицы (волки съели овец и свинью кормную, а лисицы — всех кур), — дело было еще зимой; теперь доедаем хлеб, на который и соли достаем, и спичек, и мыла: все хворают (домашние), скулят, плачут — чисто жидовский плач на реках вавилонских. Один я не унываю, это с кошками-то в сердце и с коховскими палочками в легких, и с ревматизмом в ногах. Веселюсь — была не была, авось шишкам надоест валиться на бедного Макара. Хоть пчелы и дохнут.

Смех смехом, а шутки в сторону: ты, животина, Алеко, начинаешь меня забывать, благо девочки под боком. Ну и пусть, с ними веселей, только не до бесчувствия же, — забудь раз, забудь два, а на третий возьми да и настрочи письмо. А я в ответ тебе — три. И хоть марки трудно теперь в деревне доставать, а я достану и пошлю писульку моему животике, бесшабашному девечуру. Алеко. Так отвечай, почему ты не пишешь целый месяц, черт меня-тебя дери? Ей-ей, Ольге Николаевне пожалуюсь.

Кстати, ей поклон низкий от белого (Чумазого) лица до сырой земли. И Марусе (вписано: *«моей»*) — но поменьше, хоть и такой же низкий и вообще, всем — Сергею Тимофеевичу, Ивану Васильевичу, Михаилу Павловичу, Ивану Петровичу, всем. Пусть не ругают, а пожалеют раба Божия имярек, иже в селениях адских пребывающа. И пусть пишут, черти!

Неудобный Пимен, умученный жидами. Ник. Ник. Выш-цеву и Анне Н-лаевне мой салют из стога.

А ты, Коля, должно быть, и знаться не хочешь? По делам, знать, мне вору мука. Чует мое сердце, что никто — ни ты, ни Алеко — не напишете письма, хоть и не довелось украсть картинки.

Н. П., у. ж.

31/V-922

(*Вписано. — ?*): Поздравляю тебя и Оль-Оль — Молодцы!

Спасибо (*вымарано*), друг мой, за письмо — ты все-таки первый, кто написал в мою берлогу. Письмо не веселое, а (*вымарано*) рассмешило — авось не все еще потеряно и не так уж близок конец. Дело в том, что здоровье мое сильно шалит и вообще кругом разор, ах, не глядели б глаза на белый свет! Но думаю, может быть, еще есть люди, которые не забыли меня, — вот письмо твое и подтвердило это.

Нащет книжки «Звездь» с тобой согласен, да ведь ты же знаешь, что я принужден печатать только ординарность, а все, что написано с захватом, — принуждено отлеживаться в местах злачных. Да, брат, не цензурный я человек, планида, видно, моя такая. Ну да будет же когда-нибудь и на моей улице праздник! Хотя, пока солнце взойдет, роса очи выест! Ужасно все-таки сознавать, что ты одинок и силы надломаны. Всему честному народу известно, какие мне муки приходится

переносить за одно только право писать, и в каких условиях писать! Сейчас вот тащат налоги, гонит на продработу (подворные списки составлять)—и все бесплатно, а заикнись нащет того, что конституция запрещает эксплоатацию человека человеком, — угодишь туда, где нет ни печали, ни воздыхания. Нужда у меня адская во всем, как я писал уже тебе, зимою волки разорили двор и утащили почти весь скот, брат с тоски не написал даже мне тогда, а теперь сразу приходится чувствовать, какой это для нашей семьи удар. Не за что зацепиться. Если можно, пусть Мураш и вообще Сергей Тимофеевич устроят так, чтоб мне можно было выслать какую-либо толику за книжки. Поговори с Воронским нащет «Трех Зорь». Может, Мещеряков поможет.

ПК

Турка

1/VI-922

Ох, Алеко, чувствую, подыхать мне под забором, так ты скажи там в Москве:

1). Нашему патрону (сиречь С. Т.) и его заму (т. е. И. В), чтоб они не поминали меня лихом и устроили бы так, как это вообще полагается патронам.

2). Мурашу и себе, что я вас, жуликов московских, во как люблю, а со стороны девочек и солидности (?) я никакой вам не соперник (*стерто*)... же вы меня выручить.

3). Лебедеву-Полянскому — русской он нации человек или германо-иерузалимо-мазонской? (*вымарано*). Во всяком разе, пусть приготовится к наводнению новыми моими рукописями.

4). А. К. Воронскому — см. предыдущие пункты.

5). Оль-Оль — чтоб она непременно была счастливой и радостной, всегда... (*стерто*).

6). Всем, всем, всем, что я великий человек, но

Частию по своей глупости,
Частию по простоте —
Пропадаю в неизвестности
Пресмыкаюсь в нищете.

7). А следовательно, величие мое весьма сомнительного свойства. Про это ты можешь и не рассказывать, а про остальное — звони во все тяжкие!

8). Зачем же я реву сейчас вот, как прирезанная корова?

9). Пиши скорее!

ПК

6/VI-923

Дорогой дружище, Алеко!

Прости, что долго молчал. Спасибо за письмо. Но я три недели провалялся больной, в малярии, что ли, — чуть не издох, а теперь немного лучше. Вот что, милый: ты писал нащет посылки «Ара» на мое имя — в чем она заключается?

Шоколад-мармелад, сгущенное молоко, хлеб из воздуха или нечто материальное, т. е. из обувки-одежки? Жаль, что не разузнал. Узнай все и получи, и сохрани. Ежели съестное что, непортящаеся, то прибереги до моего приезда, и ежели из лоскутов что — тоже прибереги. Я приеду в конце июля — начале августа. Нащет меня не беспокойся, я парень аховый, ежели и голод — со всем нашим удовольствием! Так что Москва мне не страшна.

Алексей мне кое-что присылает за пайки, так что я и сейчас мог бы двинуть в Москву, да знаешь — май и вообще, благорастворение воздухов — хочется поваляться на траве. Так ты, значит, и помоги мне, друг сердечный, нащет «Ары» и всего прочего. Я Свирскому посылаю письмо. Я кроме сего — вот тебе доверенность. Ив. В. Жилкин в «Гуме» засвидетельствует, или вообще домовой. Получи и как получишь, немедля напиши — что это за зверь посылка? в чем ее суть? Еще раз прости, милый. Еще валяюсь в постели — не вполне здоров. Пиши скорее!

Привет от души Ольге Николаевне, и всем привет вообще.

Твой ПК

P. S. А журнальчиков не получал. Околеваю со скуки, читаю в 100-й раз «Вестник Наробраза» (учителям тут раздают на раскурку). Пришли же «ЛЕФ». Я отблагодарю сторицей.

Уф, устал, кружится голова, под ложечкой сосет.

ПК

11/V-925 Турка

Дорогой Алеко!

(Вписано позднее: *«Узнай, друг, о комнате у Юрия Соболева и напиши»* (фраза подчеркнута).

Приехал я домой благополучно, но работать не могу, засуха, угнетенность. К

тебе моя просьба, друг: увидь Ляшко или Жица и скажи, чтоб они выслали мне деньжат за рассказ, принятый в «Рабочем Журнале». Я получил с них два с чем-то червонца, а в рассказе больше печатного листа — суди сам, сколько они могли бы мне выслать, если лист считать хотя бы по 80 р.

Ляшко прекрасный товарищ, он не задержал бы, но его держат за фалды, друже; меж тем, и тов. Жиц обещал мне выслать в деревню. Убеди их, дружище. Прямо — амба!

Еще просьба: А. К. Воронский должен был, совместно с Пильняком, просмотреть для «Круга» мой рассказ «Жиз». Позвони по телефону 5-63-12 (это Красная Новь) и спроси Муратову нащет упомянутого рассказа. Ежели просмотрен и зарезан — возьми рассказ к себе, чтоб не пропал.

Ежели взят в «Круг» — зайди к Воронскому и поговори нащет денег за сей рассказ, т. е. чтоб он выслал мне по моему адресу в деревню. Ох, удружи!

Как ты себя чувствуешь? Как Оль-Оль — уехала? Почем у вас в Москве хлеб? Есть очереди? У нас хлеб — 6 руб. пуд ржаной. Что нового в литературе?

Итак, справься, и пиши скорей, не томи душу. Когда-нибудь за все отплачу оптом.

Твой ПК

Адрес: Рыльск, Курской губ.
с. Турка, рез. Хомутовское п/о.

12/IX (1925-?)

Искандер, друг мой, у меня тоска, свирепое настроение (еще не прогорел, но похоже на то), а потому облегчи меня, сделай для меня вот что (*вымарано*).

1). Зайди (*вымарано*) от 12 до 3 ч. (в обеденный перерыв) в редакцию «Эхо» (сперва позвони по телефону 4-18-30), Воздвиженка, 10/2 (угол дома), и справься нащет рассказа моего «Черный огонь» (вставка: *«за подписью Крутогоров»*), посланного мною сдуру отсюда, и возьми рассказ, буде он не пойдет, что весьма вероятно, т. к. рассказ соленый! Главное, чтоб не погиб рассказ!

2). Узнай у Жоржа Устинова, что с моей книжечкой рассказов в Ленгизе? Набирается? И если нет, то когда будет печататься? И можно ли ему еще одну книжку приготовить? Кстати, ты ничего не получил за первую книжку по доверенности? Напиши, Александр, не сочти за труд!

3). Непременно напиши обо всем этом, и поскорее. За марки высчитывай из должка. Прости, друг, может, отрываю тебя от дела, но удружи и не оставь просьбы.

4). Привет отшельнический мой Оль-Оль, Вадиму (передай мимикой, он поймет) и всем, кого я знаю.

5). В пятый раз: напиши!

ПК

Адрес: Рыльск. Курск. губ.
п. п. Амонь, с. Турка

P. S. Рассказ «Черный огонь» береги у себя до моего приезда.

1/X-925 г. Турка

Привет Александру.

И благодарение за письмо. Ну, конечно, этого и надо было ожидать (т. е. скорпионов главлитских). Растяпа Устинов настоял, чтоб я поставил на книжке свою наст. фамилию, в результате — книжка зарезана. Черт с ними со всеми: червонец все равно летит вниз, мне даже выгоднее, что я сейчас не печатаюсь! Не знаю, как у вас, а у нас за червяки ничего уже нельзя достать.

Теперь вот что, дружище: напиши мне все-таки нащет «Черного огня». Был в «Эхо»? Взял рассказ? Береги, милый, как и книжку «Правдолюб» (особенно там, в книжке, рассказ «Ночные молнии» — у меня нет копии и достать негде). Так вот, береги все, а я по приезде возьму у тебя. Кстати: возьми у Ляшко в «Рабоч. Журнале» («Кузница») — мой рассказ «Полевица» (все равно они его вряд ли напечатают) — возьми и тоже береги: копии нет. Итак, по приезде я у тебя возьму:

1). Книжку «Правдолюб»; 2). Рассказ «Черный огонь»; 3). Рассказ «Полевица».

А нащет квартиры ты не скули — я ведь с Алексеем условился, что могу у него останавливаться в любое время и на любой срок, иначе я не отдал бы своей комнаты в Союзе. Мой братишка Алешка — душа парень, с ним мы неразлучные друзья. Так-то, брат!

Что тебе еще писать? Живу, точно в неиследимых дебрях Африки, — с той разницей, что в настоящей Африке теперь, вероятно, тепло, черные негры (вставка: *«бьют баклуши»*) греют яйца свои на солнце, а у нас белые негры прозябают, задыхаются в каторжной работе и яйца свои не греют, а отмораживают, т. к. (вставка: *«у нас уже морозы»*), солнца нет, и прикрыть оные яйца нечем (вставка: *«все»*): ходят почти что голые!

Ну, пока. Так напиши, милый, нащет всего того, о чем здесь прошу, — успокой меня. Я буду знать, что все у тебя в целости, и не буду торопиться в Москву. Приеду не раньше ноября.

Привет твоим кровным.

Твой ПК

2/X-925. Турка

О, Александре, губителю женских сердец! О, Аполлоне Туркпечатский, друже мой нелукавый и всея Москвы книгочей! Плюнем на все и выпьем заочно сорокаградусной, дербалызнем за прошедшую молодость! Рык-рык-рык! Готово! Теперь иам — сам черт ие брат! Да ведь это же благодать — огненная влага во всем своем николаевском великолепии! У нас пьют все — пьют бабы и девки, малые ребята и старые старики, и безбородые мужики — вон, за о[illegible]м идет потасовка по пьянке — сам черт не разберет, кто кого дерет!

А ты все серьезиичаешь и дуешься иа меия и не отвечаешь на письма. (Тебе послал — три, от тебя же — только одно.) Плюнь еще раз, милый, отдохни, захвати туркестанской и — марш в поле за зайцами! Только и [illegible] — побродить по полю и выпить с морозцу. Умрем ведь!

О, моя проклятаи ирония!

Как мне от нее избавиться? За что меня истязают, и пьют ведрами мою кровь, и не дают печататься, подлецы, костоглоты? Ведь эдак можно с ума сойти! Ведь это — наистрашнейшаи из казней — не давать писателю печататься! Я поиимаю, журиалистику иногда можно щемить, потому что вообще-то журналистика — иичто, гнойник на теле культуры, ио — художественное слово! Ведь без него же все превратятся в ораигутангов, обрастут мохом, поделаются людоедами!

Ой, больно мне! Напиши, милый: 1) о Ляшко, что у него в «Раб. журн.» с моим рассказом? 2) что в «Эхо» с моим рассказом? 3) целы ли у теби мои пиисульки? Береги, пожалуйста, я по приезде заверну к тебе и возьму. Еще раз чокнемси — за умершую молодость! Пей же!

Твой ПК

21/II-926

Дорогой друг Алеко!

Я послал тебе открытку и просил выслать 3 книжки. Вероятно, ты ие получил ее. Очень прошу тебя: вышли № 1 «Новой России», № «Красной Нови» и № 1 «Нового Мира» и, если можно, «Осколки разбитого вдребезги» Аверченко — заказной бандеролью. Стоимость всего вычти из долга.

Я написал миого хороших стихов. Работаю иад поэмой.

Как живешь. Голова моя страшно устала от работы, ты не ругай меия, что мало пишу, — мне сейчас ие до писем, пишу вот только тебе, а ты хоть и занят, зиаю я, уважь мою просьбу — прошу тебя крепко и жму руку. Твой ПК.

Адрес ты знаешь.

P. S. Привет Ольге Николаевне и Вадиму.

P. S. P. S. Что слышио о журнале Горького и Вячеслава? И вообще какие перспективы цензурные, литературные и проч. Приехал ли с Кавказа Клычков? Пропиши, друже. Жду письма. ПК.

Уважаемая Ольга Николаевна,

На Ваше письмо считаю долгом ответить, что брат Пимеи жив, но после переиесенного им потрясения болен физически и душевно настолько, что не всегда узнает своих близких. Заботятся о нем родные братья и сестры, хотя это и трудно при их нищете.

В заключение приношу благодарность за внимание к ныне больному брату, просим не усложнять обстоятельств какой бы там ни было перепиской.

Дело не в иас, а в том, что за Пимена, который ни в чем невинен, поручились лично и имущественно крестьяне целого села и они-то, перенесшие немалый страх, требуют молчаиия и жалобы не людям, а Богу. В этом, может быть, есть своя мудрость.

Всего радостного.

Ф. К.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990 И В 1991 ГОДУ ВЫ ПРОЧТЕТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

РОМАНЫ

Юрий БОНДАРЕВ. "ИСКУШЕНИЕ";

Валентин ПИКУЛЬ. "БАРБАРОССА". Роман о Сталинграде.

Дмитрий ЖУКОВ. "СНЫ" (исторический документальный роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур (персонажей романа), о его размышлениях, пророчествах, деяниях, испытаниях и загадочных встречах).

ПРОЗУ МОЛОДЫХ

Александр СЕГЕНЬ. "ЗАБЛУДИВШИЙСЯ БТР" (повесть). Афганистан: на войне как на войне.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виктора АСТАФЬЕВА, Василия БЕЛОВА, Николая БЛОХИНА, Бориса ЕКИМОВА, Владимира КРУПИНА, Юрия ЛОЩИЦА, Валентина РАСПУТИНА, Вадима САФОНОВА, Владимира СОЛОУХИНА, Николая СТАРШИНОВА, Анатолия ТКАЧЕНКО, Бориса ШИШАЕВА, Бориса УКАЧИНА, Николая ШИПИЛОВА и других.

"РУСОФОБИЯ": ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ – новая статья **Игоря Шафаревича.**

ТРЕТИЙ ПУТЬ – исследование о религиозно-этических корнях русской экономики **Юрия Бородая.**

МАФИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ? – статья **Анатолия Салуцкого** о современной политической ситуации.

ОТ ПУШКИНА К БУЛГАКОВУ – ТЕМА БЕСОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – новое исследование **Петра Палиевского.**

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К НИГИЛИЗМУ – критические заметки **Вадима Кожинова** о литературе "третьей волны" эмиграции.

А. СОЛЖЕНИЦЫН – ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ – новая статья **Владимира Бондаренко.**

*Под рубрикой **"Не хлебом единым"** –*
о. Лев Лебедев – о высокой и трагической судьбе русской Церкви;
"БУДУЩЕЕ РОССИИ И КОНЕЦ МИРА", "ПРАВОСЛАВИЕ И " РЕЛИГИИ БУДУЩЕГО" – религиозная публицистика американского иеромонаха **о. Серафима (Роуза);**
"РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ ПОД УГРОЗОЙ..." – статья **Игоря Бончковского-Скарбека;** работы Оптинских старцев.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ П. А. СТОЛЫПИНА – исследование **В. Жедилягина;**
Русская печать 1911 года о подробностях убийства П. А. Столыпина и личности убийцы.